СТАРЫЕ ГОДЫ

Русские исторические повести и рассказы первой половины XIX века

Классики и современники



КС

СТАРЫЕ ГОДЫ

СТАРЫЕ ГОДЫ

Русские исторические повести и рассказы первой половины XIX века



Москва
«Художественная литература»
1989

ББК 84Р1
С77

Классики и современники

Русская классическая литература



Составление и подготовка текста
А. Б. Рогинского

Послесловие
А. Л. Осповата, А. Б. Рогинского

Художник
В. Голатенко

С $\frac{4702010101\text{-}247}{028(01)\text{-}89}$ КБ-7-30-89
ISBN 5-280-00756-0

А. С. Пушкин
АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Железной волею Петра
Преображенная Россия.
Н. Языков

ГЛАВА I

Я в Париже:
Я начал жить, а не дышать.
Дмитриев
Журнал путешественника

В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник, арап Ибрагим. Он обучался в парижском военном училище, выпущен был капитаном артиллерии, отличился в Испанской войне и, тяжело раненный, возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не переставал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения. Петр был очень им доволен и неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он отговаривался различными предлогами, то раною, то желанием усовершенствовать свои познания, то недостатком в деньгах, и Петр снисходительствовал его просьбам, просил его заботиться о своем здоровии, благодарил за ревность к учению и, крайне бережливый в собственных своих расходах, не жалел для него своей казны, присовокупляя к червонцам отеческие советы и предостерегательные наставления.

По свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностию двора, важностию и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастию, не имел и тени лицемерия.

Оргии Пале-Рояля не были тайною для Парижа; пример был заразителен. На ту пору явился Law; алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей.

Между тем общества представляли картину самую занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизили все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая странность, всё, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностью. Литература, ученость и философия оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя ее мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое почтение. Проказы герцога Ришелье, Алкивиада новейших Афин, принадлежат истории и дают понятие о нравах сего времени.

Temps fortuné, marqué par la licence,
Où la folie, agitant son grelot,
D'un pied léger parcourt toute la France,
Où nul mortel ne daigne être dévot,
Où l'on fait tout excepté pénitence [1].

Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы желали видеть у себя le Nègre du czar [2] и ловили его наперехват; регент приглашал его не раз на свои веселые вечера; он присутствовал на ужинах, одушевленных молодостью Аруэта и старостию Шолье, разговорами Монтескье и Фонтенеля; не пропускал ни одного бала, ни одного праздника, ни одного первого представления и предавался общему вихрю со всею пылкостию своих лет и своей породы. Но мысль променять это рассеяние, эти блестящие забавы на суровую простоту Петербургского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие сильнейшие узы привязывали его к Парижу. Молодой африканец любил.

---

[1] Счастливое время, отмеченное вольностью нравов,
Когда безумие, звеня своей погремушкой,
Легкими стопами обегает всю Францию,
Когда ни один из смертных не изволит быть богомольным,
Когда готовы на все, кроме покаяния *(фр.)*.

[2] царского негра *(фр.)*.

Графиня Д., уже не в первом цвете лет, славилась еще своею красотою. Семнадцати лет, при выходе ее из монастыря, выдали ее за человека, которого она не успела полюбить и который впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала ей любовников, но по снисходительному уложению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключенье. Дом ее был самый модный. У ней соединялось лучшее парижское общество. Ибрагима представил ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником, что и старался он дать почувствовать всеми способами.

Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания; это польстило ему. Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо, окружали его, осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его сердца, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием.

Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила его от самонадеянности и притязаний самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами. Разговор его был прост и важен; он понравился графине D., которой надоели вечные шутки и тонкие намеки французского остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало-помалу она привыкла к наружности молодого негра и даже стала находить что-то приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди пудреных париков ее гостиной. (Ибрагим был ранен в голову и вместо парика носил повязку.) Ему было двадцать семь лет от роду; он был высок и строен, и не одна красавица заглядывалась на него с чувством более лестным, нежели простое любопытство, но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал, или видел одно кокетство. Когда же взоры его встречались со взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так просто, так непринужденно, что не-

возможно было в ней подозревать и тени кокетства или насмешливости.

Любовь не приходила ему на ум,— а уже видеть графиню каждый день было для него необходимо. Он повсюду искал ее встречи, и встреча с нею казалась ему каждый раз неожиданной милостию неба. Графиня, прежде чем он сам, угадала его чувства. Что ни говори, а любовь без надежд и требований трогает сердце женское вернее всех расчетов обольщения. В присутствии Ибрагима графиня следовала за всеми его движениями, вслушивалась во все его речи; без него она задумывалась и впадала в обыкновенную свою рассеянность... Мервиль первый заметил эту взаимную склонность и поздравил Ибрагима. Ничто так не воспламеняет любви, как ободрительное замечание постороннего. Любовь слепа и, не доверяя самой себе, торопливо хватается за всякую опору. Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возможность обладать любимой женщиной доселе не представлялась его воображению; надежда вдруг озарила его душу; он влюбился без памяти. Напрасно графиня, испуганная исступлению его страсти, хотела противуставить ей увещания дружбы и советы благоразумия, она сама ослабевала. Неосторожные вознаграждения быстро следовали одно за другим. И наконец, увлеченная силою страсти, ею же внушенной, изнемогая под ее влиянием, она отдалась восхищенному Ибрагиму...

Ничто не скрывается от взоров наблюдательного света. Новая связь графини стала скоро всем известна. Некоторые дамы изумлялись ее выбору, многим казался он очень естественным. Одни смеялись, другие видели с ее стороны непростительную неосторожность. В первом упоении страсти Ибрагим и графиня ничего не замечали, но вскоре двусмысленные шутки мужчин и колкие замечания женщин стали до них доходить. Важное и холодное обращение Ибрагима доселе ограждало его от подобных нападений; он выносил их нетерпеливо и не знал, чем отразить. Графиня, привыкшая к уважению света, не могла хладнокровно видеть себя предметом сплетней и насмешек. Она то со слезами жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала его, то умоляла за нее не вступаться, чтоб напрасным шумом не погубить ее совершенно.

Новое обстоятельство еще более запутало ее положение. Обнаружилось следствие неосторожной любви.

Утешения, советы, предложения— все было истощено и все отвергнуто. Графиня видела неминуемую гибель и с отчаянием ожидала ее.

Как скоро положение графини стало известно, толки начались с новою силою. Чувствительные дамы ахали от ужаса; мужчины бились об заклад, кого родит графиня: белого ли или черного ребенка. Эпиграммы сыпались насчет ее мужа, который один во всем Париже ничего не знал и ничего не подозревал.

Роковая минута приближалась. Состояние графини было ужасно. Ибрагим каждый день был у нее. Он видел, как силы душевные и телесные постепенно в ней исчезали. Ее слезы, ее ужас возобновлялись поминутно. Наконец она почувствовала первые муки. Меры были приняты наскоро. Графа нашли способ удалить. Доктор приехал. Два дня перед сим уговорили одну бедную женщину уступить в чужие руки новорожденного своего младенца; за ним послали поверенного. Ибрагим находился в кабинете близ самой спальни, где лежала несчастная графиня. Не смея дышать, он слышал ее глухие стенанья, шепот служанки и приказанья доктора. Она мучилась долго. Каждый стон ее раздирал его душу; каждый промежуток молчания обливал его ужасом... вдруг он услышал слабый крик ребенка и, не имея силы удержать своего восторга, бросился в комнату графини — черный младенец лежал на постеле в ее ногах. Ибрагим к нему приблизился. Сердце его билось сильно. Он благословил сына дрожащею рукою. Графиня слабо улыбнулась и протянула ему слабую руку... но доктор, опасаясь для больной слишком сильных потрясений, оттащил Ибрагима от ее постели. Новорожденного положили в крытую корзину и вынесли из дому по потаенной лестнице. Принесли другого ребенка и поставили его колыбель в спальне роженицы. Ибрагим уехал немного успокоенный. Ждали графа. Он возвратился поздно, узнал о счастливом разрешении супруги и был очень доволен. Таким образом публика, ожидавшая соблазнительного шума, обманулась в своей надежде и была принуждена утешаться единым злословием.

Все вошло в обыкновенный порядок. Но Ибрагим чувствовал, что судьба его должна была перемениться и что связь его рано или поздно могла дойти до сведения графа D. В таком случае, что бы ни произошло, погибель графини была неизбежна. Он любил страстно и

так же был любим; но графиня была своенравна и легкомысленна. Она любила не в первый раз. Отвращение, ненависть могли заменить в ее сердце чувства самые нежные. Ибрагим предвидел уже минуту ее охлаждения; доселе он не ведал ревности, но с ужасом ее предчувствовал; он воображал, что страдания разлуки должны быть менее мучительны, и уже намеревался разорвать несчастную связь, оставить Париж и отправиться в Россию, куда давно призывали его и Петр и темное чувство собственного долга.

ГЛАВА II

Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен...
Желанием честей размучен.
Зовет, я слышу, славы шум!

Державин

Дни, месяцы проходили, и влюбленный Ибрагим не мог решиться оставить им обольщенную женщину. Графиня час от часу более к нему привязывалась. Сын их воспитывался в отдаленной провинции. Сплетни света стали утихать, и любовники начинали наслаждаться бо́льшим спокойствием, молча помня минувшую бурю и стараясь не думать о будущем.

Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского. Герцог, проходя мимо, остановился и вручил ему письмо, приказав прочесть на досуге. Это было письмо Петра Первого. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал герцогу, что он ни в чем неволить Ибрагима не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет, но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С той минуты участь его была решена. На другой день он объявил регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию. «Подумайте о том, что делаете,— сказал ему герцог.— Россия не есть ваше отечество; не думаю, чтоб вам когда-нибудь удалось опять увидеть знойную вашу родину; но ваше долговременное пребывание

Франции сделало вас равно чуждым климату и образу жизни полудикой России. Вы не родились поддан-

ным Петра. Поверьте мне: воспользуйтесь его великодушным позволением. Останьтесь во Франции, за которую вы уже проливали свою кровь, и будьте уверены, что и здесь ваши заслуги и дарования не останутся без достойного вознаграждения». Ибрагим искренно благодарил герцога, но остался тверд в своем намерении. «Жалею,— сказал ему регент,— но, впрочем, вы правы». Он обещал ему отставку и написал обо всем русскому царю.

Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне своего отъезда провел он, по обыкновению, вечер у графини D. Она ничего не знала: Ибрагим не имел духа ей открыться. Графиня была спокойна и весела. Она несколько раз подзывала его к себе и шутила над его задумчивостью. После ужина все разъехались. Остались в гостиной графиня, ее муж да Ибрагим. Несчастный отдал бы все на свете, чтобы только остаться с нею наедине; но граф D., казалось, расположился у камина так спокойно, что нельзя было надеяться выжить его из комнаты. Все трое молчали. «Bonne nuit» [1],— сказала наконец графиня. Сердце Ибрагима стеснилось и вдруг почувствовало все ужасы разлуки. Он стоял неподвижно. «Bonne nuit, messieurs» [2],— повторила графиня. Он все не двигался... наконец глаза его потемнели, голова закружилась, он едва мог выйти из комнаты. Приехав домой, он почти в беспамятстве написал следующее письмо:

«Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе, потому что не имею сил иначе с тобою объясниться.

Счастие мое не могло продолжиться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить: очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я все, когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоею неограниченною нежностию... Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что дозволяет в теории: его холодная насмешливость, рано или поздно, победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу и ты наконец устыдилась бы своей страсти... что было

---

[1] Доброй ночи *(фр.)*.
[2] Доброй ночи, господа *(фр.)*.

б тогда со мною? Нет! лучше умереть, лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты...

Твое спокойствие мне всего дороже: ты не могла им наслаждаться, пока взоры света были на нас устремлены. Вспомни все, что ты вытерпела, все оскорбления самолюбия, все мучения боязни; вспомни ужасное рождение нашего сына. Подумай: должен ли я подвергать тебя долее тем же волнениям и опасностям? Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека?

Прости, Леонора, прости, милый, единственный друг. Оставляя тебя, оставляю первые и последние радости моей жизни. Не имею ни отечества, ни ближних. Еду в печальную Россию, где мне отрадою будет мое совершенное уединение. Строгие занятия, которым отныне предаюсь, если не заглушат, то по крайней мере будут развлекать мучительные воспоминания о днях восторгов и блаженства... Прости, Леонора — отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий; прости, будь счастлива — и думай иногда о бедном негре, о твоем верном Ибрагиме».

В ту же ночь он отправился в Россию.

Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существенностию. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек.

Нечувствительным образом очутился он на русской границе. Осень уже наступала. Но ямщики, несмотря на дурную дорогу, везли его с быстротою ветра, и в семнадцатый день своего путешествия прибыл он утром в Красное Село, чрез которое шла тогдашняя большая дорога.

Оставалось двадцать восемь верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого росту, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим?— закричал он, вставая с лавки.— Здорово, крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приблизился, обнял его и

поцеловал в голову. «Я был предуведомлен о твоем приезде,— сказал Петр,— и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня». Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. «Вели же,— продолжал государь,— твою повозку везти за нами; а сам садись со мною и поедем ко мне». Подали государеву коляску. Он сел с Ибрагимом, и они поскакали. Чрез полтора часа они приехали в Петербург. Ибрагим с любопытством смотрел на новорожденную столицу, которая подымалась из болота по манию самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над супротивлением стихий. Дома казались на́скоро построены. Во всем городе не было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще гранитною рамою, но уже покрытой военными и торговыми судами. Государева коляска остановилась у дворца так называемого Царицына сада. На крыльце встретила Петра женщина лет тридцати пяти, прекрасная собою, одетая по последней парижской моде. Петр поцеловал ее в губы, и, взяв Ибрагима за руку, сказал: «Узнала ли ты, Катенька, моего крестника: прошу любить и жаловать его по-прежнему». Екатерина устремила на него черные, проницательные глаза и благосклонно протянула ему ручку. Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие как розы, стояли за нею и почтительно приближились к Петру. «Лиза,— сказал он одной из них,— помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ораньенбауме? вот он: представляю тебе его». Великая княжна засмеялась и покраснела. Пошли в столовую. В ожидании государя стол был накрыт. Петр со всем семейством сел обедать, пригласив и Ибрагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных предметах, расспрашивал его о Испанской войне, о внутренних делах Франции, о регенте, которого он любил, хотя и осуждал в нем многое. Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным. Петр был очень доволен его ответами; он вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с таким добродушием и веселостью, что никто в ласковом и гостеприимном хозяине не мог бы подозревать героя полтавского, могучего и грозного преобразователя России.

После обеда государь, по русскому обыкновению, пошел отдохнуть. Ибрагим остался с императрицей и с

великими княжнами. Он старался удовлетворить их любопытству, описывал образ парижской жизни, тамошние праздники и своенравные моды. Между тем некоторые из особ, приближенных к государю, собралися во дворец. Ибрагим узнал великолепного князя Меншикова, который, увидя арапа, разговаривающего с Екатериной, гордо на него покосился; князя Якова Долгорукого, крутого советника Петра; ученого Брюса, прослывшего в народе русским Фаустом; молодого Рагузинского, бывшего своего товарища, и других пришедших к государю с докладами и за приказаниями.

Государь вышел часа через два. «Посмотрим,— сказал он Ибрагиму,— не позабыл ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску да ступай за мною». Петр заперся в токарне и занялся государственными делами. Он по очереди работал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генерал-полицмейстером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и решений. Ибрагим не мог надивиться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности. По окончании трудов Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, все ли им предполагаемое на сей день исполнено. Потом, выходя из токарни, сказал Ибрагиму: «Уж поздно; ты, я чай, устал; ночуй здесь, как бывало в старину. Завтра я тебя разбужу».

Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он находился в Петербурге, он видел вновь великого человека, близ которого, еще не зная ему цены, провел он свое младенчество. Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня D., в первый раз после разлуки, не была во весь день единственной его мыслию. Он увидел, что новый образ жизни, ожидающий его, деятельность и постоянные занятия могут оживить его душу, утомленную страстями, праздностию и тайным унынием. Мысль быть сподвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбудила в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. В сем расположении духа он лег в приготовленную для него походную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в дальний Париж в объятия милой графини.

ГЛАВА III

Как облака на небе,
Так мысли в нас меняют легкий образ,
Что любим днесь, то завтра ненавидим.

В. Кюхельбекер

На другой день Петр по своему обещанию разбудил Ибрагима и поздравил его капитан-лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, в коей он сам был капитаном. Придворные окружили Ибрагима, всякий по-своему старался обласкать нового любимца. Надменный князь Меншиков дружески пожал ему руку. Шереметев осведомился о своих парижских знакомых, а Головин позвал обедать. Сему последнему примеру последовали и прочие, так что Ибрагим получил приглашений по крайней мере на целый месяц.

Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные — следственно, не знал скуки. Он день ото дня более привязывался к государю, лучше постигал его высокую душу. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Ибрагим видал Петра в сенате, оспориваемого Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важные запросы законодательства, в адмиралтейской коллегии утверждающего морское величие России, видел его с Феофаном, Гавриилом Бужинским и Копиевичем, в часы отдохновения рассматривающего переводы иностранных публицистов или посещающего фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинет ученого. Россия представлялась Ибрагиму огромной мастеровою, где движутся одни машины, где каждый работник, подчиненный заведенному порядку, занят своим делом. Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему удалить от себя другое, милое воспоминание: часто думал он о графине D., воображал ее справедливое негодование, слезы и уныние... но иногда мысль ужасная стесняла его грудь: рассеяние большого света, новая связь, другой счастливец — он содрогался; ревность начинала бурлить в африканской его крови; и горячие слезы готовы были течь по его черному лицу.

Однажды утром сидел он в своем кабинете, окруженный деловыми бумагами, как вдруг услышал гром-

кое приветствие на французском языке; Ибрагим с живостью оборотился, и молодой Корсаков, которого он оставил в Париже, в вихре большого света, обнял его с радостными восклицаниями. «Я сей час только приехал,— сказал Корсаков,— и прямо прибежал к тебе. Все наши парижские знакомые тебе кланяются, жалеют о твоем отсутствии; графиня D. велела звать тебя непременно, и вот тебе от нее письмо». Ибрагим схватил его с трепетом и смотрел на знакомый почерк надписи, не смея верить своим глазам. «Как я рад,— продолжал Корсаков,— что ты еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге! что здесь делают, чем занимаются? кто твой портной? заведена ли у вас хоть опера?» Ибрагим в рассеянии отвечал, что, вероятно, государь работает теперь на корабельной верфи. Корсаков засмеялся. «Вижу,— сказал он,— что тебе теперь не до меня; в другое время наговоримся досыта; еду представляться государю». С этим словом он перевернулся на одной ножке и выбежал из комнаты.

Ибрагим, оставшись наедине, поспешно распечатал письмо. Графиня нежно ему жаловалась, упрекая его в притворстве и недоверчивости. «Ты говоришь,— писала она,— что мое спокойствие дороже тебе всего на свете: Ибрагим! если б это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоем отъезде? Ты боялся, чтоб я тебя не удержала; будь уверен, что, несмотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что почитаешь ты своим долгом». Графиня заключала письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть изредка ей писать, если уже не было для них надежды снова свидеться когда-нибудь.

Ибрагим двадцать раз перечел это письмо, с восторгом целуя бесценные строки. Он горел нетерпением услышать что-нибудь об графине и собрался ехать в адмиралтейство, надеясь там застать еще Корсакова, но дверь отворилась, и сам Корсаков явился опять; он уже представлялся государю — и по своему обыкновению казался очень собою доволен. «Entre nous [1],— сказал он Ибрагиму,— государь престранный человек; вообрази, что я застал его в какой-то холстяной фуфайке, на мачте нового корабля, куда принужден я

[1] Между нами *(фр.)*.

подали им медвежие шубы, и они поехали в Зимний дворец.

Корсаков осыпал Ибрагима вопросами, кто в Петербурге первая красавица? кто славится первым танцовщиком? какой танец нынче в моде? Ибрагим весьма неохотно удовлетворял его любопытству. Между тем они подъехали ко дворцу. Множество длинных саней, старых колымаг и раззолоченных карет стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера в ливрее и в усах, скороходы, блистающие мишурою, в перьях и с булавами, гусары, пажи, неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих господ: свита необходимая, по понятиям бояр тогдашнего времени. При виде Ибрагима поднялся между ними общий шепот: «Арап, арап, царский арап!» Он поскорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворил им двери настичь, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел... В большой комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горели в облаках табачного дыму, вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полосатых панталонах толпою двигались взад и вперед при беспрерывном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стен; молодые блистали всею роскошию моды. Золото и серебро блистало на их робах; из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия; алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело повертывались направо и налево, ожидая кавалеров и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимою стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кириловны, а робронды и мантильи как-то напоминали сарафан и душегрейку. Казалось, они более с удивлением, чем с удовольствием, присутствовали на сих нововведенных игрищах и с досадою косились на жен и дочерей голландских шкиперов, которые в канифасных юбках и в красных кофточках вязали свой чулок, между собою смеясь и разговаривая как будто дома. Корсаков не мог опомниться. Заметя новых гостей, слуга подошел к ним с пивом и стаканами на подносе. «Que diable est-ce que tout cela?» [1] — спрашивал Корсаков вполголоса у Ибрагима. Ибра-

[1] Что за чертовщина все это? *(фр.)*

подали им медвежие шубы, и они поехали в Зимний дворец.

Корсаков осыпал Ибрагима вопросами, кто в Петербурге первая красавица? кто славится первым танцовщиком? какой танец нынче в моде? Ибрагим весьма неохотно удовлетворял его любопытству. Между тем они подъехали ко дворцу. Множество длинных саней, старых колымаг и раззолоченных карет стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера в ливрее и в усах, скороходы, блистающие мишурою, в перьях и с булавами, гусары, пажи, неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих господ: свита необходимая, по понятиям бояр тогдашнего времени. При виде Ибрагима поднялся между ними общий шепот: «Арап, арап, царский арап!» Он поскорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворил им двери настичь, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел... В большой комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горели в облаках табачного дыму, вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полосатых панталонах толпою двигались взад и вперед при беспрерывном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стен; молодые блистали всею роскошию моды. Золото и серебро блистало на их робах; из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия; алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело повертывались направо и налево, ожидая кавалеров и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимою стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кириловны, а робронды и мантильи как-то напоминали сарафан и душегрейку. Казалось, они более с удивлением, чем с удовольствием, присутствовали на сих нововведенных игрищах и с досадою косились на жен и дочерей голландских шкиперов, которые в канифасных юбках и в красных кофточках вязали свой чулок, между собою смеясь и разговаривая как будто дома. Корсаков не мог опомниться. Заметя новых гостей, слуга подошел к ним с пивом и стаканами на подносе. «Que diable est-ce que tout cela?» [1] — спрашивал Корсаков вполголоса у Ибрагима. Ибра-

---

[1] Что за чертовщина все это? *(фр.)*

тим не мог не улыбнуться. Императрица и великие княжны, блистая красотою и нарядами, прохаживались между рядами гостей, приветливо с ними разговаривая. Государь был в другой комнате. Корсаков, желая ему показаться, насилу мог туда пробраться сквозь беспрестанно движущуюся толпу. Там сидели большею частию иностранцы, важно покуривая свои глиняные трубки и опорожнивая глиняные кружки. На столах расставлены были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахматные доски. За одним из сих столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шкипером. Они усердно салютовали друг друга залпами табачного дыма, и государь так был озадачен нечаянным ходом своего противника, что не заметил Корсакова, как он около их ни вертелся. В это время толстый господин, с толстым букетом на груди, суетливо вошел, объявил громогласно, что танцы начались,— и тотчас ушел; за ним последовало множество гостей, в том числе и Корсаков.

Неожиданное зрелище его поразило. Во всю длину танцевальной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, потом налево, там опять прямо, опять направо и так далее. Корсаков, смотря на сие затейливое препровождение времени, таращил глаза и кусал себе губы. Приседания и поклоны продолжались около получаса; наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть менуэт. Корсаков обрадовался и приготовился блеснуть. Между молодыми гостьями одна в особенности ему понравилась. Ей было около шестнадцати лет, она была одета богато, но со вкусом, и сидела подле мужчины пожилых лет, виду важного и сурового. Корсаков к ней разлетелся и просил сделать честь пойти с ним танцевать. Молодая красавица смотрела на него с замешательством и, казалось, не знала, что ему сказать. Мужчина, сидевший подле нее, нахмурился еще более. Корсаков ждал ее решения, но господин с букетом подошел к нему, отвел на средину залы и важно сказал: «Государь мой, ты провинился: во-первых, подошед к сей молодой персоне, не отдав ей три должные реверанса;

а во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в менуэтах право сие подобает даме, а не кавалеру; сего ради имеешь ты быть весьма наказан, именно должен выпить *кубок большого орла*». Корсаков час от часу более дивился. В одну минуту гости его окружили, шумно требуя немедленного исполнения закона. Петр, услыша хохот и сии крики, вышел из другой комнаты, будучи большой охотник лично присутствовать при таковых наказаниях. Перед ним толпа раздвинулась, и он вступил в круг, где стоял осужденный и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком, наполненным мальвазии. Он тщетно уговаривал преступника добровольно повиноваться закону. «Ага,— сказал Петр, увидя Корсакова,— попался, брат, изволь же, мосье, пить и не морщиться». Делать было нечего. Бедный щеголь, не переводя духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу. «Послушай, Корсаков,— сказал ему Петр,— штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это мотовство; смотри, чтоб я с тобой не побранился». Выслушав сей выговор, Корсаков хотел выйти из кругу, но зашатался и чуть не упал, к неописанному удовольствию государя и всей веселой компании. Сей эпизод не только не повредил единству и занимательности главного действия, но еще оживил его. Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы приседать и постукивать каблучками с бо́льшим усердием и уж вовсе не наблюдая каданса. Корсаков не мог участвовать в общем веселии. Дама, им выбранная, по повелению отца своего, Гаврилы Афанасьевича, подошла к Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала ему руку. Ибрагим протанцевал с нею менуэт и отвел ее на прежнее место; потом, отыскав Корсакова, вывел его из залы, посадил в карету и повез домой. Дорогою Корсаков сначала невнятно лепетал: «Проклятая ассамблея!.. проклятый кубок большого орла!..» — но вскоре заснул крепким сном, не чувствовал, как он приехал домой, как его раздели и уложили; и проснулся на другой день с головною болью, смутно помня шарканья, приседания, табачный дым, господина с букетом и кубок большого орла.

ГЛАВА IV

Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.
«Руслан и Людмила»

Теперь должен я благосклонного читателя познакомить с Гаврилою Афанасьевичем Ржевским. Он происходил от древнего боярского рода, владел огромным имением, был хлебосол, любил соколиную охоту; дворня его была многочисленна. Словом, он был коренной русский барин, по его выражению, не терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить обычаи любезной ему старины.

Дочери его было семнадцать лет от роду. Еще ребенком лишилась она матери. Она была воспитана по-старинному, то есть окружена мамушками, нянюшками, подружками и сенными девушками, шила золотом и не знала грамоты; отец ее, несмотря на отвращение свое от всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться пляскам немецким у пленного шведского офицера, живущего в их доме. Сей заслуженный танцмейстер имел лет пятьдесят от роду, правая нога была у него прострелена под Нарвою и потому была не весьма способна к менуэтам и курантам, зато левая с удивительным искусством и легкостию выделывала самые трудные *па*. Ученица делала честь ее стараниям. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеях лучшею танцовщицей, что и было отчасти причиною проступку Корсакова, который на другой день приезжал извиняться перед Гаврилою Афанасьевичем; но ловкость и щегольство молодого франта не понравились гордому боярину, который и прозвал его остроумно французской обезьяною.

День был праздничный. Гаврила Афанасьевич ожидал несколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали длинный стол. Гости съезжались с женами и дочерьми, наконец освобожденными от затворничества домашнего указами государя и собственным его примером. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю серебряный поднос, уставленный золотыми чарочками, и каждый выпил свою, жалея, что поцелуй, получаемый в старину при таком случае, вышел уж из обыкновения. Пошли за стол. На первом месте, подле

хозяина, сел тесть его, князь Борис Алексеевич Лыков, семидесятилетний боярин; прочие гости, наблюдая старшинство рода и тем поминая счастливые времена местничества, сели — мужчины по одной стороне, женщины по другой; на конце заняли свои привычные места: барская барыня в старинном шушуне и кичке; карлица, тридцатилетняя малютка, чопорная и сморщенная, и пленный швед в синем поношенном мундире. Стол, уставленный множеством блюд, был окружен суетливой и многочисленной челядью, между которою отличался дворецкий строгим взором, толстым брюхом и величавой неподвижностию. Первые минуты обеда посвящены были единственно на внимание к произведениям старинной нашей кухни, звон тарелок и деятельных ложек возмущал один общее безмолвие. Наконец, хозяин, видя, что время занять гостей приятною беседою, оборотился и спросил: «А где же Екимовна? Позвать ее сюда». Несколько слуг бросились было в разные стороны, но в ту же минуту старая женщина, набеленная и нарумяненная, убранная цветами и мишурою, в штофном робронде, с открытой шеей и грудью, вошла припевая и подплясывая. Ее появление произвело общее удовольствие.

— Здравствуй, Екимовна,— сказал князь Лыков,— каково поживаешь?

— Подобру-поздорову, кум: поючи да пляшучи, женишков поджидаючи.

— Где ты была, дура? — спросил хозяин.

— Наряжалась, кум, для дорогих гостей, для божия праздника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на смех всему миру, по немецкому маниру.

При сих словах поднялся громкий хохот, и дура стала на свое место, за стулом хозяина.

— А дура-то врет, врет, да и правду соврет,— сказала Татьяна Афанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно им уважаемая.— Подлинно, нынешние наряды на смех всему миру. Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бороду и надели кургузый кафтан, так про женское тряпье толковать, конечно, нечего: а, право, жаль сарафана, девичьей ленты и повойника. Ведь посмотреть на нынешних красавиц, и смех и жалость: волоски-то взбиты, что войлок, насалены, засыпаны французской мукою, животик перетянут так, что еле не перервется, исподницы напялены на обручи: в колымагу садятся бочком; в двери входят — нагибают-

ся. Ни стать, ни сесть, ни дух перевести — сущие мученицы, мои голубушки.

— Ох, матушка Татьяна Афанасьевна,— сказал Кирила Петрович Т., бывший в Рязани воевода, где нажил себе три тысячи душ и молодую жену, то и другое с грехом пополам.— По мне жена как хочешь одевайся: хоть кутафьей, хоть болдыханом; только б не каждый месяц заказывала себе новые платья, а прежние бросала новешенькие. Бывало, внучке в приданое доставался бабушкин сарафан, а нынешние робронды — поглядишь — сегодня на барыне, а завтра на холопке. Что делать? разорение русскому дворянству! беда, да и только.— При сих словах он со вздохом посмотрел на свою Марью Ильиничну, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старине, ни порицания новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие, но молчали, ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностию молодой женщины.

— А кто виноват,— сказал Гаврила Афанасьевич, напеня кружку кислых щей.— Не мы ли сами? Молоденькие бабы дурачатся, а мы им потакаем.

— А что нам делать, коли не наша воля? — возразил Кирила Петрович.— Иной бы рад был запереть жену в тереме, а ее с барабанным боем требуют на ассамблею; муж за плетку, а жена за наряды. Ох, уж эти ассамблеи! наказал нас ими господь за прегрешения наши.

Марья Ильинична сидела как на иголках; язык у нее так и свербел; наконец она не вытерпела и, обратясь к мужу, спросила его с кисленькой улыбкой, что находит он дурного в ассамблеях?

— А то в них дурно,— отвечал разгоряченный супруг,— что с тех пор, как они завелись, мужья не сладят с женами. Жены позабыли слово апостольское: *жена да убоится своего мужа*; хлопочут не о хозяйстве, а об обновах; не думают, как бы мужу угодить, а как бы приглянуться офицерам-верхоправам. Да и прилично ли, сударыня, русской боярыне или боярышне находиться вместе с немцами-табачниками да с их работницами? Слыхано ли дело, до ночи плясать и разговаривать с молодыми мужчинами? и добро бы еще с родственниками, а то с чужими, с незнакомыми.

— Сказал бы словечко, да волк недалечко,— сказал, нахмурясь, Гаврила Афанасьевич.— А признаюсь — ассамблеи и мне не по нраву: того и гляди, что

на пьяного натолкнешься, аль и самого на смех пьяным напоят. Того и гляди, чтоб какой-нибудь повеса не напроказил чего с дочерью; а нынче молодежь так избаловалась, что ни на что не похоже. Вот, например, сын покойного Евграфа Сергеевича Корсакова на прошедшей ассамблее наделал такого шуму с Наташей, что привел меня в краску. На другой день, гляжу, катят ко мне прямо на двор; я думал, кого-то Бог несет — уж не князя ли Александра Даниловича? Не тут-то было: Ивана Евграфовича! небось не мог остановиться у ворот да потрудиться пешком дойти до крыльца — куды! влетел! расшаркался, разболтался!.. Дура Екимовна уморительно его передразнивает; кстати: представь, дура, заморскую обезьяну.

Дура Екимовна схватила крышку с одного блюда, взяла под мышку, будто шляпу, и начала кривляться, шаркать и кланяться во все стороны, приговаривая: «мусье... мамзель.. ассамблея... пардон». Общий и продолжительный хохот снова изъявил удовольствие гостей.

— Ни дать ни взять — Корсаков,— сказал старый князь Лыков, отирая слезы смеха, когда спокойствие мало-помалу восстановилось.— А что греха таить? Не он первый, не он последний воротился из неметчины на святую Русь скоморохом. Чему там научаются наши дети? Шаркать, болтать Бог весть на каком наречии, не почитать старших да волочиться за чужими женами. Изо всех молодых людей, воспитанных в чужих краях (прости Господи), царский арап всех более на человека походит.

— Конечно,— заметил Гаврила Афанасьевич,— человек он степенный и порядочный, не чета ветрогону... Это кто еще въехал в ворота на двор? Уж не опять ли обезьяна заморская? Вы что зеваете, скоты? — продолжал он, обращаясь к слугам,— бегите, отказать ему; да чтоб и впредь...

— Старая борода, не бредишь ли? — прервала дура Екимовна.— Али ты слеп: сани-то государевы, царь приехал.

Гаврила Афанасьевич встал поспешно из-за стола; все бросились к окнам; и в самом деле увидели государя, который всходил на крыльцо, опираясь на плечо своего денщика. Сделалась суматоха. Хозяин бросился навстречу Петра; слуги разбегались как одурелые, гости перетрусились, иные даже думали, как бы убрать-

ся поскорее домой. Вдруг в передней раздался громозвучный голос Петра, все утихло, и царь вошел в сопровождении хозяина, оторопелого от радости. «Здорово, господа»,— сказал Петр с веселым лицом. Все низко поклонились. Быстрые взоры царя отыскали в толпе молодую хозяйскую дочь; он подозвал ее. Наталья Гавриловна приблизилась довольно смело, но покраснев не только по уши, а даже по плеча. «Ты час от часу хорошеешь»,— сказал ей государь и по своему обыкновению поцеловал ее в голову; потом, обратясь к гостям: «Что же? Я вам помешал. Вы обедали; прошу садиться опять, а мне, Гаврила Афанасьевич, дай-ка анисовой водки». Хозяин бросился к величавому дворецкому, выхватил из рук у него поднос, сам наполнил золотую чарочку и подал ее с поклоном государю. Петр, выпив, закусил кренделем и вторично пригласил гостей продолжать обед. Все заняли свои прежние места, кроме карлицы и барской барыни, которые не смели оставаться за столом, удостоенным царским присутствием. Петр сел подле хозяина и спросил себе щей. Государев денщик подал ему деревянную ложку, оправленную слоновой костью, ножик и вилку с зелеными костяными черенками, ибо Петр никогда не употреблял другого прибора, кроме своего. Обед, за минуту пред сим шумно оживленный веселием и говорливостию, продолжался в тишине и принужденности. Хозяин, из почтения и радости, ничего не ел, гости также чинились и с благоговением слушали, как государь по-немецки разговаривал с пленным шведом о походе 1701 года. Дура Екимовна, несколько раз вопрошаемая государем, отвечала с какою-то робкой холодностию, что (замечу мимоходом)вовсе не доказывало природной ее глупости. Наконец обед кончился. Государь встал, за ним и все гости. «Гаврила Афанасьевич! — сказал он хозяину: — Мне нужно с тобою поговорить наедине»,— и, взяв его под руку, увел в гостиную и запер за собою дверь. Гости остались в столовой, шепотом толкуя об этом неожиданном посещении, и, опасаясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим, не поблагодарив хозяина за его хлеб-соль. Тесть его, дочь и сестра провожали их тихонько до порогу и остались одни в столовой, ожидая выхода государева.

ГЛАВА V

Я тебе жену добуду
Иль я мельником не буду.

Аблесимов,
в опере «Мельник»

Чрез полчаса дверь отворилась, и Петр вышел. Важным наклонением головы ответствовал он на тройной поклон князя Лыкова, Татьяны Афанасьевны и Наташи и пошел прямо в переднюю. Хозяин подал ему красный его тулуп, проводил его до саней и на крыльце еще благодарил за оказанную честь. Петр уехал.

Возвратясь в столовую, Гаврила Афанасьевич казался очень озабочен. Сердито приказал он слугам скорее сбирать со стола, отослал Наташу в ее светлицу и, объявив сестре и тестю, что ему нужно с ними поговорить, повел их в опочивальню, где обыкновенно отдыхал он после обеда. Старый князь лег на дубовую кровать, Татьяна Афанасьевна села на старинные штофные кресла, придвинув под ноги скамеечку; Гаврила Афанасьевич запер все двери, сел на кровать в ногах князя Лыкова и начал вполголоса следующий разговор:

— Недаром государь ко мне пожаловал; угадайте, о чем он изволил со мною беседовать?

— Как нам знать, батюшка-братец,— сказала Татьяна Афанасьевна.

— Не приказал ли тебе царь ведать какое-либо воеводство? — сказал тесть.— Давно пора. Али предложил быть в посольстве? что же? ведь и знатных людей — не одних дьяков посылают к чужим государям.

— Нет,— отвечал зять, нахмурясь.— Я человек старого покроя, нынче служба наша не нужна, хоть, может быть, православный русский дворянин стóит нынешних новичков, блинников да басурманов,— но это статья особая.

— Так о чем же, братец,— сказала Татьяна Афанасьевна,— изволил он так долго с тобою толковать? Уж не беда ли какая с тобою приключилась? Господь упаси и помилуй!

— Беда не беда, а признаюсь, я было призадумался.

— Что же такое, братец? о чем дело?

— Дело о Наташе: царь приезжал ее сватать.

— Слава Богу,— сказала Татьяна Афанасьевна, пе-

рекрестясь.— Девушка на выданье, а каков сват, таков и жених,— дай Бог любовь да совет, а чести много. За кого же царь ее сватает?

— Гм,— крякнул Гаврила Афанасьевич,— за кого? то-то, за кого.

— А за кого же? — повторил князь Лыков, начинавший уже дремать.

— Отгадайте,— сказал Гаврила Афанасьевич.

— Батюшка-братец,— отвечала старушка,— как нам угадать? мало ли женихов при дворе: всякий рад взять за себя твою Наташу. Долгорукий, что ли?

— Нет, не Долгорукий.

— Да и Бог с ним: больно спесив. Шеин, Троекуров?

— Нет, ни тот, ни другой.

— Да и мне они не по сердцу: ветрогоны, слишком понабрались немецкого духу. Ну так Милославский?

— Нет, не он.

— И Бог с ним: богат, да глуп. Что же? Елецкий? Львов? нет? неужто Рагузинский? Воля твоя: ума не приложу. Да за кого ж царь сватает Наташу?

— За арапа Ибрагима.

Старушка ахнула и сплеснула руками. Князь Лыков приподнял голову с подушек и с изумлением повторил: «За арапа Ибрагима!»

— Батюшка-братец,— сказала старушка слезливым голосом,— не погуби ты своего родимого дитяти, не дай ты Наташеньки в когти черному диаволу.

— Но как же,— возразил Гаврила Афанасьевич,— отказать государю, который за то обещает нам свою милость, мне и всему нашему роду?

— Как,— воскликнул старый князь, у которого сон совсем прошел,— Наташу,— внучку мою, выдать за купленного арапа!

— Он роду не простого,— сказал Гаврила Афанасьевич,— он сын арапского салтана. Басурмане взяли его в плен и продали в Цареграде, а наш посланник выручил и подарил его царю. Старший брат арапа приезжал в Россию с знатным выкупом и...

— Батюшка, Гаврила Афанасьевич,— перервала старушка,— слыхали мы сказку про Бову-королевича да Еруслана Лазаревича. Расскажи-тко нам лучше, как отвечал ты государю на его сватание.

— Я сказал, что власть его с нами, а наше холопье дело повиноваться ему во всем.

В эту минуту за дверью раздался шум. Гаврила Афа-

насьевич пошел отворить ее, но, почувствовав сопротивление, он сильно ее толкнул, дверь отворилась,— и увидели Наташу, в обмороке простертую на окровавленном полу.

Сердце в ней замерло, когда государь заперся с ее отцом. Какое-то предчувствие шепнуло ей, что дело касается до нее, и когда Гаврила Афанасьевич отослал ее, объявив, что должен говорить ее тетке и деду, она не могла противиться влечению женского любопытства, тихо через внутренние покои подкралась к дверям опочивальни и не пропустила ни одного слова из всего ужасного разговора; когда же услышала последние отцовские слова, бедная девушка лишилась чувств и, падая, расшибла голову о кованый сундук, где хранилось ее приданое.

Люди сбежались; Наташу подняли, понесли в ее светлицу и положили на кровать. Через несколько времени она очнулась, открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жар обнаружился, она твердила в бреду о царском арапе, о свадьбе — и вдруг закричала жалобным и пронзительным голосом: «Валериан, милый Валериан, жизнь моя! спаси меня: вот они, вот они!..» Татьяна Афанасьевна с беспокойством взглянула на брата, который побледнел, закусил губы и молча вышел из светлицы. Он возвратился к старому князю, который, не могши взойти на лестницу, оставался внизу.

— Что Наташа? — спросил он.

— Худо,— отвечал огорченный отец,— хуже, чем я думал: она в беспамятстве бредит Валерианом.

— Кто этот Валериан? — спросил встревоженный старик.— Неужели тот сирота, стрелецкий сын, что воспитывался у тебя в доме?

— Он сам,— отвечал Гаврила Афанасьевич,— на беду мою, отец его во время бунта спас мне жизнь, и черт меня догадал принять в свой дом проклятого волчонка. Когда, тому два году, по его просьбе, записали его в полк, Наташа, прощаясь с ним, расплакалась, а он стоял как окаменелый. Мне показалось это подозрительным, и я говорил о том сестре. Но с тех пор Наташа о нем не упоминала, а про него не было ни слуху ни духу. Я думал, она его забыла; ан, видно, нет. Решено: она выйдет за арапа.

Князь Лыков не противуречил: это было бы напрасно. Он поехал домой; Татьяна Афанасьевна осталась у Наташиной постели; Гаврила Афанасьевич, послав за

лекарем, заперся в своей комнате, и в его доме все стало тихо и печально.

Неожиданное сватовство удивило Ибрагима по крайней мере столь же, как и Гаврилу Афанасьевича. Вот как это случилось: Петр, занимаясь делами с Ибрагимом, сказал ему:

— Я замечаю, брат, что ты приуныл; говори прямо: чего тебе недостает? — Ибрагим уверил государя, что он доволен своей участию и лучшей не желает.

— Добро,— сказал государь,— если ты скучаешь безо всякой причины, так я знаю, чем тебя развеселить.

По окончанию работы Петр спросил Ибрагима:

— Нравится ли тебе девушка, с которой ты танцевал минавет на прошедшей ассамблее?

— Она, государь, очень мила и, кажется, девушка скромная и добрая.

— Так я ж тебя с нею познакомлю покороче. Хочешь ли ты на ней жениться?

— Я, государь?..

— Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без роду и племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра что с тобою будет, бедный мой арап? Надобно тебе пристроиться, пока есть еще время; найти опору в новых связях, вступить в союз с русским боярством.

— Государь, я счастлив покровительством и милостями вашего величества. Дай мне Бог не пережить своего царя и благодетеля, более ничего не желаю; но если б и имел в виду жениться, то согласятся ли молодая девушка и ее родственники? моя наружность...

— Твоя наружность! какой вздор! чем ты не молодец? Молодая девушка должна повиноваться воле родителей, а посмотрим, что скажет старый Гаврила Ржевский, когда я сам буду твоим сватом? — При сих словах государь велел подавать сани и оставил Ибрагима, погруженного в глубокие размышления.

«Жениться! — думал африканец,— зачем же нет? ужели суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека потому только, что я родился под пятнадцатым градусом? Мне нельзя надеяться быть любимым: детское возражение! разве можно верить любви? разве существует она в женском, легкомысленном сердце? Отказавшись навек от милых заблуждений, я выбрал иные обольщения — более существенные. Государь

прав: мне должно обеспечить будущую судьбу мою. Свадьба с молодою Ржевскою присоединит меня к гордому русскому дворянству, и я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве. От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее верностию, а дружбу приобрету постоянной нежностию, доверенностию и снисхождением».

Ибрагим, по своему обыкновению, хотел заняться делом, но воображение его слишком было развлечено. Он оставил бумаги и пошел бродить по невской набережной. Вдруг услышал он голос Петра; оглянулся и увидел государя, который, отпустив сани, шел за ним с веселым видом. «Все, брат, кончено,— сказал Петр, взяв его под руку.— Я тебя сосватал. Завтра поезжай к своему тестю; но смотри, потешь его боярскую спесь; оставь сани у ворот; пройди через двор пешком; поговори с ним о его заслугах, о знатности — и он будет от тебя без памяти. А теперь,— продолжал он, потряхивая дубинкою,— заведи меня к плуту Данилычу, с которым надо мне переведаться за его новые проказы».

Ибрагим, сердечно отблагодарив Петра за его отеческую заботливость о нем, довел его до великолепных палат князя Меншикова и возвратился домой.

ГЛАВА VI

Тихо теплилась лампада перед стеклянным кивотом, в коем блистали золотые и серебряные оклады наследственных икон. Дрожащий свет ее слабо озарял занавешенную кровать и столик, уставленный склянками с ярлыками. У печки сидела служанка за самопрялкою, и легкий шум ее веретена прерывал один тишину светлицы.

— Кто здесь? — произнес слабый голос. Служанка встала тотчас, подошла к кровати и тихо приподняла полог.— Скоро ли рассветет? — спросила Наталья.

— Теперь уже полдень,— отвечала служанка.

— Ах, Боже мой, отчего же так темно?

— Окна закрыты, барышня.

— Дай же мне поскорее одеваться.

— Нельзя, барышня, дохтур не приказал.

— Разве я больна? давно ли?

— Вот уж две недели.

— Неужто? а мне казалось, будто я вчера только легла...

Наташа умолкла; она старалась собрать рассеянные мысли. Что-то с нею случилось, но что именно? не могла вспомнить. Служанка все стояла перед нею, ожидая приказанья. В это время раздался снизу глухой шум.

— Что такое? — спросила больная.

— Господа откушали,— отвечала служанка,— встают из-за стола. Сейчас придет сюда Татьяна Афанасьевна.

Наташа, казалось, обрадовалась; она махнула слабою рукою. Служанка задернула занавес и села опять за самопрялку.

Через несколько минут из-за двери показалась голова в белом широком чепце с темными лентами, и спросили вполголоса:

— Что Наташа?

— Здравствуй, тетушка,— сказала тихо больная; и Татьяна Афанасьевна к ней поспешила.

— Барышня в памяти,— сказала служанка, осторожно придвигая кресла.

Старушка со слезами поцеловала бледное, томное лицо племянницы и села подле нее. Вслед за нею немец-лекарь, в черном кафтане и в ученом парике, вошел, пощупал у Наташи пульс и объявил по-латыни, а потом и по-русски, что опасность миновалась. Он потребовал бумаги и чернильницы, написал новый рецепт и уехал, а старушка встала и, снова поцеловав Наталью, с доброю вестию тотчас отправилась вниз к Гавриле Афанасьевичу.

В гостиной, в мундире при шпаге, с шляпою в руках, сидел царский арап, почтительно разговаривая с Гаврилою Афанасьевичем. Корсаков, растянувшись на пуховом диване, слушал их рассеянно и дразнил заслуженную борзую собаку; наскуча сим занятием, он подошел к зеркалу, обыкновенному прибежищу его праздности, и в нем увидел Татьяну Афанасьевну, которая из-за двери делала брату незамечаемые знаки.

— Вас зовут, Гаврила Афанасьевич,— сказал Корсаков, обратясь к нему и перебив речь Ибрагима. Гаврила Афанасьевич тотчас пошел к сестре и притворил за собою дверь.

— Дивлюсь твоему терпению,— сказал Корсаков Ибрагиму.— Битый час слушаешь ты бредни о древно-

сти рода Лыковых и Ржевских и еще присовокупляешь к тому свои нравоучительные примечания! На твоем месте j'aurais planté là[1] старого враля и весь его род, включая тут же и Наталию Гавриловну, которая жеманится, притворяется больной, une petite santé...[2] Скажи по совести, ужели ты влюблен в эту маленькую mijaurée?[3] Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз моему совету; право, я благоразумнее, чем кажусь. Брось эту блажную мысль. Не женись. Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет особенного к тебе расположения. Мало ли что случается на свете? Например: я, конечно, собою не дурен, но случалось, однако ж, мне обманывать мужей, которые были, ей-богу, ничем не хуже моего. Ты сам... помнишь нашего парижского приятеля, графа D.? Нельзя надеяться на женскую верность; счастлив, кто смотрит на это равнодушно! Но ты!.. С твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплющенным носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?..

— Благодарю за дружеский совет,— перервал холодно Ибрагим,— но знаешь пословицу: не твоя печаль чужих детей качать...

— Смотри, Ибрагим,— отвечал, смеясь, Корсаков,— чтоб тебе после не пришлось эту пословицу доказывать на самом деле, в буквальном смысле.

Но разговор в другой комнате становился горяч.

— Ты уморишь ее,— говорила старушка.— Она не вынесет его виду.

— Но посуди ты сама,— возражал упрямый брат.— Вот уж две недели ездит он женихом, а до сих пор не видал невесты. Он наконец может подумать, что ее болезнь пустая выдумка, что мы ищем только, как бы время продлить, чтоб как-нибудь от него отделаться. Да что скажет и царь? Он уж и так три раза присылал спросить о здоровье Натальи. Воля твоя — а я ссориться с ним не намерен.

— Господи Боже мой,— сказала Татьяна Афанасьевна,— что с нею, бедною, будет? По крайней мере пусти меня приготовить ее к такому посещению.—

---

[1] я бы плюнул на *(фр.)*.
[2] слабой здоровьем *(фр.)*.
[3] жеманницу *(фр.)*.

Гаврила Афанасьевич согласился и возвратился в гостиную.

— Слава Богу,— сказал он Ибрагиму,— опасность миновалась. Наталье гораздо лучше; если б не совестно было оставить здесь одного дорогого гостя, Ивана Евграфовича, то я повел бы тебя вверх взглянуть на свою невесту.

Корсаков поздравил Гаврилу Афанасьевича, просил не беспокоиться, уверил, что ему необходимо ехать, и побежал в переднюю, не допуская хозяина проводить себя.

Между тем Татьяна Афанасьевна спешила приготовить больную к появлению страшного гостя. Вошед в светлицу, она села, задыхаясь, у постели, взяла Наташу за руку, но не успела еще вымолвить слова, как дверь отворилась. Наташа спросила: кто пришел. Старушка обмерла и онемела. Гаврила Афанасьевич отдернул занавес, холодно посмотрел на больную и спросил, какова она? Больная хотела ему улыбнуться, но не могла. Суровый взгляд отца ее поразил, и беспокойство овладело ею. В это время показалось, что кто-то стоял у ее изголовья. Она с усилием приподняла голову и вдруг узнала царского арапа. Тут она вспомнила все, весь ужас будущего представился ей. Но изнуренная природа не получила приметного потрясения. Наташа снова опустила голову на подушку и закрыла глаза... сердце в ней билось болезненно. Татьяна Афанасьевна подала брату знак, что больная хочет уснуть, и все вышли потихоньку из светлицы, кроме служанки, которая снова села за самопрялку.

Несчастная красавица открыла глаза и, не видя уже никого около своей постели, подозвала служанку и послала ее за карлицею. Но в ту же минуту круглая, старая крошка как шарик подкатилась к ее кровати. Ласточка (так называлась карлица) во всю прыть коротеньких ножек, вслед за Гаврилою Афанасьевичем и Ибрагимом, пустилась вверх по лестнице и притаилась за дверью, не изменяя любопытству, сродному прекрасному полу. Наташа, увидя ее, выслала служанку, и карлица села у кровати на скамеечку.

Никогда столь маленькое тело не заключало в себе столь много душевной деятельности. Она вмешивалась во все, знала все, хлопотала обо всем. Хитрым и вкрадчивым умом умела она приобрести любовь своих господ и ненависть всего дома, которым управляла

самовластно. Гаврила Афанасьевич слушал ее доносы, жалобы и мелочные просьбы; Татьяна Афанасьевна поминутно справлялась с ее мнениями и руководствовалась ее советами; а Наташа имела к ней неограниченную привязанность и доверяла ей все свои мысли, все движения шестнадцатилетнего своего сердца.

— Знаешь, Ласточка? — сказала она,— батюшка выдает меня за арапа.

Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ее сморщилось еще более.

— Разве нет надежды,— продолжала Наташа,— разве батюшка не сжалится надо мною?

Карлица тряхнула чепчиком.

— Не заступятся ли за меня дедушка али тетушка?

— Нет, барышня. Арап во время твоей болезни всех успел заворожить. Барин от него без ума, князь только им и бредит, а Татьяна Афанасьевна говорит: жаль, что арап, а лучшего жениха грех нам и желать.

— Боже мой, Боже мой! — простонала бедная Наташа.

— Не печалься, красавица наша,— сказала карлица, целуя ее слабую руку.— Если уж и быть тебе за арапом, то все же будешь на своей воле. Нынче не то, что в старину; мужья жен не запирают: арап, слышно, богат; дом у вас будет как полная чаша, заживешь припеваючи...

— Бедный Валериан! — сказала Наташа, но так тихо, что карлица могла только угадать, а не слышать эти слова.

— То-то, барышня,— сказала она, таинственно понизив голос,— кабы ты меньше думала о стрелецком сироте, так бы в жару о нем не бредила, а батюшка не гневался б.

— Что? — сказала испуганная Наташа,— я бредила Валерианом, батюшка слышал, батюшка гневается!

— То-то и беда,— отвечала карлица.— Теперь, если ты будешь просить его не выдавать тебя за арапа, так он подумает, что Валериан тому причиною. Делать нечего: уж покорись воле родительской, а что будет, то будет.

Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подействовала на ее

воображение. Одна надежда ей оставалась: умереть прежде совершения ненавистного брака. Эта мысль ее утешила. Слабой и печальной душой покорилась она своему жребию.

ГЛАВА VII

В доме Гаврилы Афанасьевича из сеней направо находилась тесная каморка с одним окошечком. В ней стояла простая кровать, покрытая байковым одеялом, а пред кроватью еловый столик, на котором горела сальная свеча и лежали открытые ноты. На стене висел старый синий мундир и его ровесница, треугольная шляпа; над нею тремя гвоздиками прибита была лубочная картина, изображающая Карла XII верхом. Звуки флейты раздавались в этой смиренной обители. Пленный танцмейстер, уединенный ее житель, в колпаке и в китайчатом шлафорке, услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая старинные шведские марши, напоминающие ему веселое время его юности. Посвятив целые два часа на сие упражнение, швед разобрал свою флейту, вложил ее в ящик и стал раздеваться.

В это время защелка двери его приподнялась, и красивый молодой человек высокого росту, в мундире, вошел в комнату.

Удивленный швед встал испуганно.

— Ты не узнал меня, Густав Адамыч,— сказал молодой посетитель тронутым голосом,— ты не помнишь мальчика, которого учил ты шведскому артикулу, с которым ты чуть не наделал пожара в этой самой комнатке, стреляя из детской пушечки.

Густав Адамыч пристально всматривался...

— Э-э-э,— вскричал он наконец, обнимая его,— сдарофо, тофно ли твой сдесь. Садись, твой тобрий повес, погофорим.

1827

Е. В. Аладьин

КОЧУБЕЙ

ГЛАВА I

Наше счастие разбитое
Видим мы игрушкой волн;
И в далекий мрак сердитое
Море мчит наш бедный чолн.

Шумно пировали знаменитые гости за роскошным столом Василия Леонтьевича Кочубея. В день ангела милой жены своей, Любови, он угощал гетмана Мазепу, всю знать войсковую и любезного князя Обидовского: золотой мед и дорогое венгерское кипели в тяжелых кубках, девы и жены скромно шептались между собою; а смелые воинственные питомцы Днепра воспоминали свои победы, желали новых и, пожимая друг другу руки, пили за славу, дружбу и гостеприимную Любовь! Лица всех оживотворялись улыбкою; как безоблачное небо, были души их — и яркое солнце весело глядело в окна чистой светлицы на званый пир богатого хлебосола.

— Василий Леонтьевич! — сказал Мазепа сидевшему об руку с ним Кочубею, когда прочие гости на минуту умолкли.— Ты счастливейший человек в мире. Кто не позавидует тебе?

— Господин гетман,— подхватил Кочубей,— все Божие, а не мое, да будет благословенно имя Его!

— Чего же недостает у тебя? Острою саблею ты зарубил имя твое на ущерблой луне поклонников Магомета; кроме язв чести, ты не знал недугов; золота у тебя, как песку окрест Киева; на твою Любовь нельзя наглядеться, на твоих детей мало века налюбоваться! Жизнь твоя течет, как светлый праздник, весело и беззаботно.

— Хвала Богу! — отвечал Кочубей.— Я уже не молю Его, но благодарю только за щедроты; я пресыщен Его дарами: Он так неистощим, как мои желания; Он благ, как только Он сам, но...

— Но так всевластен, хочешь ты сказать,— подхва-

тил Мазепа,— что в один миг может истребить даже и следы прежних лет милости?

— Нет, гетман! Я не знаю Бога казни. Я хотел сказать, что Он так правосуден, так неподкупно строг, что недостойные вовеки не внидут в чертог Его славы! Что же значит богатство, что счастие земли без вечного блаженства? Без него все наслаждения не полны — и душа моя, как сирота, приласканная на чужбине, минутно весела и постоянно печальна!

— Умный Василий,— прервал гетман, взяв его за руку.— Оставим это. Я хочу быть в гостях у храброго товарища, у веселого хозяина, а не у печального проповедника. Не memento Mori, но здоровье твоей супруги и всего дома наш лозунг! Да здравствует царица пиршества Любовь! — воскликнул он.— Да здравствует Любовь! — повторили все гости, кубки чокнулись, загремели турецкие литавры, и Любовь — именинница поклонилась гостям.

С шумом отодвинулись стулья, веселы встали пирующие, стыдливые девы убежали, как тени, и домовитые жены увели Любовь в роскошную опочивальню. Мужчины остались одни, слава Малой России была предметом их разговоров: все удивлялись родине, благословляли царя Московского; один Мазепа вздрагивал при каждом клике их восторга; как отверженный Аввадона, смотрел он на них мутными очами и спешил укрыться от внимания других в кругу тихо беседующих жен и девиц.

Сама радость, казалось, вошла с ним; его живой, разнообразный разговор пленил души собеседниц, он был один для всех, и все были только для него, он был всеми доволен, все были им очарованы! Но более других пленяла его юная Мария, более других Мария пленялась им. Он с нею был занимательнее, нежнее — как крестный отец он имел право шутить — и шутил над ее стыдливостью, мог ее хвалить — и превозносил ее.

— Милая кума,— говорил гетман, обратясь к хозяйке дома,— дочь твоя прелестна, как лучшая роза в саду твоем! Храни это сокровище, я хочу, я должен сделать ее счастливою!

— А разве теперь она несчастлива? — возразила Любовь.

— И да, и нет,— отвечал Мазепа,— она цветет в глуши беспечного уединения, она не знает печали,

отец и мать хранят ее. Но наступает время: не для себя она прекрасна, тебе обручать ее не небу, а человеку — нашла ли ты достойного?

— Нет еще, гетман, я не спешу выбором, ей семнадцать только лет, суженый придет сам в обреченное время, Василий Леонтьевич увидит его род, дела и звание; я увижу его сердце — и тогда, если угодно Богу, вы, гетман, поведете под венец мою Марию.

— Я поведу ее под венец? — спросил, запинаясь, Мазепа.

— Когда удостоите этой чести вашу крестницу,— подхватила Любовь.

— Да-да, это счастье принадлежит мне,— продолжал он, оправляясь от первого смущения, с принужденною улыбкою,— слышишь, друг мой, я поведу тебя под венец!

Мария благодарила его наклонением головы и радостным взором — Мазепа торжествовал.

Из другой комнаты послышался веселый разговор входящих гостей, и все обратились к ним; только гетман не сводил горящих взоров с юной красавицы; только она мечтала о гетмане, украдкою заглядывалась на его орденскую ленту, на пылающее лицо — и невольный вздох волною пробежал в высокой груди ее.

— Вот наш гетман,— сказал Василий Леонтьевич,— он всегда у нас голова, всегда впереди нас.

— Это правда,— подхватил Обидовский,— и точно таков, как теперь, в битвах с неприятелем, за священным зерцалом суда, в беседе верных друзей, в кругу милого пола. Я горжусь таким дядею!

— А мы таким гетманом! — воскликнули гости.

— А я вашею дружбою и хвалою,— отвечал Мазепа, и всеобщий разговор весело шумел до глубокой ночи.

Холодная луна катилась в безоблачных долинах голубого неба, звезды сверкали — и полусонные гости спешили по домам; они выезжали из широких ворот, длинные тени бежали перед ними, звонкий голос, гостеприимного хозяина провожал их желанием доброй ночи.

Все утихло, и Василий Леонтьевич с милою супругою пошли с высокого крыльца в опустевшие покои. В столовой зале встретила их Мария, нежно благословили они милую дочь и удалились. Долго стояла задумчивая красавица на одном месте, в пылкую душу ее

заронилось что-то непонятное, что-то сладостное — не раз озиралась она кругом, как будто кого-то ожидая.

— «Я поведу тебя под венец!», сказал он... Если я угадала?.. Возможно ли?.. Последнее слово его было: я люблю тебя!.. Я обожаю!..— так робко шептала невинная жертва заблуждения.

Отворились двери.

«Не он ли воротился?» — подумала она и бросилась на шум, но это была старушка-няня.

— Пора почивать, сударыня! Первые петухи давно уже пропели, а вам и сна нет.

Тихо удалилась Мария. Ни теплая молитва, ни ограждение святым крестом не спасли ее от беспокойных снов: Марии мечтался его образ, сквозь сон она говорила о нем — и знаха-няня над страдалицей любви творила заклинания от дурного глаза.

ГЛАВА II

Отъемлет каждый день у нас
Или мечту, иль наслажденье,
И каждый разрушает час
Драгое сердцу заблужденье.

И в чертогах беспечного богача искусный паук раскидывает свои сети на позолоченных карнизах — и в светлом доме Кочубея свила гнездо молчаливая печаль: прелестная Мария увядала в безмолвии, малютки братья не играли в ее присутствии, но тихо, нетвердым языком невинного младенчества, шептали между собою: сестрица нездорова. Напрасно попечительный отец спрашивал: «Что с тобою, друг мой?» — она молчала, подъемля голубые глаза к небу, как бы желая тем сказать: один Бог про то знает! Напрасно нежная мать прижимала ее к сердцу, выманивая лаской непостижимую тайну,— в безмолвии она устремляла взоры на холодную землю и тем, казалось, отвечала: скорбь души моей пойдет со мною в могилу. Одна няня была несколько счастливее в расспросах. Неотступно просила она Марию умыться наговоренною водою: «Голубочка моя, это все от черных глаз!»

— Да, няня, да, точно, это все от черных глаз,— говорила с таинственным видом унылая красавица и умывалась горючими слезами. Так проходили ясные дни, но и в темные ночи не смыкались глаза ее, страш-

ные грезы носились над нею — и тихий сон бежал от омоченного слезами ложа. Эти слезы, эти страдания Марии падали на сердца добрых ее родителей, они плакали с нею, они страдали вместе. Но не одна грусть семейная томила душу благородного Кочубея, не об одной дочери скорбел он: милая отчизна его, счастливая, благословенная Украйна стонала под пятою алчного грабителя! Он уважал в гетмане главу Малороссии, но презирал в Мазепе жестокого, корыстолюбивого утеснителя казаков. Он любил старшую дочь свою Анну, любил доброго зятя Обидовского — и для того-то еще водил хлеб-соль с его дядею.

Между тем время текло быстро; дела войсковые и новости о подвигах казаков на поле чести развлекали преданного отчизне и престолу Кочубея; домашние упражнения и молитвы усыпляли на несколько недолгих часов тоску в сердце Любови — одна Мария была постоянно скучна и задумчива, ничто не трогало, ничто не утешало ее: живая, прелестная в весеннее время природа Малороссии казалась мертвою мертвому сердцу страдалицы.

Однажды все трое сидели на высоком крыльце и любовались прохладным вечером: светло было на голубом небе, тихо в чистом душистом воздухе; поля, одетые созревающим хлебом, златистыми коврами расстилались перед ними; там, черною полосою, тянулась большая Батуринская дорога, в разных местах пересекаемая узкими проселками; вот заклубилась по ней сизая пыль в отдалении, вот неслася ближе, ближе — и прямо к их воротам скакал молодой всадник. Это был гонец от Батурина, скоро въехал он на широкий двор Кочубея, скоро спрыгнул с лошади, отдал ее встречному уряднику — и предстал Василию Леонтьевичу с посланием от гетмана.

Войсковый судья в ту же минуту распечатал конверты, в ту же минуту прочел их — и приказал отвести присланного в покои: «Он устал с дороги, ему нужен отдых»,— говорил радушный хозяин, но приезжий гость медлил уходом и значительно поглядывал на Марию. В робком ожидании бросала на него взоры бедная девушка.

— Не привез ли ты еще чего? — спросил Кочубей.

— Да, благородный судья,— отвечал гонец.— Вот еще письмо к вам вельможного гетмана — письмо особой важности.

— Посмотрим,— сказал Василий Леонтьевич, принимая письмо, и Любовь с дочерью устремили на него любопытные взоры.

Вдруг негодование, гнев изображаются на лице Кочубея, он дрожит и не может произнести ни слова.

— Что с тобою сделалось, друг мой? — спрашивает испуганная супруга.

— Нечестивец! — вскричал наконец судья грозным голосом.— Он требует руки нашей дочери, руки своей дочери! Удались, посол безбожника,— вот мой ответ твоему гетману,— продолжал он, бросив роковое письмо в глаза посланному.

С ужасом ахнула добрая Любовь при этой вести, и несчастная Мария упала без чувств.

ГЛАВА III

О чем ни молимся богам,
Что дать нам боги ни во власти —
Ничто не даст отрады нам,
Когда ошибочные страсти
Вредят сердечной тишине,
Когда господствуют оне.

Скорыми и неровными шагами ходил Мазепа из угла в угол. Взоры его пылали гневом, и жаждой мщения горело суровое чело его. «Что хотели доказать они мне своим отказом? — говорил он сам с собою.— Благородство ли душ, непритворное благочестие или только презрение ко мне — их повелителю? Последнее, да, последнее! Я узнаю тебя, гордая Любовь! Ты вооружила против меня покорного молчаливого судью, ты давно ненавидела Мазепу и обрадовалась случаю поразить его сердце! Хорошо, ликуй до времени, рассказывай всем, что ты отвергла предложение гетмана, смейся, хохочи над глупостью владыки Малой России, над унижением князя Римской империи, над слабостью кавалера ордена Первозванного! Не глупец ли я? — продолжал он.— Бешусь на женщину за глаза, а перед нею, когда она оглушала меня своими набожными поучениями, я стоял, как деревянный. Стыд, стыд Мазепе!.. Но я исправлюсь, я, в свою очередь, скажу ей долгую проповедь о христианском смирении, о долге заботливой, проницательной матери. Чего ж медлить? Время невозвратно. Эй, кто там!» — кричал он так, что

окна дрожали. Как смерть, бледный, вошел к нему робкий слуга и неподвижно стал у дверей.

— Пошли ко мне эзуита — не Заленского, а племянника его, слышишь, скорее!

«Я надеюсь на успех,— продолжал он, оставшись один.— Эзуиты умны — чего не сделают такие люди? Чтобы покорить его сердце, чтобы сделать его на все способным, быстрым, неустрашимым и верным, я рассыплю перед ним тысячи червонных — и если он поймает мне голубку с золотым пером, пусть берет сам сколько хочет. Кочубей, Кочубей! Я завидовал твоему счастию — как знать, не буду ли плакать о твоих горестях? Нет, нет! Я не буду плакать! Я не баба — я обиженный тобою твой гетман!»

В это время вошел эзуит. Мазепа, дав ему знак следовать за собою, скрылся в кабинете, ключ щелкнул в замке — и тишина воцарилась всюду; только однообразный бой стенных часов нарушал мертвое молчание в обители злодея.

Долго были они наедине. Наконец тиран вышел, ведя раба своего за руку, как милого друга.

— Подумай,— говорил он ему,— за каждую минуту времени, которое ты истратишь для меня, я дам тебе по червонцу, за хранение тайны — непрерывная милость. Но помни: у тебя одна голова!

Эзуит поклонился и медленными шагами вышел из комнаты.

ГЛАВА IV

Блажен, кто незнаком с виною,
Кто чист младенчески душою!
Мы не дерзнем ему вослед;
Ему чужда дорога бед:
Но вам, убийцы, горе, горе!
Как тень за вами всюду мы,
С грозою мщения во взоре,
Ужасные созданья тьмы!

Румяная заря всходила над дремлющим Батурином; громкий соловей свистал в ближнем бору, и натянутый парус рыбака белел на водах тихого Сейма. Грустная бессонница томила грудь злодея, под растворенным окном сидел он с Заленским, лицо его было мрачно, но казалось спокойным, как воды Днепра после бурного ветра.

— Ты прав, Заленский,— говорил он,— но скажи мне, веришь ли ты привидениям?

— Так же, как и бреду горячки,— отвечал Заленский.— Больной видит призраки предметов, сильно потрясших его душу; влюбленный мечтатель обнимает тень милой; злодей...

— Не говори,— прервал его Мазепа,— я не болен, я не влюблен, я... кажется, и не злодей! А если ты считаешь меня злодеем, то люди тому виною! Выслушай меня, в коротких словах я расскажу тебе историю моей жизни — она похожа на сказку, но справедлива, как и то, что я Мазепа! В цвете пылкой юности, паж двора Иоанна Казимира, статный и красивый, как Иосиф, я полюбил шестнадцатилетнюю Терезу, жену седого, угрюмого вельможи. Я не бежал, как непорочный сын Иакова, от супруги нового Пентефрия, я пал к ее ногам — и она приняла меня в свои объятия. В одну роковую ночь в темной беседке сада он застал нас вместе; глаза его... нет!.. десять лет спустя не так ярко пылал его замок, как тогда кровавые очи! Не знаю, что сделали с Терезой,— меня притащили к высокому крыльцу, подвели коня: на хребте его еще никогда не было седла, рука человека еще не смела ласкать его гордой выи. Чего не выдумает мщение? Он бился, ржал, но множество рабов одолели неодолимого, крепкими веревками привязали меня к его хребту, бич хлопнул, и дикий питомец украинских степей помчался быстрее вихря — долинами, горами, чрез леса и воды... и на сей стороне Днепра пал бездыханный. Не знаю, как долго лежал я полумертвый под мертвым, но когда опомнился, то не видал ни пустыни, ни коня. В хижине малоросса, на мягкой постели воскрес я от смерти, пришел в себя, хотел, но не мог молиться Творцу за спасение жизни; первая мысль моя была: зачем я пережил сына степи? И какой-то тайный голос твердил душе моей: *для мщенья!* Я выздоровел, вступил в службу, счастие мое меня приласкало. Прошло десять лет — и я расплатился с вельможным паном: орлиные глаза не найдут теперь места, где стоял его великолепный замок! С тех пор в сердце моем появилась ненависть к человечеству, адская ненависть к сильнейшим меня! Пожалуй, они прикуют еще Мазепу, как Прометея, к утесу и пошлют воронов клевать мое сердце; но я дальновиден, я осторожен: где не дадут мне парить орлом, там подползу змеею и ужалю

смертельно! Не прав ли я? Но Самойлович? Он был не на своем месте: слаб духом, как суеверная женщина, чрез меру кроток, не умел заставить ни почитать себя, ни бояться, и, сбросив его с гетманского престола на глубокий снег безлюдной Сибири, я сделал, кажется, должное? Но разгадай мне, Заленский: часто от глубокого сна будит меня холодная рука какого-то остова, я вскакиваю, всматриваюсь и с трепетом узнаю в нем покойного гетмана — порванные цепи висят на руках и ногах его... и привидение могильным голосом вопрошает меня: «Где мои дети?» Отчего это? Не правда ли, игра воображения, призрак больной души — ведь мертвые не встают из гробов?

— Нет, будьте спокойны, гетман, это пройдет! Прикажите оседлать коня, ступайте в поле — там чище воздух, густая кровь отсльет от сердца.

— Заленский! — вскричал вдруг Мазепа.— Ты знаешь мои замыслы — я сообщал их некоторым друзьям. Но, Заленский, где друзья в этом мире? Что, если они мне изменят?

Громко захохотал злобный эзуит и насмешливо смотрел на изумленного Мазепу.

— А разве нет для них темниц? — говорил он.— Разве нет ножей перерезать нескромные их глотки? Разве не стало секир для их дерзких голов? Гетман, это опасение доказывает, что вы нездоровы. Ободритесь, живите для себя. Прочее — все мечта!

— Но совесть?.. Грех?.. Но правосудие Неба? — воскликнул Мазепа.

— Все это бредни ханжей,— отвечал Заленский.— Что такое совесть? Что грех, что правосудие?

Злобно засмеялся Мазепа, он пожал руку неистового вольнодумца и торжественно вскричал:

— Будь по-твоему, Заленский! Гроб или престол — вот цель моя. Мои желанья — закон мой!

Мазепа снова был весел, был всем доволен. Только иногда, удаляясь с Заленским от окружающих его, он долго оставался невидимкой, никто не знал их совещаний, как черные леса Муромские, были непроникаемы души их. Только иногда, говорю, среди веселых кликов пиршества он вдруг трепетал, бросался к дверям и, задыхаясь от ужаса, спрашивал: не воротился ли посланный? Более семи недель прошло, и об нем не было слуху. Сердце Мазепы изнывало в тоске ожи-

дания. Изредка пробуждалось в нем чувство раскаяния, чувство веры — но адские семена Заленского, как бурный град, побивали семена небесной благодати!

ГЛАВА V

Свершилось убийство ночною порой,
И труп поглощен был глубокой рекой.

— Ты долго, очень долго мешкал. Я умирал от скуки и нетерпения, ожидая тебя,— говорил веселый Мазепа возвратившемуся эзуиту.

— Скорее можно было вынуть из земли заговоренный клад, нежели увидеть Марию! Ее робость, детская стыдливость и простодушное благочестие почти лишали меня надежды услужить вам, сиятельнейший гетман. Несколько раз я принимался убеждать ее, но или она была непреклонна, или стоокие аргусы нам мешали; более всех надоела мне старая няня, эта дряхлая ровесница мира, как тень, преследовала каждый шаг красавицы. Но ваше золото, гетман, имело свой вес. Оно ярко блеснуло в потемневших глазах старухи, и она-то уже спроворила все дело.

— Где же они? — вскричал обрадованный Мазепа.

— В беседке вашего сада,— отвечал клеврет злодея,— старуха шепчет молитвы, прелестная плачет, разумеется, без вас, своего ангела-утешителя.

— Знают ли отец и мать о ее похищении?

— Без сомнения! Почти сутки я был в дороге и, хотя, опасаясь погони, летел, как вихорь, но теперь, вероятно, ее ищут. А что прикажете делать с няней?

— Дай ей денег и отвези куда-нибудь. Если же станет противиться, брось ее... Понимаешь?

Мазепа полетел к своей жертве, как голодный тигр на добычу. Эзуит глядел ему вслед и бормотал про себя: «Похитить девицу — и какую девицу! Бросить старуху — разумеется, в воду. И это все за тысячу червонных,— продолжал он, досчитывая втиснутое ему в руку Мазепою золото.— Нет, гетман, такие услуги стоят дороже».

На другой день струистые волны прибили к берегу труп старой женщины с веревкой на шее. Никто из жителей не знал утопленницы, не велено было делать никаких розысков, и несчастную тогда же похоронили на городском кладбище.

ГЛАВА VI

С того ненавистного, страшного дня
И солнце не светит с небес для меня.
Забыл о победе, и в мышцах нет силы;
Брожу одинокий, задумчив, унылый;
Именя доселе драгие края
Уже не отчизна — могила моя!

В селе Диканьке угощал гостеприимный Василий Леонтьевич друга и свата своего Чуйкевича; он хотел выдать за его сына юную Марию. Поздно расстались они, но рано — еще до восхода солнечного, стоял добродетельный Кочубей на коленях пред священными образами. И, склоняя во прах поседевшую голову, славословил Творца небесного. Как светлая лампада, горела душа добродетельного чувством благоговения!

«Слава Тебе, восприявшему меня от пелен детства под святый покров Твой; слава Тебе, неизреченный, невидимый хранитель мой в дни брани, в часы недугов; слава обременившему меня благами жизни! Воньми мольбе моей, Вездесущий: как зрели очи мои лиман широкий, падший Очаков, глубокий Дунай, цветущий Адрианополь — так сподоби меня узреть и Твоя горняя!.. Как сладки светлые взоры, приветливы уста Любови и детей моих — да будут таковы и взоры и уста Твои в день всеобщего суда, и да будет на мне воля Твоя!..»

Так молился он. Вдруг черная туча заслонила рассветающий Восток, вещий ворон летит в окно, широким крылом задувает лампаду и с криком бьется по темным стенам молельни. Кочубей изумляется — с пронзительным воплем ужаса вбегает и падает к ногам его милая Любовь: «Спасай! Она похищена!.. Она погибла...» — вскричала несчастная и оледенела, как труп.

Нежный супруг спешит призвать на помощь домашних, видит смятение на лицах и, узнает все... содрогается... велит... и неутомимый конь несет его в Батурин... Вот доскакал он, выпрыгивает из седла — и верный конь пал бездыханный.

Напрасно хотели остановить его слуги Мазепы — он ворвался в комнаты, сильною ногою разбил замкнутые двери спальни. Мазепа вскрикнул от ужаса, Мария упала, как пораженная громом. Черные очи Кочубея сверкали, как молнии, слова замирали на дрожащих

устах. Тщетно злодей силился подняться с роскошного дивана, тщетно силился вспыхнуть гневом... на помертвелом лице его выступал градом холодный пот, и долгие волосы, как шерсть гиены, стояли дыбом.

— Гетман! Гетман! — загремел Кочубей.— Гетман! Я пришел к тебе просить суда на хищника моей дочери, я пришел осудить с тобою виновную твою крестницу! Подумай, не раз хищные татары врывались в рубежи нашей отчизны. Они уводили в плен целые семейства, но не разлучали детей с отцами! Подумай, даже волчицы, медведицы и львицы питали в лесах заброшенных младенцев, а у меня похитил дочь подобный мне человек, мой единоверец, мой товарищ! Он превзошел грабительством непримиримого врага, лютостию — кровожадного зверя! Подумай — однажды я нашел на дороге истощалую, избитую собаку — я излечил ее, откормил, благодарное животное привыкло ко мне, как истинный друг, и когда однажды в лесу огромный медведь стремился растерзать меня, она схватилась с ним, разорвала ему горло — и задохлась под его тяжестию! А твоя крестница, мною взлелеянная и любимая, ушла с обольстителем! Гетман, что ты скажешь?

— Кочубей! Заклинаю тебя, оставь меня! Возьми что хочешь, только оставь меня.

— Нет, хищник, нет! Не богатства твоего, но твоей крови за честь мою пришел я требовать! — исступленный мститель схватился за рукоять тяжелой сабли, и, как стрела молнии, сверкнула она над головою обомлевшего злодея.

Мазепа отскочил, хотел звать на помощь, но трепетный голос его прервался и утих, подобно минутному крику просыпающегося младенца.

— Отчаяние и месть сильнее слабодушной преданности твоих рабов,— продолжал Кочубей.— Я не убийца твой, но каратель. Защищайся!

Грозный голос его пробудил бесчувственную Марию: она бросилась к ногам родителя; вопль дочери проник в сердце Кочубея, оно облилось жалостию, и рука мстителя опустилась. Долго стоял он, молчалив и мрачен, долго светлые слезы то выступали, то высыхали на распаленных его ланитах. Наконец он поднимает преступницу, смотрит на нее и, отступая назад, говорит ей трепетным голосом:

— Если ты непорочна, раскайся в минутном за-

блуждении на груди моей. Но если... то отрекись отца, как отрекаюсь я тебя!

Несчастная затрепетала, отвратилась от пламенных взоров добродетельного отца и с диким воплем бросилась к Мазепе.

— Я погибла! — вскричала она... и Кочубея уже не было.

Поздно вечером прибыл Василий Леонтьевич в село Диканьку, к оставленному семейству. Смутно глядел он на высокий дом свой, вспоминая минувшие утехи, пиры, надежды,— и черные глаза его заплывали слезами. «Все погибло, все прошло, как ласкательный сон свободы в мрачной темнице; как сон об ангелах в вертепе разбойников!» Печальная Любовь приветствовала его с высокого крыльца громким рыданием; малютки-дети не бежали к нему навстречу, как то бывало, с радостным криком, но, пристально глядя на мрачное чело его, обнялись. «Сестрицы нет!» — вскрикнули они и заплакали.

С растерзанным сердцем прижал он милую супругу к груди своей.

— О, как неверны, как ужасны и лучшие дары твои, Всемогущий! Любовь! Не дашь ли ты мне другую Марию? Дети мои, не покинете ли и вы меня, как она? Ваши воспреемники не такие ли злодеи, как и Мазепа?

— Но где она? — спрашивала Любовь трепещущим голосом.

— Ах, если бы я видел ее во гробе... если бы...

— Что это значит? — говорила Любовь.

Кочубей опустил голову на плечо супруги и глухим шепотом произнес: «Она — наложница Мазепы!»

С тех пор дом Василия Леонтьевича, дотоле обитель тихой радости и шумных пиров, обратился в дом плача и безмолвного сетования: уединен, заперт, как гроб, дряхлел он в тени густого бора. Душа Кочубея одичала, глубокая печаль провела частые морщины по челу его. Напрасно заботливая супруга расточала ему ласки, напрасно испытанные други приходили развеселить его: он не умел улыбаться, хотел, но не мог одушевить тусклых взоров участием в мгновенной радости. Как роса, на долгих ресницах его висели слезы, он не мог разнежить трепетного голоса приветами любви и дружбы — он был тих и печален, как плач любовника на гробе незабвенной! «Оскудеша очи мои

в слезах, смутиша сердце, излияся на землю слава о сокрушении дщери моея!» — повторял он с пророком Иеремиею.

— Так, милые други,— говаривал он гостям своим,— так, уже гаснут мои взоры; не сердце, но свинец, облитый ядом, дрожит в груди моей! Как шумный Днепр весною, так разлилась в народе громкая молва о моей дочери, о моем позоре! Я стыжусь встретить человека, стыжусь видеть свет солнца! Други! Вы погребали дочерей, но не видели их в объятиях развратителей!

— Убей злодея! — говорил ему пылкий Чуйкевич.— Я пойду с тобою.

— Нет! — отвечал добродетельный,— нет, я не отниму у Бога власти испытывать бессильных и карать утеснителей. Никогда, никогда не обагрю рук моих в крови изверга — но человека!

— Так пойдем к государю! Он правосуден. Он на земле — лице Бога!

— Чуйкевич! Добрый товарищ, с какими глазами покажуся я императору? На кого стану требовать суда? Что скажу ему? Разве то, что дочь моя бежала добровольно с обольстителем? Разве то, что она в один день забыла мои семнадцатилетние о ней попечения, мои наставления о чести и вере? Нет, нет, не ходатайства, не мести — но презрения она достойна! Не напоминай об ней, не пробуждай в душе моей засыпающей горести, скажи лучше, что она умерла; уверь меня, что она не дочь мне... что она подкидыш, я обниму тебя за это, поцелую. Этим оправдаешь ты меня перед народом, этим уверишь ты целый свет, что дети Кочубея не могут быть развратны!

— Но разве ты хочешь совершенно простить коварного Мазепу? Зачем, оправдывая его, ты обвиняешь только дочь свою? Друг мой, сжалься над нею, не оставляй ее в сетях порока, возьми Марию, затвори ее, если хочешь, в мертвых стенах монастыря, пусть там оплачет она свое заблуждение и под власяницей отшельничества загладит первый грех неопытной юности! — так говорил Чуйкевич.

Неутешная Любовь и все гости обступили неумолимого, но напрасно — он отверг их просьбы.

— Если не хочешь быть у него сам, напиши письмо... я отвезу его и доставлю тебе обстоятельный ответ,— говорил Искра, бывший полковник Полтавского

полка.— Решайся, Кочубей, не мучь себя, не терзай всех нас. Говори — да или нет?

Кочубей подумал и согласился. Он пишет, рука его дрожит, слезы смывают строки... он смотрит на Любовь — Любовь умоляет его взором, неотступный друг ждет — и письмо готово, оно в руках Искры, Искра летит — и горделивый гетман уже читает его, язвительно улыбаясь.

Прошло несколько дней — и верные други Кочубея снова собрались под сень его мирного жилища. Быстро примчался назад Искра с роковым ответом: «Гетман не отдает ее!» — вскричал он — и все вскочили, затрепетали. «Гибель, гибель развратителю наших чад!» — кричали они, прочитав письмо Мазепы, и звонкие сабли скрестились символом священной клятвы. Один Кочубей молчал, но в душе его зрели новые думы, новые чувства.

— Други! — вдруг произнес он, как будто воскреснув.— Мазепа смеется над моими упреками, над моими слезами. На что давать пищу крокодилу? Полно, у меня нет дочери, нет слез об ней — я стыжусь прежней горести и хочу с вами веселиться. Эй, венгерского! Пейте, друзья мои, пейте — и заглушите последний вопль родительского сердца! Она не возвратилась, она не хотела возвратиться — у меня нет более дочери. Одно чувство осталось в груди моей, и это чувство — месть!

— Месть! — закричали все и сковались руками.

Вдруг начали рассказывать, толковать дела и поступки гетмана. Все хотели немедленно схватить подозрительного злодея, предать его ярости угнетенного им народа. Кочубей остановил бурный порыв их исступления, упросил отсрочить исполнение замысла. Увы! Он упросил их отсрочить только свою погибель!

ГЛАВА VII

Где сердце любит, где страдает,
И милосердный Бог наш там;
Он крест дает и Он же нам
В кресте надежду посылает.

Сладкий сон беспечности чуждается злодея, прошедшее и будущее, как змеи, сосут его сердце! Злодей Мазепа не спал, хотя и царедворцы великого Петра

усыпляли его на розах милости, одевая щитом своего предстательства и дружбы. Это были Шафиров и граф Головкин; пронырливый льстец успел выслужить их внимание, расточительными подарками выиграть привязанность и благодарность; одним словом, он назывался их другом — и почему не так! Мазепа был князь, действительный тайный советник, кавалер, правитель целого народа! Вельможи русского царя любили и почитали Мазепу — сам Петр благоволил коварному гетману, обольщенный наружною его преданностию. До престола его не доходил голос утесненной правды — среди бурь военных, среди всеобщего потрясения государства очи его были устремлены на великий план преобразования; ему недоставало и минуты заглянуть в темное сердце скрытного злодея. Тогда как Кочубей истощал последние силы в неусыпном труде в должности генерального судьи и с верою в Бога не сторожил от клеветы своей славы, тогда непримиримый и низкий враг его, гетман, ковал на него втайне стрелы неприязненной мести: в письмах своих к Шафирову и Головкину он выставлял его горделивым завистником, наветчиком, душою бунтов неспокойного народа. Ему верили слепо — и славное имя добродетельного затвердилось в их памяти как имя человека опасного. Они советовали гетману удалить его от дел правительства, но, отдавая должную справедливость образованному уму и неусыпной деятельности Кочубея, Мазепа отклонял их предложение, уверяя, что не хочет быть виновником его падения, его горестей! Так клеветал порочный на добродетельного — и казался великодушным.

Время проходило, как сон. Дни, месяцы, годы сливались с вечностью, как светлые воды Сейма с быстрою Десною. Вера и верная Любовь врачевали сердце Кочубея, он позабывал Марию, но не забыл священного долга к отечеству; тайно и терпеливо проникал он в дебристую душу изверга — и все, что узнал он от испытанных друзей, что изведал сам, обнажило перед ним в гетмане изменника. Он содрогнулся; воображение его мгновенно обрисовало ужасную картину бедствий милой родины. Как отпадение Аввадоны от Бога сил, так казалось ему отложение Мазепы от Петра Великого! Кочубей видел всеобщую битву двух народов, трупы человеков, кровь собратий, пламень пожаров, бесчисленные сонмы вдов и сирот — и плач их, как

вой осенней бури, раздавался в ушах его! Он вознес громящую руку казни над главою злодея, и чернец Никанор был его помощником. Сей последний, прибыв из Севска от Спасского архимандрита Игнатия с просвирами к набожным почитателям его мирной обители, радушно был принят и угощаем в доме Василия Леонтьевича. Сладка и поучительна была беседа отшельника, святая вера и небесная надежда говорили его устами — и Кочубей решился раскрыть перед ним свою душу.

— Слушай, святой отец,— говорил он.— Душа моя пред тобою, как лице мое! Слушай, язык мой неложен, как слово евангелиста. Но прежде поклянись мне, что сохранишь тайну. Не обвиняй меня в сей мере недоверчивости — друг и дочь обманули меня!

В это время подошла Любовь с распятием Искупителя и, отдавая оное Никанору, говорила торжественным голосом:

— Как Спаситель пострадал за нас, так и нам должно умереть за великого государя!

Пред священным изображением благочестивый инок преклонил колена и клялся не изменять тайне.

Кочубей открыл грудь, на ней сиял крест в алмазах.

— Здесь мои горести! — и Никанор приложился к кресту.— Теперь выслушай,— продолжал страдалец.— Не было человека счастливее меня: суетные желания мои я поверял Богу — и Бог милостиво внимал молитвам раба своего! Уже прихоти сердца моего истощились, но щедроты Его, как нагорный ключ, наполняли чашу жизни моей! В суде своем положил Он испытать меня, как Иова... нет!.. еще ужаснее! Храмина задавила непорочных детей многострадального — родной злодей обольстил дочь мою, *наплевал на мои слезы!* И это Мазепа, наш гетман! Близко завершение его замыслов: он отлагается к ляхам, грозит оковать рабством Украйну и потрясти престол великого Петра! Не требуй от меня доказательств, я объявлю их только тогда, когда увижу очи монарха! Теперь иди, передай слова мои боярину Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину.

Никанор, напутствованный золотом и богатою хлебом-солью, прибыл в Москву, свято исполнил данную Кочубею клятву; но за отсутствием государя дело таилось в молчании до его возвращения и было представлено ему руками вельмож — покровителей Мазепы

как донос мстительного и беспокойного человека, донос ложный. Оно предано забвению до времени. Петр летел тогда поднять упавшего с престола союзника своего Августа и с поля смерти приглядеться к страшному Карлу.

С горькою досадой смотрел Кочубей на первую неудачу и безопасное счастие изменника. Он знал его душу и, как жала Найи, остерегался его мщения. Между тем время текло быстро, обстоятельства становились важнее и медленность грозила неминуемою гибелью всему отечеству. «Что я успею один против сильного врага, друга вельмож, любимца самого государя? — думал он.— Мне нужны товарищи, нужны друзья и предстатели!»

Скоро соединились с ним Искра, сотник Полтавского полка Кованько, духовный отец Святайло и другие верные сыны Малороссии — они видели гибель под ногами и с общего согласия в начале января 1708 года отправили в Москву новый донос.

И в сей раз не сбылись надежды Кочубея: война обуревала душу самодержца — Петра не было в столице. Он повелел министрам рассмотреть новый донос. Он вверил друзьям Мазепы его тайну, его участь — и участь беспомощного Кочубея. Кто не угадает последствий?

ГЛАВА VIII

Жалей меня! оплачь мою судьбу!

Малороссийские войска двинулись к Польше, их предводил Мазепа; с ним была и несчастная Мария. Красота ее поблекла от слез и вздохов — и пресыщенный наслаждениями изверг ругался горестию своей жертвы: не ласки и угождения, не льстивые похвалы ее прелестям, но холодное презрение и убийственные насмешки были уделом виновной дочери Кочубея. На справедливые упреки страдалицы, невольно вырывающиеся иногда из уст ее, злодей отвечал всегда одними словами: «Потерпи,— говорил он с адскою улыбкою,— потерпи, неоцененная Мария, дочь благородного, великого Кочубея! Скоро настанет время, когда я вознагражу тебя за верную любовь, твоего отца за его преданность к родине. Я устрою для тебя торжество неслыханное, возведу генерального судью на такую степень,

о которой ему и во сне не грезилось! О, скоро, скоро увидишь ты, как добр, как благороден Мазепа!»

В сие-то время гетман увидел нависшую над ним тучу, услышал близкий гром внезапной кары. Быстро помчались гонцы его к благодетелям-царедворцам и к самому монарху. Он напоминал им долговременную свою верную службу, умолял о присылке врагов его к нему для розыска, умолял о заступлении — и вместе с ними, казалось, умолил небо помедлить его казнию! Государь спешил уверить Мазепу в непременной своей благосклонности, обнадеживал в продолжении милостей, обещал не верить ложным на него доносам и грозил клеветникам строгим наказанием. Так писал Петр к лицемеру; что же могли писать Шафиров и Головкин, рабы корыстной приязни к гетману, рабы предубеждения к несчастному Кочубею? Уверяя Мазепу в своей дружбе, они требовали к себе доносителей. Головкин льстивым письмом обнадеживал Кочубея в безопасности, в милости к нему монарха, в собственном уважении и просил поспешить приездом будто бы для совещания о делах открывающейся измены и об избрании нового гетмана.

Простись, несчастный Кочубей, простись с милою Любовью! Поблагодари ее за все райские дни, которыми ты насладился в этом мире; благослови твоих детей, приложись к родительским иконам, скорее наглядись на красоту родины, на высокий дом твой, где весело протекли игры младенчества, мечты юности, где ты пировал с избранными друзьями! Надышись воздухом родины, родных полей, простись со всеми — ты их более не увидишь, и черный ворон не занесет туда костей твоих!

Кочубей, Искра и прочие участники доноса отправились в дорогу и 18 апреля прибыли в Витебск, главную квартиру государя.

ГЛАВА IX

> И здесь ли, друг, всему конец?
> Взгляни; над нашими главами
> Есть небо с вечными звездами,
> А над звездами их Творец!..

На другой день собралось судилище — в нем заседали Шафиров и Головкин. Пред них предстали Искра и Кочубей со своими товарищами.

— На чем основали вы донос свой? Что побудило вас к нему? — были первые сделанные им вопросы.

Кочубей бодро выступил вперед и произнес твердым голосом речь, приготовленную им монарху: [1]

«Пресветлейший, державнейший царь, государь всемилостивейший! В правление блаженныя памяти родителя твоего Алексея Михайловича, самодержца всея России, была измена гетмана Брюховецкого — войски и города отпали с ним от его владычества — темницы наполнились верными рабами. И когда снова потоками крови потушены пожары, мечом рассеяны толпы грабителей и весь край подпал его скипетру — судья Забела и другие старшины войска понесли праведный гнев его величества за то, что не открыли зла в надлежащее время! Ныне правитель наш, покушаясь даже на священную жизнь твою, хочет предать весь край неприязненным ляхам — он склонял нас к соучастию, но, исполняя долг верности и веры, мы дерзаем объявить о сем пред тобою, дабы упредить и начало смятения Богохранимой твоей державы! Мы уповаем на милосердие Бога и твое правосудие, что не погибнут за правду наши головы, наши жены, дети и наше имущество не будет предано разорению! Мы не ищем наград за усердие, единственно желая: да наслаждаются под твоим благословенным скипетром бесчисленные твои народы сладким миром, Господния церкви непоколебимым благосостоянием!»

Так говорил верный сын отечества и подал министрам извет свой, состоявший из двадцати шести статей. Статьи сии громко говорили против Мазепы, открывали его коварство, замышляемую измену... но им не хотели верить и вопрошали доносителей порознь; ответы всех согласовались в смысле, но разнились в словах. Пользуясь этим разноречием, вельможные друзья предателя смешали их еще более на очной ставке... и слово *пытка*, как гром, оглушило несчастных.

Екатерина! Да будет благословенно имя твое, как имя матери человечества, как ограда угнетенного бессилия! Ты истребила в высоком языке россов позорные слова *раб* и *пытка* — их нет более между нами; есть подданые-дети царя-отца, есть суд по совести и правде!

---

[1] См. Историю Малой России Бантыша-Каменского. *(Здесь и далее примеч. авторские, кроме перевода иностранных слов.)*

Самые законы о злодеях дышат человеколюбием и надеждою на их исправление!

Приказали пытать первого Искру, кнут разрезывал обнаженные рамена несчастного — он отрекся от своего показания, проклинал своего друга.

Кочубей, великий духом Кочубей был поражен воплями и кровию родного, был поражен несправедливостию суда! Геройская мысль мелькнула в голове его: он решился снять на себя всю вину и, обрекшись на смерть мучеников, объявил, что гетман прав, что весь донос его был вымысел злобы и коварства.

Наконец произнесен приговор несчастным: Святайло и Никанор осуждены на заточение в Соловецкий монастырь; Кованько, два писаря Кочубея, слуги его и полковника Искры в Архангельск для поверстания в солдаты или куда будут годны; сами же Искра и Кочубей приговорены к смерти.

— Губитель мой! — говорил Искра Кочубею.— Где твои гордые надежды? Где замыслы? Все рушилось — и я умираю за тебя!

— Не ропщи, друг мой,— отвечал Кочубей,— мы обречены небом в жертву сильному коварству! Не здесь наша отчизна — там, отколе вняли мы неведомый голос: «Приидите ко мне труждающиеся и обремененные — и аз успокою вы!», там готовы венцы нашему страдальчеству. Один удар топора — и мы станем пред судьею нелицемерным! — так утешал Кочубей слабеющего друга в сыром подземелье темницы.— Не ропщи на Бога,— продолжал он,— Бог непостижим и правосуден! Не ропщи на меня, Бог свидетель — я люблю тебя, как брата! — и тронутый Искра плакал.

Но чаша бедствий еще не исполнилась: Мазепа громко роптал на какое-то излишнее человеколюбие суда Искры и Кочубея. «Мало их карали,— говорил он,— новыми муками можно вырвать у них сознание, кем подучены они к ложному доносу». Так смело твердил о своей невинности презреннейший из человеков — и судьи повелели снова пытать несчастных. В сей раз Кочубей под ударами палача объявил, что в селе его Диканьке зарыты в землю четыре тысячи червонных и две тысячи талеров — плод долголетнего труда и бережливости — какая находка для корыстолюбивого Мазепы!

Государь утвердил приговор суда: Искра и Кочубей отправлены к Мазепе, в местечко Борщаговку.

ГЛАВА X

Здесь радости — не наше обладанье!
Пролетные пленители земли,
Лишь по пути заносят к нам преданье
О благах, нам обещанных вдали!
Земли жилец безвыходный страданье!
Ему на часть судьбы нас обрекли!
Блаженством нам по слуху лишь знакомец!
Земная жизнь — страдания питомец!

Тускло дымная лучина освещала хижину — два живые мертвеца безмолвно сидели на лавке, повеся головы, сложив крестообразно на персях закованные руки. Статный казак с острою пикой стоял у дверей на стороже. Шумная Борщаговка уже засыпала, изредка лай бессонного пса или жалобный крик сверчка, или тяжелый вздох печального казака нарушали мертвое молчание.

«О чем вздыхаешь ты, дикий питомец Днепра? Не угнал ли хищный крымец твоего любимого коня? не увез ли твою верную жену, не изрубил ли твоего первенца-сына? Что ты не сводишь черных глаз твоих с этих преступников? Их дела должны быть ужасны — мне не поднять их тяжелых цепей; их заключение должно быть долговременно — рубища на них сгнили от сырости темницы? Кто сей старец, кто сей муж? Казак, добрый казак, о чем ты плачешь? Но ты молчишь, ты уходишь. Иди, я узнаю все от этого юноши, пришедшего тебе на смену». С каким трепетом стал он у дверей, какие дикие взоры бросает он на седого узника? Он вне себя, бледнеет, дрожит, как убийца пред вечным судиею; страшно смотрит седой на часового, уста его, запекшиеся от жажды, отворились, волосы стали горою, он трогает товарища и иссохшим перстом указывает на пришельца.

— Какое ужасное сходство! — говорит старец задыхающимся голосом.

— Ты узнал меня! — вскричал юный казак и пал к ногам помертвелого узника — высокая шапка слетела с головы его, и волнистые локоны рассыпались до пояса.— Отец,— продолжал он, объемля закованные ноги старика,— отец! не отвергай меня, не кляни! Моя совесть уже прокляла меня.

— Встань, встань, наложница моего убийцы! Не прикасайся ко мне, не отравляй последних минут моей

жизни твоим присутствием, не наводи на простившуюся с миром душу мою тоски воспоминания о твоем позоре!

Это Кочубей, у ног его виновная дочь, другой узник Искра.

— Мне оставить тебя, родитель мой? Мне, убийце твоих радостей? Знаешь ли ты свой жребий?

— Смерть прекратит мои страдания!

— Нет, ты будешь спасен! Совесть, как перун Божий, пробудила мою душу, и черная змея раскаяния впилася в сердце! Сегодня один престарелый казак, свидетель твоих ратных подвигов, свидетель твоей правды в суде, прокрался в мою комнату, открыл мне все! Он дал мне это платье, поставил меня к тебе на стражу. Беги, спасайся, спасай своего друга! Тридцать верных сынов Украйны и я последуют за тобой!

— Василий,— сказал Искра,— примирись с нею, благослови ее — она достойна титла твоей дочери. Трудно уцелеть среди мора, трудно спастись из объятого пожаром терема — но в объятиях порока любить добродетель, разорвать золотые сети железным крестом терпения и раскаяния — то же, что воскреснуть из мертвых!

— Встань,— сказал Кочубей,— я предаю прошлое забвению. Именем родительницы твоей и моим именем возвращаю тебе название дочери, именем братьев возвращаю тебе название сестры, именем Бога вседержителя благословляю тебя! Бедная ветка, оторванная вихрем страстей от родного дерева, как увяла ты — тебя иссушил зной неумолимой совести, но да падет на тебя роса небесной благодати, да расцветешь ты снова и да не отвергнет плодов твоих: молитв и добрых дел, рука небесного вертоградаря!

Тихо отозвался в хижине торжественный поцелуй примирения, и, звякнув цепями, Искра поднял руку отереть слезу душевного умиления.

— Зачем я переживаю сии минуты? — говорила, всхлипывая, Мария.— Но время дорого, бежим! Острая пила разрежет ваши оковы, теперь все спят, никто не заметит следов наших!

— Нет, друг мой, нет, не предлагай мне побега — суд царя наложил на меня оковы, приговорил к смерти — знаю, что невинно, но я не хочу быть виновным, нарушив его священную волю! Пылкий, юный друг

мой, ты стремилась к добру, но, к сожалению, к добру мнимому! Ты говоришь: тридцать человек будут охранять нас, но что эта горсть людей против многочисленной погони? Они или падут жертвою отчаянного мужества, или, подобно мне, закуются в цепи, повлекутся на казнь, и тогда их кровь, слезы жен и детей их возопиют против меня на Страшном суде Бога!

Мария обнимала колена старца, и слезы градом катились по бледным щекам ее.

— Не забудь твою родительницу, не забудь братьев и сестер,— продолжал Кочубей,— отнеси им мое благословение, мой прощальный поцелуй. Скажи им, чтобы они не плакали обо мне; скажи им, что я, как о первом дне моего брака, говорил с тобою о близкой казни!

Вдруг скрыпнула дверь — и служитель веры вошел в дымную хижину.

— Нет, ты не умрешь! — вскричала Мария в исступлении и скрылась, как привидение.

Часто, очень часто слезы сожаления прерывали тихие молитвы доброго священника; тайною исповедью и святыми дарами очистил он души страдальцев от всего земного.

Скоро стало все тихо в хижине; на голых досках Искра и Кочубей наслаждались сладким сном.

ГЛАВА XI

Мыслью бродил он в минувшем:
грозно вдали перед взором
Смутным, потухшим от тяжкия, тайныя
скорби, являлись
Мука на муке, темная вечности бездна.

— Кто там? — воскликнул Мазепа, услышав сильный стук у дверей своей спальни. Ответа не было, но двери снова потряслись от удара.

— Заленский! — продолжал гетман с беспокойством,— не подслушал ли нас какой-нибудь тайный враг? не открылась ли истина монарху? не от него ли это посол смерти? А я так неосторожен, что позволил разойтись моим верным сердюкам.

— Гетман! — возразил Заленский.— Стыдитесь своего малодушия. Пусть придет и сам Петр! что он сделает? Не везде и не всякого оглушит он громовым голосом, не везде и не всякого заставит трепетать орли-

ным взором. В своем гнезде и ворон выклюет глаза соколу! Посмотрим,— продолжал он, улыбаясь,— кто этот гений страха, кто этот загадочный пришлец?

— Не отворяй — я безоружен.

— Тогда-то злодей и не опасен,— вскричала Мария, ворвавшись силою в комнату.

— Что я вижу? Мария, в полночь... в одежде казака? — говорил коснеющим языком Мазепа.

— Губитель Самойловича! Бродяга, найденный на хребте издохшего коня! Я не дивлюсь, что полукафтанье казака наводит на тебя трепет. Но эзуит,— продолжала она, обращаясь к Заленскому,— вон! Я хочу говорить с гетманом; мне не нужен такой свидетель!

И Заленский, как червь, выполз из комнаты.

— Я видела его, Мазепа! Я видела его, изверг, не на высокой степени, на голой лавке дымной хижины; не в богатой парче, в полуистлевшем рубище; не в орденской ленте, в цепях!

— Мария!.. ты его видела?.. где?.. когда?

— Там, где бы должно погибать злодеям! Я видела еще более — его эшафот! Так на сию-то высокую степень ты обещал возвести отца моего? Сею-то двусмысленностию слов радовал ты мою легковерную душу? Иван! Я не царь, чтобы низвергнуть тебя в прах прежнего ничтожества; я не Бог, чтобы отравить тебя ядом совести, но я дочь Кочубея! Всмотрись в мои глаза, некогда пылавшие к тебе порочною страстию,— они горят теперь ненавистью и мщением! Слушай гром уст моих: они твердили тебе *люблю!* — теперь изрыгают проклятия! Взгляни на эту руку, некогда прижимавшую тебя к обвороженному сердцу,— взгляни, что сверкает в ней? Дамасский кинжал!

Как хищный коршун бессильного цыпленка, так схватила исступленная Мария трепещущего Мазепу и приставила кинжал к оледеневшей груди его.

— Будут ли живы мой отец и полковник Искра? — спросила она страшным голосом.

— Будут, будут! — отвечал, задыхаясь, Мазепа.

— Поклянись!

— Клянусь тебе всем священным, клянусь Творцом-мстителем! Но я задыхаюсь, пусти меня.

— Творец небесный! Ты слышишь вопль рождающегося червя — внемли же хоть раз клятве злодея!

— Успокойся, милый друг,— говорил ей Мазепа,—

ты еще не знаешь меня, ты не знаешь, какое торжество готовил я в награду любви твоей?

— Лицемер,— прервала его Мария,— ты хочешь усыпить мои подозрения, хочешь снова обмануть меня притворством? Говори, какую высокую степень готовил ты моему родителю?

— Ты не поверишь словам моим, но я должен открыть тебе тайну: завтра у ступеней эшафота хотел я броситься к ногам твоего отца, вымолить его согласие на брак наш — хотел пред очами всего народа разорвать несправедливый приговор царя Московского, провозгласить свободу Малороссии, возложить на себя княжеский венец, короновать тебя, мою верную подругу — и наследство престола передать в род благородного Кочубея! Нет, я не избрал бы ни Трощинского, ни Войнаровского — первый везде ничто, другой велик делами только в диванных — он камень за зерцалом суда и вихор на пиршествах!

— Гетман! Исполни мою просьбу: спаси родителя, спаси друзей его! Не льсти мне княжеским венцом, Петр — государь наш! Не говори о браке — ты мне отец, руки наши разлучены купелию святого крещения!

— Мария! Завтра я превзойду твои ожидания. Будь пышно одета, почетная стража окружит тебя — ты удивишься великодушию Мазепы! — он напечатлел поцелуй на руке легковерной и ласково проводил ее до дверей комнаты.

Свободнее дышал гетман, оставшись наедине сам с собою; невольно погрузился он в мечты: как в зеркале, в светлом воспоминании он видел свою милую юность; пылкое, наклонное к добру и ко всему великому сердце! Верная память прочла душе его историю жизни, безошибочно сосчитала его проступки, намерения и самые мысли.

«Если не все умирает с бренным телом человека, если есть суд Божий, суд строгий и казнь вечная — горе мне! Куда скрылись вы, мечты счастливой юности? Где затихли вы, порывы чистого сердца? Добро! Я любил тебя от всей души — как разлюбил тебя, как разбил твои скрыжали на скользком пути почестей — не помню, не знаю!»

— Но Заленский!.. Аа-а, ты здесь,— продолжал он, увидя тихо вошедшего эзуита,— садись,— меня растро-

гала, удивила дочь Кочубея. Я предчувствую что-то ужасное, предчувствую, что земля и небо в один голос проклянут мое имя! Молись за меня, Заленский! Молись! Я заплачу тебе щедро.

— Браво, гетман! Вы проповедуете на славу, поздравляю. О, слушайтесь женщины, идите по следам ее, и со временем, уверяю вас, гетман, вы будете великая женщина!

— Заленский!

— Но нет! Я не оставлю вас на краю бездны. В последний раз простираю вам руку помощи — выбирайте любое. Но как бы нас не подслушали, здесь и стены с ушами. Пойдемте далее, станем говорить тише.

ГЛАВА XII

.....Без Бога не падет
И волос с нашей головы! Взгляни
На заходящее там солнце — завтра
Оно опять взойдет среди сиянья!
Так верно день наступит оправданья!

Как зарево пожара, горела утренняя заря на востоке, кровавое солнце вскатилось на бледный небосклон. Народ и воины толпою обступили площадь, отрывистый гул ропота и проклятий, как удары землетрясения, растекался по воздуху. Окруженный свитою и верными сердюками, гетман из окна любовался приятным для него зрелищем; внизу несчастная его крестница, закрытая с головы до ног белым покрывалом по повелению Мазепы, стояла в грустном ожидании. Как призраки гроба, приближались к плахе Искра и Кочубей, народ содрогался, как напирающий гром, сильнее и сильнее раздавался ропот. Мазепа дал знак — страдальцы обнялись, взаимным поцелуем запечатлели вечную разлуку на земле... и голова Искры покатилась по желтому песку. Облобызав еще раз окровавленное чело друга, Кочубей возвел очи к небу, осенил себя крестным знамением и, будто на руку милой супруги, опустил голову на плаху; в это время сдернули покрывало с изумленной Марии, несчастная ахнула, громко вскрикнул народ, топор звякнул — и добродетельного не стало!

Солнце утонуло в тучах, сильный ветер взрыл соломенные крыши домов, буря завыла, вопль испуганного народа слился с треском грома — и побледневший злодей затрепетал.

Спустя три месяца и десять дней Петр узнал об измене гетмана; добродетельное сердце Великого облилось кровью: он оплакивал смерть несчастных и благотворил их семействам.

Мария кончила жизнь в монастыре.

1827

А. И.

ТАТЬЯНА БОЛТОВА

Историческая повесть

Кто из русских не слыхал об очаровательных окрестностях Москвы? Кто из москвичей не заходил поклониться праху усопших, покоящихся в ограде Данилова монастыря, не любовался извилинами реки, омывающей Симонову обитель, где лежат тела богатырей Ослабы и Пересвета; кто не гулял в Марьиной роще или не бывал 1-го Мая в Сокольниках на немецком празднике?[1] В то время, когда наши государи жили постоянно в Кремле, сии места часто покрывались народом: теперь они пусты. Коломенский дворец, где Петр I провел младенческие годы, в развалинах, и только остался в саду вяз, под сень которого он приходил твердить свои уроки; дворец в Царицыне, где Екатерина, в виду всей Москвы, торжественно изъявляла свою признательность герою *Задунайскому* за его победы и мир с турками, не существует более, и плуг земледельца давно взорвал луга Преображенского, на коих Петр обучал первые наши регулярные войска.

К числу подмосковных, обращающих на себя внимание охотников до старины, принадлежит, без сомнения, село Измайлово, любимая отчина царя Алексея Михайловича. Оно лежит по Ярославской дороге и отстоит теперь версты на четыре от города; но за сто двадцать лет почти соединялось с ним стрелецкими слободами, кои тянулись от Троицкой заставы вверх по

[1] Иностранцы, находившиеся в Москве при наших царях, имели обыкновение каждый год, 1-го Мая, праздновать за городом наступление весны. Когда их перевели при Алексее Михайловиче в Немецкую слободу, они избрали для сего рощу в Сокольниках, так названную потому, что тут обучали царских соколов. Русские, приходившие сперва из любопытства смотреть на потехи немцев, со временем сами начали принимать в них участие, и гулянье 1-го Мая сделалось народным. Старики до сих пор называют сей праздник немецким.

Яузе. Измайлово принадлежало тогда вдовствующей супруге Иоанна, царице Прасковье Феодоровне, которая проживала тут зиму и лето с тремя дочерьми: Анною, Екатериною и Прасковьею, еще только что выходившими тогда из малолетства.

Шагах в полутора сте от дворца и в шестидесяти от деревни, немного в сторону от большой дороги, на краю сосновой рощи, принадлежавшей к царскому зверинцу, стоял отдельно небольшой домик об одном жилье. С первого взгляда он походил на обыкновенную деревенскую избу, но тесовая крыша кирпичного цвета с дорожинами и низкою, неоштукатуренною трубою, косящетые окна из слюды с резными рамами и пестро расписанными ставнями, большие ворота под навесом с рубленным в городки подзором и, наконец, дощатый забор, из-за коего видны были на обширном дворе овины, амбары и другие хозяйственные строения,— все сие показывало, что владелец сего дома был не простой крестьянин. Внутренность его соответствовала наружности. Из сеней, которые, проходя насквозь, делили избу на две половины, вправо был вход в большой покой, служивший в одно время кухнею, приемною и столовою. Сосновые лавки кругом, большой стол такого же дерева в правом углу, в том же углу сверху образ старинного письма с горевшею перед ним лампадаю, и на полках по стенам столовая и кухонная посуда — составляли всю мебель сей комнаты. Она сообщалась посредством сколоченной из досок двери с другою комнатою поменьше: кровать, закрытая пестрыми занавесами; сундук с разостланным на нем ковром и поставец за стеклами с чайным прибором означали, что тут была спальня. За нею находилась третья горенка или, лучше сказать, нишь: можно было догадываться по уединенному ее положению, по стоявшей в углу на покрытом столе иконе Казанской богоматери в серебряном окладе и по висевшим кругом ее ликам святых угодников, что сие место было исключительно посвящено молитве. Другая половина дома, где расположение комнат было такое же, назначалась для проезжающих.

День склонялся к концу. Иван Тимофеевич Болтов вышел уже из образной, где каждый вечер, перед тем как ложиться, проводил по часу перед заветными иконами, перекрестил сына и готовился идти в опочивальню, как вдруг слышит на улице шум. Ночь была лун-

ная, он поднял нижнюю часть окна и видит, что к воротам подъехала телега тройкою. Полагая, что то были странники, искавшие ночлега, Болтов приказал сыну взвести повозку на двор, а сам взял свечу, чтобы встретить приезжих на другой половине дома в сенях, у гостиной светлицы, но не успел ступить двух шагов, как дверь растворилась и вошел в комнату мужчина, державший за руку ребенка лет пяти. Незнакомец был росту высокого и, судя по усам и бороде, только что выступавшим, имел от роду не более двадцати пяти лет. Синяя клетчатая рубаха, сверху серый изношенный армяк нараспашку, пожелтевшая от времени поярковая шляпа и арапник в руке являли в нем ямщика, однако ж можно было, присмотревшись к нему, заметить по мужественной осанке, по стремительным взорам, которые приезжий бросал во все стороны, и по важной его поступи, что он не всегда носил это звание.

— Откуда, брат Медведев,— сказал ему хозяин, после того, как гость, осенив себя три раза крестом перед стоявшею в углу иконою, обратился к нему с поклоном,— откуда в эдакую пору и в таком наряде?

— Теперь не до ответов,— торопливо проговорил приезжий,— Иван Тимофеевич, ты не раз говаривал, что много обязан покойному батюшке: пришло время отблагодарить сыну за службу отца. Вот тебе Татьяна. Будь ей вместо меня!

— Что с тобою, любезный? Ты-то куда же?

— Разве ты не между людьми живешь, что ничего не слыхал! Стрельцов разбили: Колотов схвачен, и полки Гордона уже окружили наши слободы.

— Да тебе что до этого? Царь тебя жалует; с Колотовым у вас всегда было неладно.

— Царь далеко, а князю-кесарю некогда разбирать, кто прав, кто виноват. Стрельцы бунтуют, я стрелецкий голова, этого довольно!

— Эй, опомнись, голубчик! Пожалуй, будь умнее! Дождись терпеливо конца.

— Чтоб завтра положить голову на плаху. Ромодановского не знаешь, что ли?

С сим словом Медведев, обратившись к углу, где стоял лик Спаса, положил перед ним три земных поклона, обнял хозяина, с судорожным движением поцеловал в голову Татьяну и, быстро проговорив: «Прощайте!», бросился вон из комнаты. Болтов, изумленный столь нечаянным появлением, как бы невольно

подошел к окну, обращенному на большую дорогу, следуя взором за понесшеюся телегою, пока она не скрылась в прилегающей роще. Это случилось в 1698 году.

Болтов, имея двадцать лет от роду, пришел сиротою в Москву и старанием сокольника Медведева, отца того, о котором упомянуто выше, определился служителем в царские конюшни. Расторопность и рачительность в короткое время обратили на юношу внимание царя Феодора, который, как известно, был большой охотник до лошадей. Когда же Петр для сокращения дворцовых расходов уменьшил царские конюшни, царица Прасковья, заметив усердие Болтова, определила его старостою отчины своей, Измайлова. Петр, забавляясь летом на лугах Преображенского и Семеновского военными потехами, заходил иногда к сему старому слуге, который сажал его на лошадь, когда он был ребенком, и проваживал верхом по двору. Хозяин, как водится, угощал высокого гостя домашним сыром, ветчиною, соленым гусем или уткой и кружкою заморского вина, нарочно сберегаемого в погребу для таковых посещений. Государь сажал Болтова с собою, а сын его, двенадцатилетний Борис, занимал место слуги. Ловкость и смелые ответы сего мальчика понравились царю.

— Обучаешь ли ты его грамоте? — спросил он однажды у Болтова.

— Вестимо, государь! Мы знаем, что тебе это любо. Не далее как о Рождестве придется отправить за его учение к отцу Григорию третий четверик пшеничной муки.

— Да мальчик, я чаю, у тебя ленится!

— Благодаря Бога,— продолжал Болтов,— разбирает книги церковные и по-новому, как ты указать изволил, пишет уставом и скорописью, знает цифирь. Борис,— примолвил он, оборотясь к сыну,— покажи-тко его милости, что намедни чертил здесь.

— Дело, старик,— сказал Петр, рассмотрев поднесенную ему тетрадь,— года через два я у тебя его возьму.

— Воля Господня и твоя над отцом и сыном,— отвечал хозяин, кланяясь ему в пояс,— мы все рабы твои, рады живот свой положить за тебя.

— Тебя мне не надо,— возразил царь,— ты уже отслужил свой век, а Бориса, когда ему минет четырнадцать лет, пришли ко мне: будет хорош, я его не оставлю.

С сей минуты отец с трепетом, а сын с нетерпением, свойственным двенадцатилетнему мальчику, ждали положенного срока. Наконец настал 1700 год, и наступило время разлуки. Болтов со слезами благословил сына, и Борис чрез два дня явился к нему солдатом бомбандирской роты Преображенского полка.

Вскоре началась война со шведами. Борис отправился в поход, ретивое заиграло в нем при первом громе пушек. Слова, произнесенные Петром: «Будет хорош, я его не оставлю», поминутно отзывались в ушах юноши. Как не оправдать ожидания отца, не сделаться достойным царской милости — в пятнадцать лет, когда вся душа занята мыслию о славе и отличиях, не заботится о сохранении жизни! Случалось ли вызывать охотников для атаки неприятельских батарей, для приступа, Борис был всегда в их числе; первый в натиске, последний во время отступления, он вскоре обратил на себя внимание начальников. Под Лесным Петр на поле сражения пожаловал его сержантом.

Можно судить, как радостны были сии вести для старика отца. Живучи постоянно в Измайлове, он делил время между хозяйством и воспитанием дочери, которую Господь так неожиданно ниспослал к нему. Татьяна с каждым днем делалась ему милее. Сохраняя темное воспоминание об отце, она не знала, что понудило его вдруг удалиться, ей только было известно, что она сирота. Болтов заботился об ее детстве, он отдавал ее на воспитание к швеям, работавшим во дворце, он приставил к ней старушку, чтобы приучить ее к хозяйским занятиям. Вся забота, все старания молодой девушки обращены были на то, чтобы чем-нибудь изъявить признательность своему благодетелю. Она всякий раз с новым вниманием слушала старосту, когда он рассказывал ей за полдником, каким образом ему однажды удалось, находясь в числе охотников царя Алексея, своеручно, в виду государя, убить вепря, или как в другое время он остановил лошадь, которая понесла было царя Феодора, за что и получил кафтан голубого сукна с золотыми снурками. Случалось ли ему иметь огорчения, Татьяна невинными ласками старалась успокоить его или заводила речь о Борисе, и старик

забывал грусть, хваля сына и предаваясь всей силе отеческой любви.

Десять лет прошли в сей однообразной жизни. Наконец турецкий поход кончился, войска начали возвращаться в Россию, и Борис, в сержантском мундире, с шлиссельбургскою и полтавскою медалями на груди, очутился в хижине, где провел лета детства, в объятиях отца. С тою же стремительностию бросился он к Татьяне, чтоб прижать к сердцу сестру — взглянул на нее и словно остолбенел. Пораженный неожиданным удивлением, смотрит — и не верит глазам своим: пред ним красавица-невеста! Татьяна была ребенок, когда он ее оставил, теперь ей минуло семнадцать лет. Алая бархатная повязка, из-за коей вились два шелковых локона, спущенных небрежно за уши, голубые как небо глаза, в коих так живо изображалась радость свидания, румянец на щеках, свежий, как роза, едва распустившаяся, шея, не уступавшая белизною кисее, прикрывавшей девическую грудь, сарафан, чуть державшийся на плечах и так хорошо обнимавший стройный стан,— все это невольно остановило бы каждого. Мог ли Борис в двадцать пять лет остаться равнодушным? Оправившись несколько от своего смущения, «здравствуй, сестрица!» — сказал он робким голосом, обнимая ее. Говорят, что Татьяна разделяла отчасти это смущение, что щеки ее разгорелись, и возвратный поцелуй был пламеннее тех, коими она обыкновенно приветствовала посторонних. И мудрено ли? Борис был молодец видный: загоревшее лицо, быстрые черные глаза, небольшие усы, а к тому зеленый мундир с откладным красным воротником и лацканами и с золотым позументом по краям, короткое нижнее платье красного же цвета, плотно обтянутые синие чулки и башмаки с медными пряжками придавали ему воинственный вид, который, как толкуют, не противен женщинам. Притом Татьяна не забыла, что Борис забавлял ее, когда она явилась в доме Болтова, что он первый обучал ее грамоте. К воспоминанию о прошедшем присоединилось новое, неизвестное ей ощущение, одним словом, они скоро поняли друг друга.

В простом звании приличие не налагает цепей на изъявление сердечных чувств. Несколько дней спустя после своего приезда Борис, застав Татьяну одну в светлице, сказал ей: «Я люблю тебя, хочешь ли быть

моею?» — «Спросись у батюшки»,— застенчиво отвечала девушка, между тем как опущенные в землю глаза и зарумянившиеся от удовольствия щеки показывали, что с ее стороны не будет большого затруднения. Того же вечера, взявшись за руки, они вошли в спальню к отцу, и, поклонившись ему в пояс: «Мы любим друг друга! — сказал Борис.— Не мешай нашему счастию, благослови!» — «Исполать вам,— отвечал старик.— Да ниспошлет Господь на вас свою благодать! Видно,— продолжал он, обращаясь к Татьяне,— Богу не угодно, чтоб отец твой делил с нами это счастие, мы не знаем даже, жив ли он, но он мне передал на тебя свои права!» Сказав это, Болтов снял со стены заветный образ, молодые любовники положили перед ним по три земных поклона и взаимным поцелуем сделали начало обету, который должен был соединить их навеки.

Наступил счастливый день свадьбы. Сельские девушки, подруги Татьяны, готовили уже ей приданое; уже несколько вечеров сряду сбирались они к невесте, чтоб в простосердечных песнях изъявить свои желания юной чете, как вдруг неожиданное происшествие уничтожило надежды любовников.

Одним утром Татьяна сидела с будущим тестем своим за самоваром — Борис ушел в Москву осведомиться, не пришло ли из Петербурга разрешение касательно его женитьбы,— как вошел к старосте незнакомый крестьянин средних лет. Походка его была скорая, одежда в беспорядке. Дикий взгляд, глубокие морщины на челе и на впалых, бледных щеках, смуглый цвет лица, в противуположности с белизною шеи, и, наконец, седые волосы, проявлявшиеся на голове и в длинной, всклокоченной бороде, несообразные с бодрою его осанкою, заставляли и самого недальновидного, взглянув на сего пришельца, догадываться, что он немало перенес горя на своем веку и что преждевременная старость его происходила не столько от телесных трудов, сколько от душевных болезней. Ни на что не обращая внимания, он пробыл несколько минут неподвижен посреди комнаты, устремив взор на Татьяну, задрожал и, вознесши к небу руки и глаза, полные слез, произнес гробовым голосом: «Господи! Благодарю Тебя, что Ты позволил мне еще раз увидеть ее в жизни!»

— Батюшка! Батюшка! — вскричала Татьяна, бросаясь к нему на шею.— Как я счастлива! Мы вчерась еще тебя поминали. Тебя только недоставало, чтоб

благословить нас и утвердить наше благополучие. Как рад будет Борис!

— Благословить?.. Борис?..— сказал Медведев, между тем как лицо его сделалось еще мрачнее.— Неужели есть несчастный, который захочет взять тебя, сироту безродную, дочь преступника?

— Полно, любезный! — прервал Болтов.— Забудем прошлое. Борис мой тотчас будет. Зачем мешать их счастию? Мы так долго были в разлуке. Посвятим радости первые минуты свидания!

— Радости? — отвечал пришлец с глубоким вздохом.— Ах, как я давно не знал радости! Так это Борис твой за нее сватается? — продолжал он после некоторого молчания.— И ты, Таня, могла согласиться на то, чтоб опозорить семью, которая тебя вскормила, покрыть стыдом седины старика, твоего благодетеля, и запятнать собою своего супруга?

— Нет, нет! — вскричала Татьяна, заливаясь слезами.— Сохрани меня Боже!

— Да перестань морочить ее, бедную,— прервал хозяин.— Скажи лучше, где был все это время? Как твое дело кончилось?

— Кончилось? — возразил Медведев.— Нет! Оно еще не кончилось, а скоро кончится,— продолжал он с спокойным видом.— Я чаю, недели через полторы.

— Я все-таки тебя, любезный, не понимаю.

— Да, скоро кончится,— тихо повторил пришлец.— Тринадцать лет я был в изгнании. Как первый человекоубийца, проклятый Господом, я стенал и трясся на земле. Мне казалось, что подобно ему я носил на себе знамение, по которому всякий узнал бы меня при первом взгляде. Шорох листьев в дубраве, любопытные взоры, встречаемые повсюду, куда я ни приходил, шепот в беседах — все приводило меня в трепет. Я и во сне и наяву видел погоню, виселицу, плаху. Лицо мое испало, бродя как тень, я убегал себя и людей. Скоро тоска, злодейка, начала меня мучить. Утром, когда скрывался месяц, я терзался мыслию, что он идет к вам на запад. Я терзался вечером, когда садилось солнце. Каждый день умирал новою смертию по том уголке, где лежат кости праотцов, где я похоронил свою Варвару, где сиротствовала Татьяна; хотел было забыться, убить горе трудом: с утра до ночи работал, но день ото дня грусть, как камень, глубилась в сердце. Наконец стало невмочь — решился раз положить

всему конец, принести повинную голову, только бы вас еще увидеть на своем веку! Господь,— прибавил он, крестясь,— услышал мою молитву. Спасибо тебе, добрый Иван Тимофеевич,— продолжал он, несколько помолчав,— береги ее и вперед. Тот, кто воздает напоившему жаждущего чашею студеной воды, один может вознаградить тебя.— Сказав это, Медведев сильно прижал к сердцу полумертвую дочь, стиснул руку у старого друга, отер рукавом выкатившиеся из глаз две слезы и, как бы опасаясь дальнейшим пребыванием в этом месте изменить своей твердости, опрометью выбежал из дому.

Случалось ли вам в жизни, среди дружеского разговора с человеком, полным совершенно здоровья, в ту минуту, когда веселье оживляет вашу беседу, вдруг увидеть его перед собою, пожатого косою смерти? В немом ужасе, прикованные к своему месту, вы не верите своим глазам, видя бездушный труп, ждете ответа с посинелых уст и, устремив на него пораженный взор, не видите, не слышите, что кругом вас происходит. В таком положении были Болтов и Татьяна, неподвижные, не сводя очей с двери, в которую вышел Медведев. Наконец старик, подняв глаза к небу, произнес тихо: «Да святится имя Твое, да будет воля Твоя! Не унывай, милая,— промолвил он сквозь слезы, обращаясь к Татьяне и взявшись между тем за шляпу.— Надежда еще не пропала. Обратись к тому, кто не оставляет в нужде уповающего на него: Он услышит твою молитву».

Одна посреди комнаты, бледная как смерть, Татьяна не слыхала сказанного ей, не приметила вышедшего старосты. Чувства ее онемели. Слезы, навернувшиеся на глазах при мысли о потере жениха, остановились, когда она узнала, что, сверх того, лишается отца. Долго была она в том состоянии бесчувствия, которое обыкновенно сопровождает сильную горесть. Все происшедшее казалось ей сном: она только помнила, что все мечты ее о счастии исчезли, что ей нет утешения в настоящем, нет надежды на будущее. Блуждая взором окрест комнаты, она вдруг невольно остановила его на иконе Спасителя, стоявшей в углу. Тускло горевшая перед нею лампада освещала бледный лик распятого, который божественным примером своим как бы хотел показать нам, что страдания — удел наш в сей земной жизни. Он,— вскричала Татьяна,— покровитель

сирых и беспомощных, Он один может обратить печаль мою в радость!» И с сим словом повергласъ пред изображением Искупителя. Уста ее не двигались, полная чувства, она не могла произнести ни слова, но вся душа ее молилась, и, когда она привстала, слабый румянец, мгновенно покрывший помертвелые щеки, и слезы, блеснувшие в тусклых очах, ознаменовали, что Господь услышал теплую молитву невинной девы, и луч божественного упования оживил иссушенное горестию сердце, как после знойного дня небесная роса освежает поблекшие цветы!

Спустя несколько времени вошел Борис, неся в руках известие о согласии царя на его женитьбу. Но как изумился он, взглянув на невесту!.. За два часа она была как роза в цвету, лицо горело от удовольствия, в глазах так живо изображалось ожидание радостного события, долженствовавшего увенчать все ея желания, но в сию минуту Борис почел бы ее привидением, пришедшим из царства теней посетить сей подлунный мир, если бы слабо биющаяся грудь и слезы, тихо катившиеся по лицу, не означали в ней примет жизни.

— Что с тобою, Таня? — быстро спросил он ее голосом, в котором выражались все чувства, терзавшие его в ту минуту.

— Ах, спасите батюшку,— вскричала Татьяна,— или дайте мне умереть с ним вместе! Борис! ты был мне друг, благодетель,— продолжала она, бросившись пред ним на колена,— придумай способ отвратить грозящее ему несчастие или, если нельзя миновать того, испроси мне позволение разделить с ним его судьбу!

— Успокойся, моя милая! — отвечал юноша, приподнимая ее.— И прежде всего объясни мне, в чем дело?

Трепещущим голосом, часто прерывая себя слезами, Татьяна в нескольких словах описала ему свидание с отцом и принятое им намерение отдать себя в руки правительства.

— Дело не так еще худо,— сказал Борис, после того как несчастная кончила свой рассказ.— Оно отправится в Петербург, и пройдет еще несколько времени, пока выйдет решение. Покамест авось можно будет помочь горю.

— Но царь у нас, говорят, такой строгой,— робко возразила дева.

— Он строг к закоренелым преступникам,— пре-

рвал Борис,— но снисходит к слабостям людей и знает цену раскаяния. Впрочем, что бы ни случилось, милая, ты имеешь во мне подпору, друга и защитника. Ведь ты моя невеста.

— Нет, Борис! — отвечала Татьяна, между тем как слезы на глазах, легкий румянец, ожививший бледные щеки, и волнение груди показывали, чего ей стоило высказать свою мысль.— Теперь, без имени в свете, без приюта, если мне нельзя будет утешать батюшку в его горе, я могу быть невестою одного только Бога. Вы скрывали от меня, что отец мой преступник, но Господь нарочно послал его сюда, чтоб не допустить меня до греха заплатить вам злом за все ваше добро. Бог свидетель, Борис, что мне легче умереть, чем жить розно с тобою: но мы должны расстаться! Суди сам, можно ли мне принести стыд в семью беспорочную и опозорить тебя, которого люблю более всего в мире? — Твердость, которою Татьяна вооружилась, делая сей ответ, изменила ей при последних словах, она произнесла их так тихо, что один только тонкий слух любовника мог их различить.

— Что! — быстро прервал юноша.— Ты моя, ты не можешь уже располагать собою. Если отец твой в самом деле преступник, причастна ли ты к его вине? Ты боишься упреков? Но кто может их нам делать? Ты росла у нас сиротою, и, кроме батюшки и меня, кто знает о твоем рождении?

— Есть, Борис, свидетель, о котором ты забыл. Он никогда не засыпает, и его упреки тяжеле поговорок и толков людских. Этот свидетель здесь,— продолжала она, указывая на сердце.— Нет! Я решилась и не переменю своего намерения, не видать мне счастия на свете, не бывать мне твоей женою! — И с сим словом, чтоб в продолжении разговора с милым сердцу не увлечься его убеждениями и не обнаружить собственной слабости, Татьяна, украдкой обтирая слезы, поспешно ушла в свою светелку.

Часа через два вошел к ней Борис. Он был одет попоходному, в каске, в шинели, имея за плечами ранец, в котором находилась обыкновенная солдатская ноша: мундир и несколько белья. К черной портупее с вензелевым именем государя, надетой с правого плеча, привешена была шпага, на эфесе которой висела пара башмаков. Татьяна ужаснулась, взглянув на бывшего жениха своего. Свойственная ему пылкость исчезла, взор

его был мрачен, но на лице, носившем еще свежие следы сильной борьбы чувств, изображалось спокойствие, призрак принятого вдруг намерения. Тихо подошедши к Татьяне, он сказал ей, стараясь придать голосу своему всю возможную твердость: «Чтоб спасти твоего отца, мне надобно отправиться в Петербург, я зашел к тебе проститься».

— Не напрасен ли твой труд, голубчик? — вздохнув, отвечала Татьяна.— Ведь, я чаю, судят-то его бара большие, нашей братье к ним и не приступиться.

— Есть у нас,— возразил Борис,— покровитель, который допускает к себе всякого и познатнее всех этих бар. Выслушай меня: года четыре назад имели мы с шведом баталию в Польше под Лесным. Семеновцев окружили. Государь приказал нашему полку сесть на лошадей и поскакать к ним на выручку. Мы завидели неприятеля у опушки леса, спешились и ударили в штыки. Наш взвод был в авангарде. По несчастию, с первым залпом перебили или переранили у нас офицеров. Солдаты начали было мяться. В эту минуту я както отворотился и вижу в двух стах шагах на холму государя с двумя денщиками, на рыжей своей лошадке. Как тут бежать в его виду? «Ребята, царь на нас смотрит!» — крикнул я своим и бросился вперед, прочие за мною. Швед не выдержал — и в лес, мы вслед. Тут удалось мне заметить их фендрика, который, чтоб проворнее уйти, сорвал знамя с древка и спрятал его за пазуху, а древко бросил в сторону. Я гнать его и скоро полонил с добычею. Наконец, когда дело кончилось, царь, поднесши всем нам по чарке водки и сказав «спасибо!», подошел ко мне и промолвил: «Борис, я тобою доволен, жалую тебя сержантом и впредь не оставлю». А надобно тебе знать, когда Петр что скажет, то это так верно, словно в книге напечатано.

Рассказ сей немного успокоил Татьяну. Луч надежды проник в ее сердце. В порыве чувства бросилась к жениху на шею.

— Дай Господи тебе,— сказала она,— благополучный успех! Я буду здесь, голубчик, о тебе молиться, но только, Бога ради, береги себя, ты знаешь, как ты мне дорог!

Неделю спустя после этого Борис, совершив часть пути пешком, а другую на подводах, кои в то время изо всех концов России тянулись с разными припасами к Петербургу, прибыл наконец на место.

Новая столица Севера только что начинала тогда выстраиваться. Земляная крепость, которую начинали обводить камнем, с ветряными мельницами на валу, и лежащие на правом берегу Невы Петербургская и Выборгская стороны составляли главную часть города. Частных строений было еще мало. Только знатные бояре, находившиеся при особе государевой в походах, сенаторы и начальники переведенных сюда казенных заведений имели свои дома, и те состояли из фашиннику и глины, с высокими мезонинами на голландский образец. Прочие здания принадлежали казне — простые избы, занимаемые канцелярскими чиновниками, солдатами полков, составлявших санкт-петербургский гарнизон, и, наконец, крестьянами, приходившими сюда ежегодно из внутренних губерний для работы. Левый берег Невы был почти весь застроен от Смольного двора (нынешнего Смольного монастыря) до Новой Голландии. Мазанки князя Меншикова (где теперь Сенат), деревянный собор св. Исаакия, мазанковое Адмиралтейство с деревянным шпицем и позади его Морские слободы (они простирались до Мойки и заключали в себе Большую и Малую Морские) и канатный двор (ныне дом Вольного экономического общества и часть Главного штаба), рядом с Адмиралтейством Кикины палаты, где была Навигаторская школа (там, где теперь дворцовой бульвар; школа переименована Морскою академиею, а после Морским корпусом); потом дом адмирала *Апраксина* и деревянный Зимний дворец (где ныне Эрмитаж) покрывали Адмиралтейский остров. Далее, следуя тем же берегом Невы, можно было заметить еще недоконченный каменный Летний дворец с новоразведенным садом, против него на другом берегу Фонтанки Партикулярную верфь, потом Литейный двор, похожий видом на нынешний, и, наконец, дворцы царевича Алексея и царевны Натальи (где ныне Шлифовальная дворцовая фабрика), отличавшиеся в то время изяществом своей архитектуры. Пространство от Мойки до Фонтанки и далее покрыто было болотами и лесом, от Полицейского моста тянулась по направлению Невского проспекта дорога в Шлиссельбург, другая дорога вела из Галерной верфи в Калинкину деревню, находившуюся подле нынешнего моста того же имени. Васильевский остров был также покрыт лесом, кроме деревянных палат князя Меншикова (на том месте поставлены были после каменные, кои со-

ставляют ныне часть кадетского корпуса), и французские слободы, так названные потому, что тут жили иностранные ремесленники, большею частию французские протестанты, выгнанные из своего отечества по случаю уничтожения нантского постановления. Сверх того, от места, где ныне корпусные ворота и где в то время поставлена была каланча, прорублен был во всю длину острова до Галерной гавани проспект, в конце которого стояла другая такая же каланча. Там стоял бессменно часовой, чтоб сигналами давать знать о приходящих к устью Невы кораблях. На Петровском острову, в Екатерин- и Петергофе и в Стрелинской мызе заложены были царские загородные дома, но работа их приостановилась за другими строениями [1].

В мае 1712 года, с восходом солнца, Борис в полном мундире очутился у деревянного домика, в котором жил Петр при построении Петербурга. Услышав благовест в соборе св. Троицы, он пошел в церковь, отслушал с благочинием заутреню, положил три земных поклона перед местным образом и с слезами умиления в глазах, полный упования на божественного заступника беззащитных, вышел на паперть ждать государя, когда он пойдет в Сенат. Шагах в ста двадцати от церкви, почти на берегу Невы, стояла царская аустерия, чистенький домик в четыре окна с галерееею кругом. Петр обыкновенно тут завтракал, но всем служащим офицерского чину было вольно заходить сюда, а содержателю приказано на царский счет подносить каждому по рюмке водки с кренделем. Борис, прошедши несколько раз по берегу реки взад и вперед, остановился у аустерии и, опершись на одну из ее колонн, обратил внимательный взор на Летний дворец, тогдашнее местопребывание царя. Наконец ударило на адмиралтейской башне семь часов. Лодка, покрытая зеленой краскою, отделилась от противоположного берега, и юноша по ловкости и быстроте, с какою она рассекала волны, узнал в высоком гребце того, от которого в сию минуту зависела его участь. Вскоре он мог различить его черный кожаный

[1] В плане Петербурга в 1714 г. означено гораздо более строений, но надобно вспомнить, что в то время было в Петербурге ежегодно казенных работников 40 тысяч крестьян и до 10 тысяч солдат и пленных шведов. Кроме того, множество частных людей, переехав сюда с двором в конце 1713 и в начале 1714 г., должны были ставить себе дома; при образе тогдашней постройки и при такой деятельности число зданий в Петербурге в два с половиною года могло удвоиться.

картуз, его французский кафтан серого сукна с тафтяным камзолом коричневого цвета, замшевое исподнее платье, стянутое у колен большими медными пряжками, и серые полосатые чулки. Вся твердость молодого воина исчезла, когда он увидел Петра, вышедшего из лодки и привязывающего ее к воткнутому на берегу колышку, но он вспомнил, что царь не любит, кто при нем робеет, оправился и бодро пошел к нему навстречу.

— Здорово, Болтов,— сказал Петр, увидев его,— давно ли ты здесь? Я чаял, что ты теперь пируешь свадьбу.

— Нет, государь! Не радость, а горе посетило нашу семью: невеста моя — дочь Медведева.

Глаза государя засверкали, сошедшиеся густые брови и небольшое движение головы, обыкновенный признак его гнева, показывали, сколь неприятно ему сие известие.

— Медведева? — возразил он.— Чего же тебе надо?

— Он тринадцать лет был в изгнании,— отвечал Борис со вздохом,— и сам принес тебе повинную голову. Господь милует кающихся,— промолвил он, бросаясь на колена,— а ты наш земной Бог.

— Ты не ведаешь, чего просишь,— прервал Петр.— Встань! Знаешь, я этого не люблю. Не я осудил Медведева, а закон. К чему писать законы, когда их не выполняешь? Я сам слуга законов.

— Я знаю, государь, что закон требует жертвы,— возразил юноша,— но Медведеву не перенести этого. Он так уже изнурен горем, что ему и в покое не прожить десяти лет. Я прошу только твоей милости, чтоб меня назначили вместо его. Я еще молод, здоров, силен, да притом ведь тебе же буду служить, хоть и в каторжной работе. Только служба тяжеле, да чести нет.

Петр поглядел ему в глаза, как бы желая проникнуть, от искреннего ли сердца говорил юноша, но у Бориса душа была на языке.

— Тебя назначить вместо его? — спросил наконец государь.— А отец твой, а невеста?

— Ведь и без того мне с ними розно жить, пока я на твоей государевой службе,— вздохнув, сказал Борис.— Татьяна была и будет ему дочерью. Вестимо,— продолжал он, отирая рукавом показавшиеся слезы,— тяжело отцу будет, да он утешится, что я не за свою вину терплю. А свадьба моя с Татьяною не уйдет. Мы никогда не перестанем любить друг друга! Теперь она

не хочет быть моею, чтоб не порочить семьи нашей, но если Господь позволит прожить нам еще с надеждой на Него, то десять лет кое-как пройдут.

— Это другое дело,— возразил государь,— но ты знаешь, что я сам собою не сужу без Сената. Молился ли ты сегодня? — спросил он, несколько помолчав.

— Был у заутрени, государь, и пел на клиросе, когда дьякон на эктении поминал твою милость.

— Иди, еще помолись! Молитва у Бога никогда не пропадает, а я за тебя замолвлю слово, но за успех не ручаюсь.

Первоначальная канцелярия Сената находилась в крепости, на том месте, где ныне остаточное казначейство, и принадлежала тогда к числу красивейших зданий в Петербурге. Это был обширный мазанковый дом об одном жилье, с тесовой крышею красного цвета, поддерживаемою десятью пиластрами. Большая растворчатая дверь вела с улицы в сени, разделявшие оный на две половины. Пять окон по левой стороне заняты были канцеляриею и архивом. На правой стороне сеней было двое дверей. Через первую входили прямо в Присутственную палату, где представлялись взору: посередине большой четвероугольный стол, покрытый зеленым сукном, и на нем несколько экземпляров Уложения, восемь кресел по длинным краям стола и девятое на президентском месте прямо против двери, с грубо вырезанным на спинке деревянным двоеглавым орлом; в левом углу — другой стол поменьше, за коим, вероятно, сидел обер-секретарь, в правом — образ Пресвятые Троицы, а на стенах приклеенные указы, чтоб Сенату *честно и чисто, неленостно, но паче ревностно исполнять правду и правый суд.* Комната сия сообщалась посредством потаенной двери с другою поменьше, об одном окне, замазанном глиною и огороженном железною решеткою. Тут хранились орудия пытки, которая в начале XVIII столетия считалась во всех почти европейских государствах необходимою принадлежностию уголовного судопроизводства. К сей комнате примыкал коридор, сообщавшийся с Канцеляриею тайных дел и другим концом выходивший в задние сенные двери, о которых сказано выше. Несколько дверей в этом коридоре вели каждая в небольшую горенку наподобие кельи с решетчатым круглым окном, обращенным на двор: тут преступники, назначенные к допросу, дожидались, когда их поведут в присутствие.

В означенный нами день семь особ заседали с шести часов утра в этом верховном судилище. На первом месте, по правую сторону от президента, находился дородный мужчина в суконном коричневом чекмене. Остриженные в кружок черные волосы, серебряные брови и ресницы, из-под коих сверкали черные, пламенные глаза, полные румяные щеки, в коих исчезал почти небольшой сплюснутый нос, и подернутые будто снегом усы, закрывавшие верхнюю губу, составляли нечто грозное, поселявшее с первого взгляда уважение, смешанное, однако, с ужасом. То был знаменитый князь Ф. Ю. Ромодановский, незадолго приехавший из Москвы, который по званию князя-кесаря имел право заседания во всех присутственных местах государства. Никто из русских, может быть, не оказал Петру столько важнейших услуг, и никто не пользовался бо́льшим его уважением. Неразлучный с государем от вступления его на престол, он руководил его в смутные времена стрелецких возмущений, сообщил ему свою твердость, когда непредвиденные неудачи грозили бедствием царю и царству, указывал средства обращать их в свою пользу и не раз даже помогал ему своею казною. Чистый, здравый смысл и обширный ум, быстрый в соображениях, неистощимый в средствах выйти с успехом из самых запутанных дел, заменяли в нем образование. Без корысти, без личных видов, всем жертвуя своему долгу, он имел все добродетели близкого слуги царева, кроме одной, главнейшей, может быть, в человеке государственном: он не знал сострадания, и несчастные, подпавшие гневу Петра, считали себя погибшими, если находили Ромодановского в числе своих судей. Лета, ослабив в нем телесные силы, не умалили непомерной его строгости, основанной на правиле, почти общем в то время, что страхом всего удобнее удержать умы в беспрекословном повиновении.

Подле него сидел Тихон Иванович Стрешнев. Длинные, седые волосы, спущенные по плечам, тихий, ясный взор, дышащий кротостию, продолговатое лицо, на котором, невзирая на усилия времени, играл еще слабый румянец, и непритворное благоволение, оживлявшее поблекшие его черты, влекли к нему сердца всех. Он был как изящный памятник искусства минувших времен, которого красоте удивляемся и к древности коего храним невольное почтение. Сошедшись с ним, казалось, видишь перед собою патриарха, исполненного

дней, который, пережив свое поколение, взирает на род людской с участием, озаряющим иногда наши лица, когда мы смотрим на играющих детей. Стрешнев был христианин в душе, и, полагая, что большая часть наших преступлений суть мгновенные заблуждения страстей, что убеждениями и кротостию можно в самом закоренелом злодее пробудить усыпленную совесть, он принадлежал к числу немногих, кои, ненавидя порок, сожалеют об его последователях, и во всяком случае, в противность князю-кесарю, принимал сторону человечества. Родство его с Петром (он был ему дядя по бабке), изведанная верность в течение пятидесятилетней службы, приобретшая ему всеобщее уважение, и сила речей, проистекавшая от избытка сердца и от теплоты чувств, доставляли ему часто утешение облегчать участь несчастных, на судьбу которых он мог действовать.

Против Ромодановского сидел в алонжевом парике и в тафтяном кафтане темного цвета первый сенатор по старшинству граф Ив. Л. Мусин-Пушкин, потом — князь Мих. Влад. Долгорукий и бывший дьяк Михайло Самарин. Почти все заседали в Боярской думе еще при Алексее Михайловиче. На другом конце стола находились присутствовавшие в Сенате на то время, по особенному повелению Петра, Ф. М. Апраксин в адмиральском, золотом шитом мундире, а напротив — с двумя звездами на груди и малтийским орденом на шее — генерал-фельдмаршал Б. П. Шереметев, к которому всего приличнее было отнести сказанное о французе Боярде: «Он был рыцарь без страха и упрека!»

Присутствие давно началось [1]. Сенаторы уже решили два дела, обер-секретарь читал третье, как явился Петр. Чтоб не помешать вниманию слушавших, он пришел, не кланяясь никому, на свое место и начал перелистывать лежавший перед ним настольный журнал. Лицо его было важнее обыкновенного, и те, кои от частого с ним обращения привыкли по наружности разбирать происходившее в его душе, угадывали, что он занят какою-то важною мыслию. Наконец, спустя несколько времени, произнесли имя Медведева. Государь, отложив журнал в сторону, поднял глаза, приветствовал

[1] Сенаторов было восемь, но четыре оставались еще в Москве.

присутствовавших взором и легким наклонением головы, облокотившись на стол, подал знак, чтоб читали дело.

Стрелецкий голова Медведев узнал о намерении полковника Колотова произвести возмущение в Москве, чтоб выручить стрельцов, разбитых генералом Гордоном у Воскресенского монастыря, но не донес о том. Когда, спустя два дня после того, замыслы Колотова сделались известны и он был схвачен,— Медведев, опасаясь наказания, ушел в Пермь, где, по справкам, вел себя честно и работал под чужим именем тринадцать лет на железных заводах купца Строганова, но тогда же приговорен был Канцеляриею тайных дел к десятилетней каторжной работе и потом на поселение в Сибирь. Ныне, движимый раскаянием, он воротился в Москву и, явившись у тамошнего губернатора, добровольно отдал себя во власть правительства. Правительствующий Сенат, приняв в уважение наказание, самовольно им на себя наложенное и оказанное им раскаяние, указал уменьшить число работных лет шестью годами и после трехгодичной каторжной работы сослать его на поселение в дальние сибирские города.

— Господа Сенат! — сказал Петр после того, как обер-секретарь поднес ему дело для подписания.— Преступник, о котором идет речь, чувствуя, вероятно, свою вину, осудил себя на наказание прежде, нежели последовал об нем приговор Канцелярии тайных дел, и, кажется, исполнил меру раскаяния, принесши нам повинную голову. Прошу сказать мне по совести и без лицеприятия, можно ли мне без вреда государству и без нарушения закона пощадить его?

— Власть твоя, государь! — отвечал Ромодановский.— Ты выше закона, и действия твои не могут его нарушить. Но подсудимый принадлежал к числу стрельцов, и я не верю его раскаянию. Кто ручается, что не надежда на прощение побудила его предаться властям. Князь не всуе меч носит, говорит Апостол. Мало ли было тебе хлопот от возмущений этих янычар? Они все на один покрой. Мал квас все смешение квасит. Чтоб спасти больного гангреной, отрезывают зараженный член. Так точно и здесь: измите злого от вас, как сказано в послании.

— Наказания налагаются для исправления порочных,— прервал Стрешнев, обратясь к Петру,— и ежели есть доказательства, что исправление последовало, не должно ли, по примеру Бога, которого ты, государь,

образ на земле, вместо того чтоб строгостью доводить кающихся до отчаяния, радоваться, что погибшая овца обретена, что возвращен тебе полезный подданный? Князь-кесарь не верит искренности раскаяния, доказанного подсудимым; отвечаю, что одному Богу предстоит ведать сердца, нам же должно судить о деревьях по плодам. Кто велел бы Медведеву, имея все способы жить на воле, работать тринадцать лет, если б он не чувствовал своей вины? Но этого ему показалось мало, он еще пришел требовать у нас наказания — неужели мы презрим его побуждением? Государь! — продолжал он, возвыся голос.— Следуй смело великодушному влечению своего сердца, карай преступников, но не отвергай кающихся — побеждай благим злое, как говорит Апостол, вспомни, что должник, ему же оставишь пятьсот динарий, паче возлюбит тя, нежели другой, ему же отпустишь пятьдесят, и верь, что слуга, движимый личною благодарностию, усерднее действующего по одним видам обязанности.

Почтенный вид старца и жар, с каким он произнес свое мнение, увлекли все умы. Чело Петра прояснилось, прочие молча изъявили взорами свое одобрение. Один князь-кесарь, для того ли, чтоб не отступиться от сказанного однажды, или в самом деле по убеждению, остался при прежнем.

— Потакайте преступникам,— сказал он с презрительной улыбкой,— но я все-таки не переменю своего мнения: законы пишутся на то, чтоб их исполняли.

— Милость есть удел царей,— возразил Пушкин,— и облегчение судьбы кающегося виновника не есть нарушение закона.

— Но чтоб сохранить всю силу закона,— прибавил Петр,— вправе ли я, пощадив Медведева, обратить присужденное ему наказание на невинного?

Все невольно устремили взоры на государя, как бы сомневаясь, из его ли уст вышел вопрос такого рода? Наконец, после некоторого молчания, фельдмаршал Шереметев, приметив, что лицо Петра покойно и что он, по-видимому, ждет ответа, вскричал:

— Вы спрашиваете, имеете ли право сделать неправду? Вашему величеству все вольно, но сделанное вами неправедно останется неправдою.

— Следовательно, я не вправе,— отвечал Петр,— ибо царь не должен творить неправды.— Сказав это, он оторвал лоскуток бумаги, написал несколько слов, свер-

нул и, запечатав, велел призванному экзекутору отнести в собор св. Троицы сержанту Болтову.

Вот содержание этой записки:

«Сенат приговорил, и государь указал, что царь может пощадить виновного, но не вправе наказать невинного. Медведева прощаю, а касательно твоей просьбы, чтоб тебе заменить его, исполнить не могу; да, я чаю, ты не будешь гневаться за отказ.

Петр».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Живучи в Москве, мне как-то случилось однажды утром в феврале поехать в Лефортовский дворец. Накануне растаяло, но в тот день порядочно примерзло. Я одет был налегке и, отчасти чтоб движением привести в обращение застылую кровь свою, частию для облегчения лошади, которая, бедняжка, беспрестанно спотыкалась на голом льду, решился на возвратном пути, вышед из саней, пройтись несколько пешком. Это было в Немецкой слободе. Вскоре небольшой, опрятный домик старинной архитектуры, с палисадником, обратил на себя мое внимание. Я любовался высоким мезонином, намалеванными на ставнях рощами и соловьями, которые под тонкими пластинками прозрачного льда лоснились, будто покрытые свежим лаком, небольшими деревянными амурами красного цвета, кои, как дошедшие до нас произведения древних ваятелей, были без носов, без пальцев и прочего, но вдруг оступился и упал. Мысль, что я терплю участь, общую всем зевакам, удержала неучтивый порыв моего гнева и языка на несчастное мое любопытство. Я встал с покойным видом, оправился, но, как бы ни было, не мог ехать далее. Что сказали бы люди, увидев меня, почтенного летами и званием, на улице в восемь часов утра, с окровавленным лицом, с синими пятнами под глазами? Дом, бывший причиною моего падения, находился в двух шагах, справедливость требовала, чтоб я в нем искал помощи от приключившегося мне горя. Я вошел в кухню, попросил воды у стряпавшей поварихи и, нагнувшись, с преклоненным к поданной мне миске лицом начал было обмывать пятна запекшейся на нем крови, как слышу позади себя охриплый женский голос:

— Христианское ли это дело, батюшка? К бусурманам зашел, что ли? Разве у нас честные люди только по

кухням живут? Не мог взойти прямо, как водится, и спросить всего, что тебе надо.

Слова сии так быстро были проговорены, что я едва успел отворотиться. Стоявшая передо мною особа напомнила мне изображения бабушек, кои случается нам видеть иногда на старинных фамильных портретах. Ростом она была по крайней мере вершков восьми. В овале высокого, некогда белого, но от времени пожелтевшего чепчика я увидел два серебряных локона, как бы прилепленных к исчерченному морщинами челу, двое черных бровей, в коих проявлялись седые волосы, серые, живые глаза, искрасна-синеватые щеки, обтянутый, подавшийся ко рту нос, бледные, впалые губы и несколько поднятый кверху подбородок. Два клочка волос, один на ямочке правой щеки, а другой на левой, под нижнею губою, прикрывали две бородавки, которые придавали много красоты лицу во время оно, когда по требованию моды женщины пестрели его мушками. Одежда сего гренадера в женском платье состояла из пестрой ситцевой кофточки, прикрытой черным платком, полосатой юбки и сафьянных, едва закрывавших ноги башмаков с загнутыми вверх концами на высоких каблуках. Заметив, что дворник, рубивший дрова в углу, опустил одну руку с топором и, сняв другою шапку, стал в почтительное положение, что служанка, которая наливала мне на руки воду и в многословных жалобах изъявляла свое сожаление о случившемся со мною несчастии, вдруг замолкла и приняла важный вид, я заключил, что вижу перед собою хозяйку, и, напуганный ее гневным приступом, сказал ей, заикаясь, что не решался войти, не спросясь, что мне было совестно... «Совестно! — прервала она, не дав мне договорить.— Чего совеститься? Украл, что ли? Беда великая, что об эту пору оступился да упал. Конь с четырех ногах, да и тот спотыкается».

Сие заключение было весьма справедливо, ибо, если бы лошадь моя не споткнулась перед тем шести раз на расстоянии каких-либо двухсот шагов, я, вероятно, никогда не имел бы удовольствия встретиться с моею новою знакомкою, столь примечательною,— а потому я только отвечал ей в знак согласия склонением головы.

— Но ты не на шутку ушибся, голубчик,— продолжала она, смягчив голос и касаясь пальцами к моему лицу,— да какой он, бедняжка, холодный! Парамон! Проворней самовар! А ты, Лукерья, сбегай живее на-

верх, в спальню: там за зеркальцем красная бумажная коробочка с пластырем, принеси сюда. Пойдем, мой родной! Не бойся! Мне не впервые лечить от ушибу.

— К чему вам беспокоиться, сударыня? Мне пора...

— Молчи! — возразила она, закрывая мне рукою рот.— Чтоб я тебя так отпустила, избитого! Слыханное ли это дело! Благо есть чем помочь. Куда спешить! У вас все дела, а на поверку — только что из пустого в порожнее переливаете. Сядь обогрейся, напейся порядком чайку, как у людей водится, а там с Богом!

Я тихо последовал за старушкой, которой деятельное сострадание, хотя выраженное не со всею тонкостию светского приличия, наполнило мою душу истинным к ней уважением. Она не заботилась знать, кто я таков. Ей показалось, что мне нужна помощь, и она поспешила мне предложить ее.

Мебель в комнате, в которую меня ввели, соответствовала древностию летам хозяйки. Покрытое пестрядью канапе на низких, толстых ножках с поручнями шириною в ладонь и с вырезанными на дереве изображениями цветов, птиц и зверей, тяжелые стулья с высокими спинками, зеркало в зеркальных, расписанных узорами рамах, на окнах несколько горшков с гвоздикою, левкоем и колокольчиками и висевший посреди в клетке из прутьев дрозд бросились мне тотчас в глаза. На стенах налеплены были картины: взятие Азова, Полтавская баталия, похороны генерал-адмирала графа Головина, обед князя-папы и другие, изданные во время Петра I, но всего для меня занимательнее был писанный масляными красками портрет сего государя, который, судя по темноте красок и по тоненьким рамам с позолотою, почти совсем стертою, был современный ему.

— Давно ли у вас этот портрет? — спросил я у хозяйки, которая подавала мне в то время налитую чашку, с вопросом, как я употребляю сахар — вприкуску или разведенный в чаю?

— Этот портрет,— отвечала она,— висел здесь, батюшка, еще при дедушке моем, поручике Капорского пехотного полка Борисе Ивановиче Болтове. Он был ранен под Бакой в Персии, кажется, в 1724 году, вышел в отставку, поставил этот дом и поселился здесь. Я все это тебе расскажу как следует.

Тут она ушла в другую комнату, принесла оттуда футляр, вынула из него в позолоченных рамках под

стеклом вышеупомянутую записку Петра и, положив ее передо мною с видом самодовольствия, начала повесть, которую вы читали. Рассказ ее именно дошел до этой записки, как послышался благовест к обедне. Старушка, по ее словам, тридцать лет сряду ходит ежедневно в церковь и всегда поспевала к часам. Судите, как ей неприятно было опоздать в этот день.

— Прости Господи! — вскричала она.— Согрешила, заговорившись с тобой.

Однако ж я не заметил, чтоб она на меня гневалась, и, когда я взялся за шляпу, чтоб проститься с нею и поблагодарить за хлеб-соль, она, целуя меня в лоб, сказала:

— Прощай, мой родной! Дай Бог тебе здоровья! Коли захочешь дослушать меня, приезжай, но только после обедни и не откладывай далеко. Мне скоро стукнет восьмой десяток, в наши годы считают жизнь не месяцами и не неделями, а днями и часами.

Три недели я не мог никуда показаться. Наконец первый мой выезд был к почтенной старушке. Вообразите, как я удивился, увидев среди бела дня закрытые во всем доме ставни. Предсказания ее сбылись. В воротах встретила меня знакомая служанка словами: «Пульхерья Ивановна приказала вам долго жить». Я вздохнул от глубины сердца и так был расстроен, что не мог спросить у нее конца рассказанной мне повести, которую она, вероятно, слышала от покойной своей госпожи. Признаюсь, мне самому это весьма досадно, ибо, по мне, полная и обстоятельная развязка так же нужна в повести или в романе, как вино или десерт в хорошем обеде. Если между моими читателями или читательницами найдутся такие, кои одного со мною мнения, я смею торжественно их уверить, что если мне еще удастся быть в Москве, то я употреблю все возможные средства для отыскания означенной служанки Лукерьи и все, что узнаю о обстоятельствах брака Болтова с Татьяною и вообще о примечательном в их жизни, не премину сообщить немедленно.

Основание сей повести взято из исторического анекдота времен Петра Великого, все прочее заимствовано также из исторических источников.

1828

А. О. Корнилович

АНДРЕЙ БЕЗЫМЕННЫЙ

Старинная повесть

ГЛАВА I

Была осень. Лес в окрестностях Валдая, верстах в двух от большой дороги из Петербурга в Москву, находился в оцеплении. Охотничьи рога, свист арапников, шум листьев от конских копыт, лай, визг, вой лягавых, когда несшихся по опушке, когда уходивших в глубину рощи, по мере того как след зверя гороховел, стыл, терялся, изумляли слух дикой смесью разнородных звуков. Везде деятельность, живость, быстрота. Поднимали зверя на поляну, где, держа на сворах неспокойных от нетерпения гончих, находились верхом на известных расстояниях охотники, окрестные помещики, полевавшие в угодьях окольничего Ивана Семеновича Горбунова-Бердышева. Сам он в середине, окруженный доезжачими, на лихом аргамаке под турецкою сбруей, с неугасшим от лет пламенем в очах, ожидал появления добычи. Но вместо зверя показалась на дороге из лесу телега, в коей сидело двое мужчин. Едва взъехала она на поляну, старший, в некрытом овчинном тулупе, остановил лошадей, соскочил с телеги, снял шапку и, будто занявшись поправкою хомутов, внимательно рассматривал лица охотников. Младший, по-видимому лет двенадцати, окутанный шерстяным платком, обратил взоры на погоню за выскочившими в это самое время из пороши двумя зайцами.

Лов был удачен. Между тем вечерело. Раздался звук рога, возвестивший конец охоте. Ловчие, сомкнув и сосворив гончих, отправились вперед с тороками, тяжелыми от затравленных зайцев, лисиц; за ними в другом поезде владелец села Воздвиженского с деревнями и его соседи. С появлением барина высыпали на двор конюхи для принятия лошадей. Гости разошлись по своим комнатам, дабы, переодевшись, вздохнув, со-

браться снова и увенчать тревоги дня веселым ужином. Иван Семенович, прежде чем скинул охотничий наряд, подошел, по обычаю, к окну посмотреть, как проводят по двору коней, и видит, что телега, которую заметил еще на охоте, остановилась у ворот. Мужчина в тулупе, привязав вожжи к одному из колец, коими тогда усеяны были заборы наших барских домов, без шапки, держа за руку спутника, пробирался вдоль боковых строений к господским хоромам. Иван Семенович свистнул.

— Кто приехал? — спросил он у вошедшего на призыв слуги.

— Из Тихвина, от Александра Семеныча, Николай Федоров.

— От братца Александра Семеныча? — повторил с изумлением барин.

— Точно так-с,— отвечал слуга.

— Послать сюда Федорова.

Вошел рослый, плотный, румяный мужчина, коснулся челом земли и, по преимуществу людей дворовых, поцеловав руку господина, подал перевитый шелковинкою свиток с висевшей восковой печатью.

— Что скажешь, Николай Федоров?

— Александр Семеныч приказал долго жить.

— Братец скончался? — прервал Горбунов.— Упокой, Господи, его душу! — промолвил, вздохнув и с крестом обратившись к образу. Затем развернул свиток и вполголоса прочел следующее:

«Государь братец, Иван Семенович! Десять лет ложный стыд удерживал меня от сознания, что я оскорбил тебя, и Господь тяжко наказал медлившего. Наконец, ложась в могилу, готовый предстать перед судиею праведным, прошу тебя, отпусти мне вину — прости кающемуся! Посылаю тебе своего Андрюшу, одно, что осталось от нашей Веры, потому что она была твоя сердцем, хотя мне принадлежала по закону. Ее именем, по ее последней заповеди, заклинаю тебя, будь отцом и матерью сироте: яви на сыне примирение с тенью родителя».

Горбунов кончал чтение письма, когда Андрюша, вошедший между тем в комнату, облобызал его руку. «Это она, это моя Вера! — вскричал старик, взглянув на племянника и утирая рукавом слезы.— Так! Вы не обманулись в ожидании. Завет ваш святая для меня заповедь. Отныне, Андрюша,— продолжал он, целуя его в голову,— ты мой сын».

Иван Семенович Горбунов служил в молодости в Москве, в дружине одного из знатнейших бояр царя Алексея. Узнал Веру у пожилой родственницы, которая приняла к себе бездомную сироту. Ее беззащитное положение пробуждало участие, красота и душевные качества привязали к ней юношу. Они полюбились всем пламенем первой любви. Между тем наступила война с Польшею. Иван, верный долгу, расстался с Верой, поручив ее надзору брата Александра. Прелесть лица, сладость речей очаровывали всех, кто ни встречал, ни слушал Веру. Александр находил удовольствие в ее беседе, не замечал закрадывавшейся в сердце страсти, когда же заметил, был уже не в силах ее побороть. Мысль, что Вера достанется другому, терзала ослепленного: он решил добыть ее преступлением. Является к ней с грустным лицом и вестью о кончине брата, плачет с горюющею и, когда миновались первые месяцы печали, предлагает ей вместе с рукою подпору и заступление. Между тем Иван, полный любви и отваги, подвизался на поле ратном. Бился под Смоленском, под Витебском, доходил до Вильны; наконец, по наступлении Андрусовского перемирия, богатый милостью царской и славой, с чином окольничего и почетным прозванием Бердыш, которое получил, когда при вылазке врагов из Смоленска своеручно иссек польского военачальника, спешит в Москву с надеждой на отдых от трудов бранных в объятиях Веры. Накануне его приезда Вера обвенчалась с Александром. Иван не хотел видеть брата, но не мог расстаться с Москвой, не упрекнув изменницы. Они свиделись, и не на радость. Вера, вышедшая за Александра не по склонности, оставалась верною обязанностям супруги, но не могла уважать того, кого почитала рушителем счастия собственного и счастия существа, которое любила более себя. Томимая тихой грустию, тем более тяжкою, что скрывала ее от ревнивой подозрительности мужа, чахла несколько лет и, наконец, истаяла, произведши на свет сына. По ее кончине Александр только и знал напасть. Строптивый нравом, поссорился с начальником и принужден был выйти из приказа, в котором служил; вотчину его подле Тихвина отобрали на государя; наконец, доведенный до нищеты, не смея прибегнуть к брату, которого оскорбил, мучимый прошедшим, настоящим, будущим, слег в могилу, поручив опеке Ивана Андрюшу, с которым мы познакомились выше.

ГЛАВА II

Длинный, по обычаю, стол, уставленный яствами в серебряных судках под крышками, возвещал о наступлении времени ужинного. Впрочем, только умноженное число приборов и бутылок с винами в поставце позволяло догадываться, что собрание собеседников будет значительно. В хлебосольный век, к которому принадлежит наша повесть, истинно держались пословицы: *Не красна изба углами, а красна пирогами*. Не щеголяли убранством в домах: стены голые, иногда покрытые цветной бумагой или завешанные коврами, вместо диванов, кресел — лавки, обитые кожею или сукном. Но на столе не было пустого места. Мясо говяжье, свиное, баранье, все домашние птицы, дичь, рыбы жареные или вареные, в похлебках, взварах, студенях, притом пироги, куличи, оладьи, коврижки, медовые варенья — всего вдоволь. Кушай, сколько душе угодно! Правда, не заботились об утонченностях вкуса: лук, чеснок и перец, необходимая принадлежность старинной русской кухни, слышались в каждом почти кушанье, но зато волей-неволей встанешь сыт из-за стола. Случались ли гости, все блюда разносили собеседникам; кушал ли хозяин один или с домашними, яствами более обыкновенными, по примеру древних наших царей, жаловал слуг, которым хотел явить милость.

Гости, проголодавшиеся от воздуха и верховой езды, собрались в гостиной, нетерпеливо ожидая хозяина. Наконец он явился, ведя за руку Андрюшу.

— Извините меня, дорогие соседи, что замешкался,— проговорил он к собранию,— Господь послал мне сына. Благослови сироту, отче Григорий! — промолвил, обратясь к священнику.— Ты знал отца и мать.

В то время как Андрюша подходил к руке священника, вошли слуги, неся подносы, уставленные разноцветными плодовыми и травными водками. Когда гости, чтоб не оскорбить хозяина, отведали каждой, раздалось громкое восклицание: «Кушанье поставлено», и все с шумом понеслись в столовую.

Долго слышался лишь стук ложек, ножей, вилок. Когда несколько обнесенных блюд поуспокоили первый позыв к пище, а усердно полнимые слугами медовые и винные кружки пробудили говорливость, хозяин, обратясь к соседу, молвил, глубоко вздохнув:

— Дожили мы до поры, Лука Матвеич! И детям

рад не будешь! Волей-неволей посылай мальчика в школу, не то сам попадешь в опальные, да и молодцато не женят, венечной памяти не дадут. Бывало, и нас учили: узнаешь грамоту, много — цифирь, и дело с концом! И жили, как дай Бог всякому! Нет, вишь, хотят, чтоб дети были умнее отцов. Учат, мучат, а что-то будет проку? Не так ли, Лука Матвеич?

Лицо, к которому обращалась сия речь, мужчина полный, тучный, на щеках коего играло здоровье, некогда пятисотенный в стрелецком войске, был сосед Горбунову по деревне. Он безошибочно распознавал на бегу зайца — русак или беляк, с виду определял достоинство гончей, по вкусу — лета меда, но в делах, кои требовали некоторых усилий рассудка, соглашался со всяким, кто с ним заводил речь: не из угодливости, а потому что не имел своего мнения. Долго находился под властию родителей, потом жены, которые за него рассуждали. Наконец, овдовев в тех летах, когда учиться поздно, недоросль в сорок четыре года, почитал лишним труд, без которого столь долго обходился.

— Точно так-с,— отвечал Лука Матвеич.

— Мало того. Кончат ученье, посылай молодца на службу. Бывало, и мы ходили на войну, и мы бивали врагов,— продолжал Иван Семенович, гордо озираясь на стены, увешанные доспехами,— но то ли дело? В наше время боярин в суде, боярин в думе, боярин на поле ратном — везде боярин. Сядешь на коня, сотни, тысячи глядят в глаза. Куда ни кинь оком, везде твои люди. А нынче? И дворянин, и холоп на одну стать: всем та же напасть! Поставят тебя в строй, дадут в руки ружье — слушайся, кого же? Добро бы своего брата, православного. Нет! У нас-де, вишь, на Руси нет умных людей! Какого-нибудь, прости Господи, выписного, заморского сорванца, нехриста, у которого ни кола ни двора, что двух слов по-человечески промолвить не сумеет. Не правда ли, Лука Матвеич?

— Совершенная правда, Иван Семеныч,— ответствовал сосед.

— Да это ли одно? Ума, право, не приложишь, коли посмотришь кругом себя. Затеяли строить город, где же? На краю земли, в болоте, где и лягушкам нет приволья, селят людей, словно куликов. И имя-то дали городу не християнское, что и вымолвить не сможешь. Губят народ, сорят деньги, а будет ли прок, про то ведает один Бог.

Тут Иван Семенович окинул взором собрание, как бы желая прочесть одобрение на лицах собеседников, и, наконец, остановив очи на приходском священнике, спросил:

— Что ты молчишь, отче Григорий?

Отец Григорий, старик седой как лунь, жил уже третье поколение. Природный ум, образованный чтением священных книг, многолетняя опытность и житие неукоризненное окружили его уважением. Бо́льшую часть века провел в Москве, наконец, в преклонные годы, по давней приязни к Горбуновым, перешел на отдых в приход села Воздвиженского.

— Мое мнение не ваше,— ответствовал он, оправляя длинные, развевавшиеся по плечам волосы.— Ученье — свет, неученье — тьма. Царю ниспосланы свыше мудрость, и нам подобает возносить мольбы ко Господу, да поможет ему излить ее на свою паству! Иноземцы опередили нас в науке и всяком знании: нет стыда, подавно греха, перенимать хорошее, придет, может быть, время, что они в свою очередь будут от нас заимствоваться. Вы жалуетесь, что бояре несут одну службу с холопами. Послушайте же. Лет двадцать назад случилось мне быть у священника села Коломенского под Москвою. Пора была осенняя, как нынче, на дворе холод, буря, дождь ливнем, непогодь, что на улицу и калачом не заманишь. Против нашего дома, у дворца государыни Натальи Кирилловны, стоял ратник лет шестнадцати, промок, сердечный, продрог, а выстоял под ружьем свое время, пока его не сменили. Кто ж, мыслите, был этот ратник! Государь Великия, Малыя и Белыя России, наместник Бога на земли! Что же против царя ваш боярин, будь его имя на всех листах Разрядной книги? Санкт-Петербурх, правда, перевел много православных, но послушайте, что бают в народе: «Коли-де сам государь-батюшка, с топором в своих царских руках, валит лес, по пояс в воде, до́лбней вбивает сваи, как же нам, рабам его, не терпеть? Сам-то он болеет за нас душой, да, видно, дело-то нужное. Не трудил бы, не мучил бы себя, коли б не видал нашей пользы». И порассудишь, увидишь — народ прав. Государи живут не для одних современников, а бросают семена, растящие плод, от коего снедят потомки, и внуки наши будут благословлять Великого за построение города, который вы нынче зовете болотным гнездом. Но зачем ходить далеко? Не видите ли кругом себя благо-

творных последствий трудов его? Слуги ваши ходят в сукне, какое, в мою память, кой-когда появлялось на боярах; в доме вашем убранство, какое только видали в царских палатах. Перейдите к другому. Вспомните Азов, Калиш, Лесное, Полтаву, имена, кои будут жить, пока живет Россия. Чем подобным похвалится ваша старина?

Иван Семенович привык с детства уважать своего духовника и дозволял ему противуречить, но унижение старины, времен его славы, его подвигов почитал личным оскорблением. Не возразить было свыше его сил.

— Чем похвалится наша старина? — прервал он с запальчивостию.— Иной помыслит, батька, лета отшибли у тебя память. Чем похвалится наша старина? Этот бунчук, отче Григорий,— тут он указал на стену,— эта сбруя добыты мною у турского паши в поход Чигиринский, когда мы карали бусурман за Малую Россию; эта кольчуга принадлежала мурзе татарскому, которого полчища мы иссекли у порогов днепровских; лезвие этого меча рубило поляков под стенами Витебска, и, наконец, этот бердыш, который еще багровеет запекшеюся кровию врагов, по коему блаженныя памяти государь Алексей Михайлович, упокой Господи его душу, изволил пожаловать мне, холопу своему, прозвание — этот бердыш есть памятник завоевания Смоленска, всей Литвы и в ней шестидесяти городов. Чем подобным похвалится ваше нынешнее, хваленое время?

Отец Григорий, не хотевший дальнейшим разногласием гневить хозяина, которого знал слабую сторону, помолчав немного, спросил вместо ответа:

— Скоро ли чаете отвезти Андрея Александрыча в школу?

— Я? Нет, отче! Я в Новогород не ездок. Туда являйся не иначе как в немецком платье, а мне на старость поздно рядиться скоморохом. Это твое дело, Терентьич!

Терентьич, к которому обращена была речь, мужчина малорослый, перебывавший в трех приказах, исчах над деловыми бумагами. В то время на Руси судов и судей еще не было: отдавали ее, матушку, *на корм* воеводам, кои в областях были как дома: вершили, рядили, никого не спросясь, катались как сыр в масле. Каждый помещик имел у себя в доме подьячего, нато-

ревшего в законах, которого обязанность была отстаивать милостивца у воеводы.

Вотчина Горбунова окружена была поместьями, незадолго перед тем пожалованными любимцу Петра I, князю Меншикову. Князь неоднократно предлагал Ивану Семеновичу продать имение или взамен выбрать любое из его поместий: но Горбунову-Бердышу расставаться с селом Воздвиженским, которое получил в награду за многие верные службы, на коем основывал честь своего рода, казалось более чем преступлением. Отказ произвел неудовольствие и частые между соседями споры. Терентьич вел битву за Ивана Семеновича. И действительно, трудно было в околотке отыскать борца искуснее. Уложение и новоуказные статьи, притом все крючки, все натяжки, какие искони водились между приказными, были ему свои: приискать закон, перетолковать его в пользу или против, проволочить или ускорить дело, задобрить кого словом, кого мздою — никто лучше Терентьича не ведал. Пронырливый, изворотливый, неразборчивый в средствах к достижению цели, умея принять все личины, нередко самого Горбунова приводил в изумление и страх, чтоб клеврет не сделался противником.

Терентьич, сидевший на конце стола, привстав, ответствовал тоненьким голоском:

— Как ваша милость приказать изволит. Вот настанет зима, и тогда с Богом!

Между тем самозвонные часы пробили восемь. Собеседники, усталые от охоты, чтоб к следующему дню собраться с силами для новых подвигов, осушив в заключение по братине меду, разошлись по своим комнатам на покой. Так миновал первый день пребывания Андрюши в селе Воздвиженском.

ГЛАВА III

Несколько месяцев спустя после вышеприведенной беседы от раннего утра все было в движении в доме Горбунова. Перед крыльцом стояла большая крытая кибитка, на дворе несколько саней, тяжело нагруженных чемоданами, сундуками, кульками, кулечками. Старики наши были домоседы, ограничивали путешествия уездным, много областным городом, но и те совершали не иначе как обозом. Дело-де холопское пус-

каться в дорогу на одной телеге: дворянин, чтоб не уронить звания, вез с собою весь дом. По отслужении напутственного молебна посадили Андрюшу, укутанного, между Терентьичем и дядькою Николаем Федоровым, и обоз потянулся к Новгороду.

В то время заря просвещения едва начинала проявляться на горизонте России. До Петра I воспитание у нас находилось исключительно в руках духовенства. Государь сей, до учреждения гражданских училищ, введши преподавание некоторых светских наук при архиерейских школах, повелел обучать в них детей всякого звания. В Новгородской школе, после Киевской и Московской важнейшей, было всего двое учителей. Дьячок Никандр, незадолго прибывший из Славяно-греко-латинской академии, обучал закону Божию, чтению книг по старому и новому письму и церковному пению; воспитанник морского училища, что на Сухаревой башне, преподавал цифирь, географию и начала геометрии. В этом заключалась премудрость, к таинствам которой готовились приобщить нашего Андрюшу.

После четырехдневного пути Терентьич привез к новгородскому архиерею юного питомца с письмом, живою стерлядью и бочонком заморского вина от своего милостивца. Преосвященный, давний знакомец Ивана Семеновича, поручил Андрюшу надзору келаря, приказав ему поместить мальчика в своей келье.

Между школьными товарищами Андрей преимущественно подружился с Желтовым. Оба были одинаковых лет и способностей, дворяне, сироты; различествовали нравом и положением. Андрей, живой, резвый, отличался добрым сердцем и шалостями. Желтов, тихий, важный, прикрывал вялою наружностию редкую в эти лета решимость. Первый, без состояния, нашел дядю, тужившего об нем как о сыне; второй, богатый наследник, попал к опекуну, который старался об удалении племянника, дабы в отсутствие юноши рачительнее править его имением. Дьячок Никандр, надзиратель и главный учитель школы, муж твердый в Священном писании, особенно изучил два изречения: *муж мудр биет дитя неразумно* и другое *иже щадит жезл — ненавидит сына своего; любяй же наказует прилежно.* Дабы явить себя вместе мудрым и чадолюбивым, педагог весьма усердно следовал наставлениям царя израильского. Каждую субботу по окончании классов стены школы оглашались криком и визгом несчастных страдальцев

его мудрости и чадолюбия. Андрюше доставалось реже: он жил в доме архиерейском, находился под покровительством преподобного отца келаря; притом Терентьич являлся в Новгород всякие три месяца с фурой разных запасов в поклон начальникам юноши, причем и на часть Никандра перепадали когда кусок байки на сюртук, когда иной, другой рублишка. Но Желтов, без защиты, без покровителей, в конце каждой недели чувствовал тягость руки грозного наставника, когда за вину — чаще для примера. Долго мальчик переносил, крепился, наконец, увидев, что ни прилежание, ни скромность не избавляли от деятельного сердоболия дьячка, вышел из терпения. «Шали, не шали, все те же розги, пускай же хоть будет за что». В классе на возвышении находилась кафедра, над коею висело жестяное люстро, которое на лето снимали. Никандр, близорукий, полуглухой, взошед по лесенке на кафедру, имел обычай, наклонившись на лежавшую перед ним тетрадь или книгу, выслушивать уроки подходивших учеников. Желтов, забравшись в класс в часы отдыха, привязал к вделанному в потолок кольцу люстра бечевку, в конце которой прикрепил загнутую крючком булавку, и когда подошел к кафедре для высказания урока, осторожно зацепил крючком косичку строгого ментора. Пробило одиннадцать. Учитель, сложив тетрадь, встает, сходит с лесенки, но едва ступил на вторую ступень, не тут-то было, хочет оборотиться, не может. Между тем от этого движения лесенка падает, и дьячок Никандр, гроза школы, за два дня до посвящения в дьяконы, повис между потолком и полом, при громком смехе тех, кои дотоле трепетали от одного шума его шагов.

Преступление было велико, и преступник недолго укрывался. Товарищ, которому неосторожный открылся, напуганный, назвал Желтова — и раба Божия отвели в исправительную, дабы, продержав там до субботы, нещадно наказать в виду всех учеников и потом позорно выгнать из школы. Исправительною звали в отдаленной части архиерейского дома уголок, огражденный перегородкою в два человеческих роста. Там Желтов, на хлебе и воде, лежа на голом полу, со страхом в сердце, и днем, и в ночных грезах видел перед очами роковой день. Вдруг ночью слышит сквозь сон, кто-то зовет его по имени. На отзыв тот же голос: «Вставай, времени терять некогда, не ждать же завт-

рашнего дня!» С сим вместе спустилась к нему с перегородки веревочная лестница. Желтов поспешил выбраться из тюрьмы. Встретил его Андрюша: «С помощью Николая Федорова мне удалось обмануть бдительность отца келаря. От тебя теперь зависит избегнуть мстительности Никандра. Вот тебе все, что теперь имею,— промолвил он, подавая Желтову одною рукою несколько серебряных рублей, а другою отпирая окно, выходившее на улицу,— поспеши до свету выбраться за город, чтоб нам обоим не попасть в беду, а там Господь тебя не оставит!» И, не дав Желтову высказать благодарности, с братским поцелуем спустил его по веревочной лесенке, поднял ее и, заперши окно, без шума воротился в келью.

Недолго спустя после сего подвига кончился курс учения. Андрюша в четырехлетнее пребывание в школе бегло выучился русской грамоте, вытвердил большую часть Псалтыри, твердо знал цифирь до правила товарищества, умел отличить квадрат от треугольника, параллелограмм от круга, назвать европейские государства с их столицами и, награжденный похвальным листом от преосвященного, со славою многоученого воротился к нетерпеливо ожидавшему его дяде.

ГЛАВА IV

Наступило время отправления героя нашего на службу, но Иван Семенович, привязавшийся к племяннику, как к сыну, со дня на день откладывал. «Он-де еще ребенок, куда ему мыкать горе, таскаться с ружьем», хотя ребенку, ростом вершков девяти, миновался уже двадцатый год. Андрей между тем полевал с дядей зайцев и лисиц, травил соколами журавлей, стрелял на близлежавшем болоте гусей и уток. Когда ходил с рогатиной и ножом на медведя или гнался за быстрою ланью, когда умучивал диких коней дядина завода. Смелый, не зная ни страха, ни усталости, радовал старика Горбунова, которому подвиги юноши приводили на память собственную удалую молодость.

В одно летнее утро Андрей ехал лесом на борзом коне арабской породы, дотоле мало носившем седоков. Что-то шорохнуло в листьях, испуганный конь взвился дыбом и пустился молнией в сторону по случившейся просеке. Андрей хотел удержать его на поводьях, по-

водья оборвались. Тогда, схватившись за гриву, предоставил себя на волю ретивого. Сей, несясь через пашни и луга, примчался к пруду, обсаженному деревьями в два ряда. Между березами качались девицы под звук заунывной песни, которой вторила пожилая женщина в телогрее, сидевшая за пряжей подле, на берегу пруда. Поодаль стояло несколько мужчин, по-видимому слуг. Вдруг одна из девушек при виде несомого стрелой всадника вскрикнула. Андрей, дотоле ездок внимательный, оглянулся; между тем конь — в воду и седока на нем не стало.

Пришед в чувство, он увидел себя в постели, укутанный одеялами. Подле сидела женщина преклонных лет, которую по шелковой фрязи и богатому платку на голове принял за боярыню. Перед кроватью стол с огромной шашечницей, шашки в беспорядке и отодвинутые от стола к середине комнаты кресла показывали, что игра была недавно прервана. Стены, обитые цветною бумагой, развешанный по ним охотничий наряд, большая печь с лежанкой, в углу кивот с иконами в серебряных окладах — говорили Андрею, что он в незнакомом месте.

— Где я? — спросил он вполголоса.

— Насилу-то ты очнулся, батюшка,— ответствовала старушка.— Куда ты нас было перепугал! Ивановна! — продолжала она, обратившись к стоявшей в углу женщине.— Попроси скорее Луку Матвеича. Что, каково тебе, мой родной?

— Слава Богу! — отвечал Андрей.— Только немного знобит.

— Как не знобить? — прервала незнакомка.— Легкое ли дело? Мало ли ты, голубчик, пробыл в воде? Да беда, что тебе здесь и пособить нечем. Я человек заезжий, а в доме братца, Луки Матвеича, такая безладица, что ничего не найдешь. Сейчас потороплю их, чтоб подали тебе чаю.

В дверях встретилась она с Лукой Матвеевичем.

— Ну, Андрей Александрыч,— сказал он, придвигая к кровати большое, обшитое черной кожей кресло,— перепугал ты нас порядком. Бог с тобой! Уж мы тебя и раскачивали, и оттирали, да, спасибо, надоумила сестра, княгиня Ирина Матвеевна, положить тебя в постель. Наказал тебя Господь за удальство, не будешь вперед молодечествовать. Да и то сказать, лихого ты

коня себе подобрал. Я теперь только смотрел его. Как ни в чем не бывал! Как ты это так оплошал?

— Поводья оборвались, Лука Матвеич.

— Поводья! Уж бы за это конюхов! Иван Семенович такой благодушный, по мне — всех бы до одного передрал.

— За что же всех? — возразил Андрей.

— Виновного за то, что провинился, а прочих в острастку, чтоб знали, каково провинившемуся,— ответствовал хозяин.— Так ведется у меня от дедушки. Ведь счастие, что моя Варвара очутилась на ту пору у Ольгина пруда, не то упаси чего Боже, поминай как тебя звали.

Между тем воротилась княгиня со слугою, несшим на подносе кипевший чай. «Покушай, батюшка! Согрейся и усни! Увидишь, как рукой снимет».

Предсказания старушки сбылись. Живительная влага действительно произвела благотворное влияние на оцепенелые члены Андрея, но сон не приходил ему на ум. Почувствовав в себе довольно крепости, встал и оделся, чтоб поблагодарить хозяев за ласковую внимательность, поспешить домой успокоить дядю в долгом отсутствии. Прошед из спальни через несколько комнат, ступил в одну, в которой светлые бумажные обои, дубовая софа, явление в то время редкое, и несколько кресел, обитых кожею, большое зеркало в зеркальных уже узорчатых рамах показывали, что то была гостиная.

Но убранство комнат не занимало Андрея. Все его внимание обратилось на окно, у которого за большими пяльцами, в объяринном сарафане с золотыми пуговками, сидела девица, в коей он узнал незнакомку у пруда. Кто из вас, любезные читатели и читательницы, буде таковые найдутся, не испытывал на себе того изумления, той немоты чувств, какую ощущаешь при первой встрече с предметом, к коему что-то невольно влечет тебя? Когда, не понимая, что в тебе происходит, утратив память, мысль, язык, весь погружаешься в созерцание стоящего перед тобой существа? В таком положении был Андрей, когда Варвара подняла на него голубые очи, когда поразили взор юноши ее высокое чело, осененное светло-русыми кудрями, румянец, вспыхнувший было на белых как снег щеках, полная грудь, пробивавшаяся из-за ревнивой дымки. Варвара была не в меньшем изумлении. Уже при царе Алексее, подавно в

правление Софии, женщины начали у нас затворническую жизнь. Варенька, лишившись матери в детстве, от ранней юности привыкла быть хозяйкой в доме, и вид чужого мужчины был для нее не диковинкой. Но при воззрении на юношу взрослого, статного, который пожирал ее пламенными глазами, на черные усики, придававшие мужественную наружность его чистому, белому лицу, боязливая, как серна, румяная, как роза, то поднимала робкие очи, то опускала их в землю. Наконец Андрей, приободрившись, первый прервал молчание.

— Я пришел извиниться перед вами, Варвара Лукинишна,— сказал он, заминаясь,— в испуге, который нехотя причинил вам.

— Благодарение Богу,— отвечала она застенчиво,— что Он вас сохранил.

— Благодарение Богу и вам. Без вашего драгоценного участия я, может быть, доселе лежал бы на дне пруда.

Неблаговременный приход отца не дал Вареньке отвечать.

— Исполать тебе, Андрей Александрыч! — вскричал он, ступив в комнату.— Дело говорит сестра, княгиня Ирина Матвеевна, в двадцать лет нет у людей недуга. Не прошло трех часов, как тонул, ан опять молодец хоть куда, как ни в чем не бывало!

Андрей, повторив извинения и благодарность перед стариком, хотел было раскланяться.

— Нет, Андрей Александрыч,— возразил хозяин,— ты и то у нас редкий гость. Благо заполучили! Видано ль, чтоб я тебя, охотника, отпустил, не похвалившись псарней, не показав тебе конского завода! Он хоть не чета вашему, да за себя постоит. О батюшке не беспокойся, спасибо, надоумила сестра, княгиня Ирина Матвеевна, я давно уже отправил к нему вершника сказать, что ты у меня ночуешь.

Горбунову было в эту минуту не до псов и коней, но он невесть на что бы согласился, чтоб видеть еще Варвару, провести ночь под одним с нею кровом.

— Пойдем же! Времени терять нечего,— сказал Лука Матвеевич, таща Андрея за рукав,— до обеда успею еще кой-чем тебя потешить.

Вскоре привел он гостя к длинному сараю, у которого ловчие в зеленых куртках с изображением медного рога на груди ждали барского прихода. Внутрен-

ность псарни чистотой и порядком едва ли не превосходила жилых покоев. Каждый из множества псов имел свой короб, выложенный войлоком и устланный свежей соломой; в стенах вделаны были на равных расстояниях медные кольца, к которым их привязывали. При входе посетителей псы с радостным визгом бросились к своему милостивцу.

— Прочь, негодные! Прочь, Зарез! Стрела, на место! Эй, привязать их по местам! Вот, любезный Андрей Александрыч,— продолжал Лука Матвеевич с торжествующим видом,— Сокол, который в одну погоню травит двух зайцев; Стрела уж подлинно стрела, никакому коню ее не обскочить! А Вихрь? Весь околоток на него зарится; сосед Бегунов невесть что давал в обмен, да небось Лука Матвеич не даст промаха!

Удержимся от дальнейшего исчисления достоинств и родословной собак, соколов, коней Луки Матвеевича, исчисления, которое, вероятно, столько же надоело бы вам, любезные читатели и милые читательницы, сколько Андрею. Крепя сердце, он нес муку, пока, после доброго часа, не отвела души весть, что кушанье поставлено. За столом Андрей сидел против Варвары. Несносно было слушать или притворяться слушающим рассказы хозяина о подвигах его осенней охоты, отвечать на назойливые вопросы княгини, но, глядя на Вареньку, Андрей забывал скуку. Взоры их встречались редко и, словно по какому-то механизму, тотчас опускались вниз, но в сих мгновенных встречах юноша, еще неопытный и, по слуху, не ведавший любви, успел уже прочесть, что он не противен: так понятен и для начинающих язык очей.

После обеда, когда, по обычаю предков, старики ушли отдохнуть, они опять свиделись наедине. Не было между ними и помину о любви. Говорили — Варвара о поездке в Москву, из которой только что перед тем воротилась с теткой, Андрей — о жизни села Воздвиженского. Но в сих речах, по-видимому обыкновенных, внимание, с каким собеседники друг друга слушали, нескромности, мимо воли у обоих вырывавшиеся, обнаруживали скрываемую каждым из них тайну.

С сего дня Андрей ожил новою жизнию. Опостылели стрельба, скачки, охота. Из коней только и был ему дорог Араб. К соседу ездил он так часто, как лишь позволяло приличие. Лука Матвеевич приписывал сии посещения удивлению его псарне; княгиня, страстная

до шашек,— желанию доставить ей удовольствие игрою; одна Варвара не ошибалась в догадках. Пылкость Андрея, бесстрашие, самая опасность, от коей она некоторым образом его спасла, заронили искру в сердце красавицы. Притом он имел у любезной усердного ходатая.

— Уж куда как мил этот Андрей Александрыч! — говаривала вместо обычных сказок няня Ивановна, раздевая барышню по вечерам.— Лицо — кровь с молоком, голос — словно соловей поет, глядишь — не наглядишься, слушаешь — не наслушаешься, и какой чтивый! Награди его Бог! Меня, старуху, подарил объярью на телогрею: «Ты-де, нянюшка, ходила за мной больным». Дал бы мне Бог попировать на вашей свадьбе! Чем он тебе не жених, Варвара Лукинишна? Сродясь лучше не видала. И богат, и молод, и уж куда как тебя любит! Во всем околотке не найдешь пригоже.

Такие и подобные речи вела няня, кладя барышню в постелю, и, если верить источникам, откуда мы заимствовали сию повесть, Варвара, слушая их, не засыпала по обычаю.

ГЛАВА V

— Ты сегодня, Андрей, останешься хозяином в доме,— говорил одним утром Иван Семенович племяннику.— Меня звал сосед Лука Матвеич. Сегодня минуло его дочке шестнадцать лет; выводит ее, вишь, в люди.

— Батюшка! — ответствовал Андрей, целуя руку старика.— Я люблю Вареньку, она меня любит, благословите, помогите нам!

— Как? — вскричал с удивлением дядя, глядя племяннику в очи.— Ты любишь Вареньку? То-то, бывало, спрошу — где Андрюша? Все одна песня — уехал-де в село Евсеевское. И Варенька тебя любит? Ай да сокол! Еще не оперился, а уж добыл добычу. Исполать тебе, Андрей! Чего же тебе хочется? Жениться? И меня берешь в сватья? Изволь! Быть делу так! Варенька девка разумная; одна дочь у отца, и приданое хоть куда! Только смотри, молодец, не ударить лицом в грязь! Дай мне потешиться на старости, понянчиться с внуками!

В это время подвезли сани, и Горбунов-Бердыш в собольей шапке, обвязанный шерстяным платком, укутанный в медвежью шубу, отправился в село Евсеевское.

Там сараи и обширный двор уже несколько дней набиты были кибитками, санями, конюшни лошадьми. В людской и девичьих теснились толпы прибывших с барами и барынями слуг, девок, карл, дур, дураков. В гостиных покоях, убранных по-праздничному коврами и занавесами, собрались свойственники, родные по отцу и по матери и знакомцы Луки Матвеевича пожилых лет, съехавшиеся из ближних и дальних мест на праздник шестнадцатилетия его дочери. Ныне время первого выезда девицы в свет проходит почти без внимания, догадаешься разве только по локонам, небрежно опущенным за уши и еще не вьющимися трубками кругом чела, что она не оставляла родительского дома. Но в первой четверти XVIII века, когда жизнь общественная начинала у нас проявляться, старики, справедливо полагая, что появление женщины в свет — важнейший шаг в ее жизни, считали обязанностию праздновать день ее совершеннолетия особенным торжеством. Вы, конечно, слышали о постригах, какие в старину совершались над юношами, когда их впервые облекали в оружие. Обряд введения девиц в люди имел с постригами некоторое сходство. Девица до шестнадцатилетнего возраста носила на заплечьях крылышки, видом похожие на бабочкины. Когда наступал ей семнадцатый год, по приезде родственников отправлялись в домашнюю церковь или, за неимением церкви, в одну из комнат поболее, где поставлен был налой. Духовник читал громким голосом сочиненную на сей случай молитву, в которой, благодаря Бога за сохранение именинницы, поручал святому Его промыслу юную виновницу торжества. За сим все садились кругом, старшие на почетном месте, прочие ближе или далее, по летам. Наставало глубокое молчание. Отец или старший мужчина, с ножницами на серебряном подносе в одной руке, вводил другою дочь или племянницу в круг и после обычных во все стороны поклонов подходил с нею к самой пожилой из родственниц. Внучка кланялась бабке в ноги. Сия, привстав, обращалась к ней с поучением: что доселе, свободная, как бабочка, она беспечно предавалась движениям детской откровенности, но наступило время, когда, скованная при-

личиями, должна будет отказаться от прежней невинной веселости и подчинить себя тягостным требованиям света. От сего дня каждое ее слово, взор, поступь сделаются предметом толков, замечаний, пересудов; посему будь она чрезвычайно осторожной и всегда помни, что скромность — лучшее украшение, а доброе имя — самое драгоценное сокровище ее возраста и пола. За сим, взяв с подноса ножницы, при звуке труб, литавр, громких кликах присутствовавших и слезах внучки, обрезывала ей крылышки, сию красноречивую эмблему счастливого детства. Тогда отец представлял собранию дочь как совершеннолетнюю. Между тем являлись слуги с подносами, на коих стояли стопы, полные вина. Именинница подносила каждому из гостей, который, осушив кубок, оканчивал поздравлениями и поцелуем, последним, какой позволялось девицам давать или принимать от чужого мужчины.

По свершении обряда, когда Варвара, обошед всех собеседников, с пылавшим лицом и вздувшимися от поцелуев губами, поднесла последний кубок отцу, сей, выпив до дна, примолвил: «Дал бы Господь, Варенька, так же счастливо выдать тебя замуж, как мы вывели тебя в люди!»

— За этим дело не станет! — подхватил Горбунов-Бердыш.— Появись лишь Варвара Лукинишна в свет, а женихи прильнут, что мухи к меду.

— Каков жених, батюшка Иван Семенович! — молвила княгиня Ирина.— Бывало, у нас молодые не видались, не слыхивали друг про друга до свадьбы, а нынче, православным на соблазн, родители ни про что не ведают не гадают: сами слюбляются, сами берутся.

В другое время, в другой вещи Горбунов-Бердыш не преминул бы приобщиться к нареканиям на испорченность века, но, вспомнив, что сам некогда любил и был любим, удовольствовался ответом: «Не то время, княгиня, не те обычаи!»

— Стыда, право, не стало у людей,— продолжала княгиня Ирина.— Проезжала я намеднись через Москву. Завели там, вишь, по-немецки какие-то *асамлеи*. Свозят дочек на показ: поплясать-де, повеселиться. И добро бы со своими. Нет! Сзывают, словно о масляной в собачью комедь, встречного-поперечного: всем гостям рады. Дочки обнимаются, шепчутся с незнакомыми мужчинами, а матушкам то и любо — глядят да похваливают. Далеко ли, прости Господи, до греха?

— Нынче, вишь, народ больно умудрился,— молвил Иван Семенович.— Мы с вами, княгиня, не изменим старине. Что бы вы, например, сказали, если б мне вздумалось явиться к вам сватом?

— Милости просим, батюшка! — ответствовала княгиня Ирина.— Не так ли, братец Лука Матвеич?

— Прошу покорно,— промолвил Лука Матвеевич.

— Есть у меня жених на примете: молодец собой, не без достатка, словом, постоит за себя. Ваша Варвара Лукинишна с сегодняшнего дня невеста, и пара из них вышла бы славная.

— Кто таков-с, позвольте узнать? — с любопытством спросила княгиня Ирина.

— Ни дать ни взять, мой Андрюша. Молодцу минует скоро двадцатый год. Хотелось бы на старости понянчить внуков. Мы с тобой, Лука Матвеич, лет тридцать жили добрыми соседями, почему бы не кончить родством?

— По мне,— ответствовала княгиня, вспомнившая о готовности Андрея играть с нею в шашки,— благослови их Господь! Андрей Александрыч умен, пригож. Вареньке лучше жениха не найти. Как ты думаешь, Лука Матвеевич?

— Вестимо, вестимо, сестрица княгиня Ирина Матвеевна! Я одних с вами мыслей,— промолвил Лука Матвеевич.

— О чем же дале толковать? По рукам, да и дело с концом! — продолжал Иван Семенович, протянув свою к соседу. Старики скрестили ладони, княгиня разняла, восхищенный Горбунов-Бердыш назвал Варвару, еще более счастливую, дорогою дочкой.

Между тем в столовой ждал гостей богатый пир, заключение торжества. Все прихоти старинной русской и тогдашней полуевропейской кухни, все, что могла придумать затейливая изобретательность века, было тут собрано, начиная от жареных павлинов и фазанов до огромной литого сахару башни, под конец пира распавшейся по трубному звуку и открывшей удивленным зрителям старуху карлицу, которая, провизжав осиплым голосом свадебную песню, поднесла имениннице цветочный венок. Но ни в чем не явил хозяин более тороватости, как в винах. В тот век пир был не в пир, если гости могли встать из-за него без чужой помощи. Ни лета, ни здоровье не избавляли от участия в веселии. Закон беседы для всех один: старики

и молодые, крепкие и слабые, осушай до дна круговую чашу. Отговорки, жеманство — оскорбление хозяину, неуважение собеседникам. Или совсем не приходи на пир, или, пришедши, пей, пока вино не отнимет ног, рук, памяти. Вдоль стены на брусьях стояли выкаченные из погреба бочонки с романеей, мальвазией, бордосским, в течение нескольких лет береженные именно для сего торжества; у всякого бочонка — кравчий, цедивший вино в стопы, подставляемые слугами. Каждый из собеседников предлагал свой тост; если он нравился, пили, изъявляя одобрение громким кликом, в противном случае молчали, а все-таки пили.

За сею шумною беседой последовало событие, сильно встревожившее собрание. Горбунов-Бердыш, который, почитая праздник собственным, и примером, и побуждениями побуждал пировавших к веселости, сильно занемог. Княгиня Ирина Матвеевна, по обычаю тогдашних женщин занимавшаяся целением недугов, поила больного чаем, ромашкой, мятой и доставила ему облегчение, но ненадолго: Бердыш потребовал священника и пожелал видеть Андрюшу. По приобщении святых тайн, изъявив желание остаться с племянником наедине, обратил к рыдающему следующую речь:

— Я обещал праху твоих родителей, Андрюша, быть тебе отцом и, Бог свидетель, держал слово с верой. Ныне Господь зовет меня к себе. Оставляя тебе все мое, прошу одного, исполни мою последнюю заповедь. Знаешь, блаженные памяти государь Алексей Михайлович, ниспошли ему Господь царство небесное,— промолвил он, крестясь,— пожаловал в род наш мне, холопу своему, за бедную мою службишку, чин окольничего, прозвание Бердыш и село Воздвиженское с деревнями. Есть у нас сосед сильный, который десять лет приступал ко мне, чтоб я продал ему поместье. Я пребыл крепок противу просьб, золота, угроз. Завещаю тебе ту же твердость. Обещай мне ее, не отдавай за корысть жалования царского, достояния родового, не уступай боязни! Ты молод и не сегодня, завтра вступишь в царскую службу, да не прельстят тебя обещания, не страшат козни! Облекись в броню правды, стой крепко в вере Богу и царю, и о щит ее *притупятся разжженные стрелы лукавого, и силы адовы не одолеют тя.* Господь избавит праведного от руки нечестивых!

Когда Андрей, едва говоря от плача, уверил, что волю его почтет священной, старец продолжал:

— Я выполнил твое желание и хочу, перед тем как лечь в могилу, видеть тебя сговоренным. Попроси сюда Луку Матвеича, княгиню и Вареньку.

Едва Андрюша воротился с ними, умирающий, взяв со стола поставленный перед кроватью образ, дрожащими руками благословил юную чету. Молодые, положив земные поклоны пред ликом пречистой и запечатлев обет верности первым поцелуем, бросились было лобызать хладеющие руки старца, но его уже не стало, и счастье надолго закатилось звездою для обрученных.

ГЛАВА VI

Есть ли счастие на земле? Обратитесь с сим вопросом к сребролюбцу, копящему сокровища, к вельможе, алчущему чинов, почестей, вам скажут — нет. Спросите у любящихся, верно, получите в ответ — да. Так! Сие счастие, несказанное, незаменимое, предвкусие блаженства небесного, живет в сердцах, полных любви,— с нею радость — радость двойная, напасть не в напасть! Согласен, оно кратковременно, преходчиво, как все земное,— зарница во мраке ночи, на миг озаряющая вселенную и снова оставляющая ее в прежней темноте, но не менее того существует, и любившие изведали его. Горесть Андрея об утрате отца-благодетеля была сносной, потому что с ним вместе горевала, вместе плакала Варвара.

Миновались тягостные, нестерпимые для сердца чувствительного поминки покойника, в которых, по обычаю того времени, осиротевший, деля с другими радость и печаль, долженствовал угощать пиром провожавших тело и за чашей вина желать скончавшемуся Царства Небесного. Андрей занялся управлением доставшейся ему вотчины и отдыхал от дел хозяйственных в Евсеевском в обществе невесты. Одним утром известили его о приезде Степана Михайловича Белозубова. Белозубов, малорослый, плотный мужчина лет под сорок, был некогда сотником в стрелецком войске. Расторопностию привлек на себя внимание князя Меншикова, который взял его к себе и за верную службу поставил управителем над новогородскими поместьями. Белозубов имел все пороки и одно

доброе качество — безусловную преданность к своему милостивцу. Искусный в притворстве, дерзкий, решительный, не разбирал закона от беззакония, когда дело шло о выгодах вельможи, у коего находился в услужении, и в усердии к его пользе, уверенный в безнаказанности, часто без ведома князева, смело пускался на все неправды. Доверенность первого в России сановника стяжала ему большое уважение в околотке, но Андрей никогда не видал его в доме дяди, который, гордясь длинным рядом предков и внутренно ставя себя выше самого князя, оказывал явное презрение к его клеврету.

После обычных приветов первого знакомства:

— Занятия хозяйственные,— сказал Белозубов,— для вас, Андрей Александрыч, новы и человеку ваших лет немного представляют веселого. Почему бы вам не избавить себя от этих хлопот?

— Нельзя же,— ответствовал Горбунов,— имея вотчину, сидеть в ней спустя рукава.

— Вы меня не понимаете,— продолжал Белозубов.— Вам известно, село Воздвиженское словно чересполосное владение в поместьях князя Александра Даниловича. Он не раз предлагал себя в купцы покойному вашему дядюшке, но упрямый старик не хотел расстаться с имением. Не доставите ли вы князю этого удовольствия? Можете сами назначить условия продажи. Князь не постоит за лишнюю тысячу или две рублей.

— Это имение родовое, и я не намерен его продавать,— возразил Андрей.

— Если слово «продажа» вас так пугает,— подхватил Белозубов,— не угодно ли вам выбрать взамен любое из княжих поместий? У него их много в Малороссии, около Москвы, во всех концах России. Уверяю вас именем князя, вы от сей мены не останетесь внакладе.

— Вы напрасно беспокоите себя, Степан Михайлыч,— прервал Горбунов.— Уже один пример дядюшки долженствовал бы служить мне правилом, но скажу более: умирая, он наказал мне оставаться при владении Воздвиженского, а воля покойного для меня — закон. Я не расстанусь с вотчиной.

— Послушайте, Андрей Александрыч! — молвил с важностью Степан Михайлович.— Я для вашей же пользы не хотел бы, чтоб ответ сей был решительным. Извините откровенность, на которую лета и опытность

дают мне право. Вы еще молоды, готовитесь вступить в свет. Вспомните, кто таков князь? Ваше согласие доставит вам могущественного покровителя, отказ — сильного врага.

— Врага? — вскричал, вспыхнув, Горбунов.— Хорошее же вы мнение подаете о князе Александре Даниловиче, грозя его враждой тому, кто, в удовлетворение его прихоти, не захочет расстаться с собственностию. Благодарение Богу, мы живем в стране законов, рабы царя правосудного, в державе коего невинность найдет защиту от гонений сильного.

— Вы меня не поняли,— возразил Белозубов хладнокровно.— Я не мыслил грозить вам негодованием князя. Но точно ли вы уверены, что село Воздвиженское ваша собственность?

— Кто дерзнет в этом сомневаться? Оно досталось мне по наследству и укреплено за мною духовною записью покойного дядюшки.

— Очень верю,— продолжал Белозубов,— но могут случиться обстоятельства непредвиденные, кои дадут другой вид делу. Впрочем, это одни догадки. Повторяю: для вашей же пользы, Андрей Александрыч, прошу вас, не отпускайте меня с отказом. Не накликайте на себя неприятностей пустым упорством!

— Это упорство,— живо сказал Горбунов, оскорбленный последним выражением,— говорю вам, пустое в очах людских, для меня священная обязанность. Повторяю раз навсегда: усыпай золотом князь Александр Данилович всю дорогу отселе до Новагорода, предложи мне все свои поместья за одно село Воздвиженское, я с ним не расстанусь.

— Итак,— отвечал Белозубов, взяв шляпу и раскланиваясь,— мне остается пожалеть только, что вы не послушались благого совета. Искренно желаю, дабы после не раскаивались в упрямстве.

Едва он уехал, Андрей, встревоженный двусмысленными намеками о правах своих на вотчину, велел позвать Терентьича.

— Вы не очень ему верьте, Андрей Александрыч,— сказал в ответ дядька Николай Федоров.— Он, кажись, замышляет что-то недоброе.

— Как так? — спросил Горбунов.

— Бог его ведает! Вот уже недели две ездит к нему какой-то посадский человек. Запираются вместе, толкуют до поздней ночи. Илья же Иванов, дворец-

кий, говорит, гость этот в службе у Белозубова. Да и дивное дело: взъедет на двор на пустом возу, а со двора — воз набит, словно фура.

— Ты что-то завираешься, Николай Федоров! — отвечал Андрей.— Однако ж пошли-ка Терентьича!

Но Терентьича не нашли. Занимаемая им изба была пуста, словно нежилая. Сей отъезд, походивший на потаенное бегство, еще более встревожил Андрея. Он открыл письменный стол дяди: жалованная грамота на село Воздвиженское, духовная запись покойного, все бумаги были на месте. «С этими свидетельствами,— сказал он про себя,— не страшны мне угрозы, пускай их делают что хотят!»

Неделю спустя явился в селе Воздвиженском гонец из Новагорода. Андрею подали бумагу следующего содержания: «По указу его царского величества, самодержавца всея России, от воеводы новогородского недорослю из дворян Андрею Горбунову. Бил челом оному воеводе подьячий Прохор Терентьев, что в бытность его в Тихвине мещанка Палагея Тихонова, служившая в доме стольника Александра Горбунова в мамках, перед кончиной объявила на духу попу церкви Спасова преображенья отцу Петру, будто, быв беременной в одно время с Верой Горбуновой, женой Александра, и знав о желании последнего иметь сына, она подменила своим родившуюся в одно время с ним от Веры дочь, которая вскоре у нее, Тихоновой, и умерла. Сын же ее, прослыв за сына Александра Горбунова, перешел по его смерти под именем Андрея в дом брата Александрова, окольничего Ивана Горбунова-Бердыша; и сие показание в присутствии его, Терентьева, и посадского человека Ефима Фролова подтвердила, за неумением грамоты, приложением собственноручного креста. Он, Терентьев, представив воеводе извет Тихоновой в подлиннике, движимый усердием к пользам казны, бьет челом: означенному Андрею название Горбунова воспретить и доставшуюся ему по смерти Ивана Горбунова-Бердыша вотчину, село Воздвиженское с деревнями, как имение выморочное, отобрать на государя. Воевода новогородский, извещая о сем недоросля из дворян Андрея Горбунова, предписывает ему представить немедленно доказательства, что он родился действительно от Александра и Веры Горбуновых; в противном же случае поступить с ним и вотчиной его по законам».

Андрей ожидал неприятных для себя последствий от отказа в продаже имения, но никогда не чаял, чтоб дерзость его противников простерлась так далеко. Изумление, гнев, негодование попеременно волновали его душу при чтении бумаги. «Понимаю! — молвил он наконец.— Не могли принудить меня силой к уступке Воздвиженского, надеются вымолить его у государя как милость. Но я сорву личину лжеусердия, обнаружу коварство». Покамест, однако ж, надлежало удовлетворить требованию воеводы. Приглашает на совет отца Григория и Николая Федорова, кои оба знали его родителей. Извет Терентьича поразил и того и другого столько же, сколько самого Андрея. Особенно Николай Федоров, взросший в доме Горбуновых, всосавший вместе с молоком уважение и привязанность к господам и после Бога и царя не знавший никого выше, оцепенел, словно ушибленный громом.

— Господи, прости мое прегрешение,— вскричал он, крестясь,— кто лишь раз видал барыню и взглянет на вас, Андрей Александрыч, скажет, вы ее сын, как две капли воды схожи одна с другой. И Тихоновна! Перед смертию продала душу лукавому! Ела барский хлеб, была одета, пригрета, одарена и пустилась на такое беззаконие, стакалась с вашими врагами!

— *Боле грешный неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие. Ров изры и ископа, и падет в яму, юже содела,*— промолвил священник.

— Это явный подлог! — вскричал Андрей.— За неделю поверенный князев предлагал мне невесть что за село Воздвиженское и вслед за тем оспаривает у меня право на владение. Будь иск справедлив, кто велел бы ему сулить мне золотые горы?

— Слова нет, Андрей Александрыч,— возразил отец Григорий,— но если нет других доказательств в законности вашего рождения, этого одного недостаточно. Истец не Белозубов, а Терентьич. Мы оба, знавшие Веру Петровну, готовы подтвердить присягой ваше с нею сходство, но в суде и этим свидетельством не удовольствуются. Природа так играет наружностию человека, что иногда людей, друг другу совершенно чужих, творит похожими. Мой совет съездить вам самим в Тихвин. Исследуйте на месте весь ков. Николай Федоров пускай вам сопутствует. Отыщите отца Петра. Расспросите, что сталось с Тихоновной. Существуй подмен действительно, надлежало б ей иметь помощ-

ников. Она была в то время родильницей и сама не могла встать с постели, а в извете упоминают об ней одной. Между тем попросите у воеводы отсрочку и, если не соизволит, перенесите дело в Сенат. Там, пока дойдет до него очередь, вы, может быть, успеете что разведать.

Горбунов пристал к мнению отца Григория. Велит дядьке приказать приготовить коней, чтоб на другой день отправиться в путь, вознамерившись заехать сперва в Евсеевское успокоить семью Луки Матвеевича. Несчастный! Не знал, что в это время дом нареченного тестя был уже для него заперт.

ГЛАВА VII

Белозубов, радея о выгодах своего милостивца, не пренебрегал собственными. Почитая брак с богатой наследницей верным путем к достижению независимости, давно метил на союз с будущей владычицей Евсеевского, но мыслил: «Окрестные помещики — или старики, для которых прошла пора женитьбы, или люди ничтожные, кои не посмеют простереть видов на дочь Луки Матвеевича, высокого рождения, владельца трехсот дворов. Варенька же еще ребенок, цветок не распустившийся и добыча верная в глуши, где нет опасных соперников. Будет-де еще время объявить свое притязание». Можно посудить, каково ему было, когда узнал о помолвке Вареньки за Горбунова. «Ужели суждено,— вскричал с негодованием,— что этот щенок, мальчишка с не обсохшим на губах молоком, был мне во всем помехой?» Едва известился о решении воеводы новогородского на извет Терентьича, спешит в Евсеевское.

— Милости просим! — молвил Лука Матвеевич, когда Белозубов, приказав наперед доложить о себе, вошел в гостиную.— Очень рады. Давно вас не видать, Степан Михайлович!

— Дела не позволяли мне навестить вас в день рождения Варвары Лукинишны,— отвечал гость.— Я провел все это время в Новегороде.

— Что нового слышно в Новегороде?

— Все старое-с, разве одно, о чем, думаю, вы уже сведомы: неприятный случай с нашим новым соседом Горбуновым,

— С Андрей Александрычем, моим нареченным зятем? — прервал с беспокойством хозяин.— Что такое, батюшка Степан Михайлыч?

— Как? Вы сговорили за него Варвару Лукинишну? — спросил с притворным удивлением Белозубов.— Нелегкая же привела меня объявить вам столь печальную новость.

— С нами крестная сила! Уже не уголовное ли дело? — молвил Лука Матвеевич, час от часу в большем страхе.— Скажите, батюшка, что такое?

— Был у них в доме,— продолжал Белозубов,— какой-то подьячий, как бишь, Трифонов, Терентьев, не вспомню?

— Терентьич, батюшка Степан Михайлович! Знаю, он хаживал и по моим делам.

— Этот Терентьич, извольте видеть, бил челом воеводе, что Андрей Александрыч не сын Александра Семеныча Горбунова, а подкидыш: родился-де от мещанки, которая служила у них в доме в мамках, и на сем основании требует, чтоб его вотчину, село Воздвиженское с деревнями, отобрать на государя.

— Горбунов подкидыш! — сказал Лука Матвеевич, заминаясь и будто не смея выговорить.— Андрей Александрыч сын мещанки! Степан Михайлыч, уже не ошиблись ли вы?

— Я и сам бы тому не поверил,— ответствовал Белозубов,— но поверенный мой в Новегороде прислал мне вчерась указ воеводы. Вот он,— продолжал гость, подавая хозяину бумагу.— Оставьте его у себя, если угодно. Впрочем, извет, может быть, ложен, и Андрей Александрыч успеет доказать его несправедливость.

В тогдашнее время в России почти не было дворянства по заслугам. При царях, в существование местничества, примеры людей, вышедших в люди из низкого звания, являлись чрезвычайно редко. Давность рода давала право на уважение; личные достоинства одни ставились ни во что. Имей иной все качества тела, ума, души, хватай звезды с неба — его презирали, если не поддерживал их длинным рядом предков. Посему можно судить, какое влияние имела речь Белозубова на Луку Матвеевича. Едва гость уехал, он с грустным лицом и сердцем побрел на половину сестры.

— Не в добрый час, сестрица княгиня Ирина Матвеевна,— сказал он, вошедши,— сговорили мы Горбунова за Вареньку. Ведь он не из дворян!

— Что такое? — вскричала княгиня Ирина, глядя брату в глаза.— Андрей Александрыч Горбунов, сын стольника Александра Семеныча, племянника окольничего Ивана Семеныча, не из дворян? В своем ли ты уме, батюшка?

— Вот то-то беда, изволишь видеть, сестрица, дело на поверку выходит не так. Андрей наш — сын не Александра Семеныча, а какой-то мещанки. Был у меня Степан Михайлович Белозубов: он лишь только что из Новагорода; слышал об этом у воеводы.

— Не прогневайся, батюшка Лука Матвеич! — отвествовала княгиня Ирина.— А я плохо верю твоему Степану Михайлычу. Про него идет слава, что не больно стоек на правду. Долго ли обнести человека?

— Я и сам было усомнился, да бумаге-то нельзя не верить. Он оставил мне список с указа воеводы.— Тут Лука Матвеевич развернул указ и, прочитав, промолвил: — Послушался я вас, сестрица княгиня Ирина Матвеевна! А не худо было бы повременить сговором Варвары и Андрея.

— Ах, Господи! — вскричала княгиня Ирина.— Кто же его, батюшка, знал? С виду и умен, и красив, чем не похож на дворянина? И кому верить, как не родному дяде?

— Ахти мне! Бедная моя головушка! — продолжал Лука Матвеевич.— Что мне прикажете теперь делать?

— О чем тут спрашивать? Отказ, да и только! Беды великой нет! И из-под венца расходятся. Ведь не быть же Вареньке за холопским сыном.

— Да, изволишь видеть, сестрица, молодец-то ей полюбился. Опечалить мне ее не хочется.

— Разлюбит, коли узнает, что не дворянин,— отвечала княгиня Ирина.

— Я чай, горевать будет, бедненькая!

— Погорюет, поплачет и перестанет. Полюбился один, полюбится и другой! Что за баловство? Иной подумает, братец, ты не между людьми живешь. Нас выдавали не спросясь, и прожили милостию Господней как дай Бог всякому! Думать не о чем. Садись и пиши к Горбунову, что свадьбе не бывать!

Покорный велениям сестры, старшей летами, Лука Матвеевич присел за письменный стол: начинал, разрывал листы и, наконец, составил следующее послание:

«Государь мой, Андрей Александрович! Степан

Михайлович Белозубов привез мне из Новагорода весть о неприятном случае, какой вас постиг. Сестрица, княгиня Ирина Матвеевна, полагает, что после того вам нельзя быть включенным в нашу семью. По ее воле, возвращая при сем подарки, учиненные вами моей дочери, покорно прошу вас считать все обязательства с нашим домом прерванными».

Письмо было кончено, но предстоял подвиг более трудный — надлежало известить Вареньку о происшедшем, истребовать ее согласия на разрыв. Лука Матвеевич любил дочь нежно и, должно отдать ему справедливость, охотно искупил бы лучшей собакой или конем малейшее ее огорчение. Но мысль, что нареченный его зять холопский сын, и боязнь гнева грозной сестрицы, к уважению которой привык с детства, придали ему бодрость. Медленными шагами потянулся в светелку Вареньки.

Женщины, существа, созданные, чтоб составлять с мужчинами одно, как истинно оправдываете вы свое назначение! Кто сравнится с вами в любви? С каким самоотвержением, с каким восторгом жертвуете вы богатством, почестями, всеми благами сего мира для услаждения участи того, с кем вы связаны! Как безропотно делите с ним все напасти! Для вас нет невозможного! От природы робкие, слабые телом и духом, вы, когда гроза висит над предметом вашей любви, одолевая естество, изумляете силою, крепостью, бесстрашием.

Варвара встала в тот день с счастливым расположением духа, какое только встречаем у девиц-невест. В ее передней портнихи, башмачницы, швеи, свои или призванные от соседей, мерили, кроили, готовили приданое барышне. Тихий шепот раз или два в утро, прерванный появлением приехавших из Новагорода купцов с тканями, жемчугом, нарядами для новобрачной. Собственная ее светелка оправдывала сие название господствовавшими повсюду порядком и опрятностью. Вы увидели бы тут и кровать под пологом зеленого штофа, подобранного под тень узорчатых бумажных обоев; и лоснившийся уборный столик дубового дерева с круглым подвижным зеркалом в дубовых же резных рамах; и в углу кивот с иконами в горевших, как жар, вызолоченных окладах и теплившеюся перед ними лампадою, по сторонам столика большие сундуки, обитые светлой жестью, заключали наряды бабушки и ма-

тушки, перешедшие по наследству, дабы составить часть приданого; наконец, несколько увесистых стульев с высокими круглыми спинками дополняли убранство комнаты. Четыре сенных девушки за пяльцами вышивали под надзором няни Ивановны, женщины дородной, румяной, взлелеянной в недрах барского дома, вскормленной на господском столе и по праву пестуна барышни пользовавшейся преимуществами, коих не имели другие слуги. Няня заведовала чаем и серебряной посудой, подавала голос в совещаниях о делах семейных, блюла за порядком, тишиной и нравственностью многолюдной женской челяди, была советником и поверенным барышни. Ивановна, в синем платке с золотыми цветами и штофной телогрее, сидела на низкой скамейке за пряслицей у ног Вареньки. Варенька у окна, перед коим вилась дорога в Воздвиженское, нарядная, как невеста, в узком кирасе и широком атласном оброне, с убранными à la Fontanges[1] волосами, горевшим от удовольствия лицом, закрепленным алмазной пряжкой жемчужным ожерельем на шее и запястьями сканого золота, подарком жениха, также за пяльцами выводила серебром цветы по голубому бархату, в котором хотела, чтоб Андрей явился под венцом. Пробило десять — заглядывает в окно. Смотрит в него чаще, чаще. Наконец, иголка покинута, работа брошена. Варенька с устремленными на дорогу очами — вся ожиданье. Как радостно билось сердце, когда, бывало, завидит издали черное пятнышко, потом отличает всадника, и Андрей, словно писаный, на вороном Арабе, то плавно несся стройным лебедем, то, дабы выказать ловкость, поднимал коня на дыбы и, прежде чем Варенька успела от страха вскрикнуть, пустившись стрелой, становился будто вкопанный перед возлюбленной. Лицо ее то светлеет надеждой, то вдруг опять подергивается туманом, когда обманывала ожидания пыль, взметенная вешним ветерком или поднятая крестьянином, медленно тянувшимся на барский двор с возом снопов. Пробило одиннадцать.

— Ивановна! Что-то не видать моего Андрюши! Бывало, об эту пору он давно тут.

— Эх, дитятко! Что тут за диво? — возразила няня.— Вотчина у него не малая; дел полон ко-

[1] Убор волос, так названный по имени девицы de Fontanges, которая явилась в нем при дворе Лудовика XIV.

роб. А нынче, вишь, он один. Терентьич ведь бежал от них.

Варвара взялась за иголку. Прошло еще полчаса.

— Нянюшка, мне грустно! Сердце что-то вещает недоброе! Уж не занемог ли Андрюша?

— С нами крестная сила! Что тебе привиделось, моя родная? Мало ли что может прилучиться? Явись к Андрею Александровичу человек чужой, ведь не выгнать же гостя!

Миновалась пора обеденная, наступал вечер, а жених не показывался. Наконец, когда подали свечи, Варвара услышала в девичьей мужские шаги. Бежит навстречу и, завидев отца:

— Батюшка,— говорит,— что это сделалось с моим Андрюшей? Я вся не своя. Выглядела все очи, а его нет как нет. Был бы занят делами, прислал бы сказать. Верно, занемог!

— Не быть тебе, Варенька, за Горбуновым! — с грустью молвил Лука Матвеевич.— Он не из дворян!

— Что вы говорите? — с изумлением спросила дочь, как бы не веря слышанному.

— Он не из дворян, сын мещанки,— повторил отец.

— Мой Андрюша? Кто взвел на него эту небылицу?

Отец вместо ответа подал ей указ новогородского воеводы.

— Откуда у вас эта бумага? — сказала Варвара, быстро пробежав указ глазами.— Кто ее привез вам? Знаю, здесь был Белозубов. И вы ему верите? Неужели не знаете, что Белозубов искони враг Горбуновым?

— Враг ли он или нет, Варенька, и все-таки Андрей Горбунов не дворянин.

— Стыдитесь, батюшка! Вам бы следовало заставить молчать злые языки, а вы им потакаете, повторяете их нелепости! О мой бедный Андрюша!

— Сестрица княгиня Ирина Матвеевна говорит, Варенька, что тебе не бывать за холопским сыном. Я отказал ему от дома и пришел взять у тебя его подарки.

— Как? — прервала дочь.— Разве не вы сами благословили нас образом богоматери? Батюшка,— продолжала она с укором,— изменить в слове людям стыдно, изменить Богу грешно!

— Сестрица княгиня Ирина Матвеевна говорит, что даже из-под венца расходятся.

— Батюшка! — медленно молвила Варвара.— Я ва-

ша дочь и должна вас слушаться, однако ж есть предел родительской власти. Вы можете не выдавать меня за Андрея, но я перед Богом была ему обручена и останусь его невестой до смерти.— За сим, обратившись к няне, которая глядела на происходившее, смиренно сложив руки, повелительным голосом, словно давая знать, что не потерпит возражения: — Ивановна! — говорит,— завтра чем свет отправься к Андрею Александрычу, скажи ему, что я не верю клевете и хочу с ним сама проститься у Ольгина пруда.

Няня, изумленная решимостью барышни, не смея ни отказать, ни согласиться в присутствии барина, отвечала:

— Как его милость молвить изволит.

Но изумление его милости было гораздо сильнее. Сам он не имел понятия о любви. Семнадцатилетнего привезли в церковь, поставили рядом с девицей, которой дотоле не видал в глаза, и, обведши три раза кругом налоя, приказали ему любить жену, как душу свою. Он исполнил повеленное по своему разумению: в десятилетний брак и мыслию не изменил верности супружней. Когда же увидел, что Варенька, незадолго бросившая куклы, дотоле робкая, как серна, послушная, как ягненок, вместо вздохов и слез являет решимость и сопротивление его воле, совершенно потерялся:

— Делай что тебе приказывают! — сказал няне Лука Матвеевич.

ГЛАВА VIII

На другой день, едва Андрей проснулся, вошел к нему Николай Федоров с извещением о прибытии гонца из Евсеевского. «Этого только недоставало! — вскричал Горбунов, прочитав письмо бывшего нареченного тестя.— Неужели и Варвара мыслит одно с отцом и теткой?» Еще раз взглянул на письмо: о дочери не упоминалось в нем ни полслова. Посмотрел на подарки, которые дядька выложил между тем на стол: лежали тут шелковые ткани, бухарские платки, жемчуг, румяны — не было одного золотого колечка, освященного прикосновением к персту святой великомученицы Варвары, которое Андрей получил в наследство от матери и наложил на палец возлюбленной в день сговора. «Так! — сказал он со вздохом.— Ее принудили к разрыву, но сердцем она мне не изменила!»

Внезапный стук привлек его к окну. Одноколка взъехала на двор, и няня Ивановна с видом торжественным, словно министр, идущий на переговоры, от коих зависит судьба государства, в шелковом шушуне и богатом платке ступила на крыльцо.

— Ох, нянюшка, нянюшка! — вскричал Андрей, бросившись к ней с распростертыми объятиями.

— Позвольте-с, батюшка Андрей Александрыч! — прервала с важностию няня, не допуская его к себе рукой. Потом, сотворив молитву, продолжала, не переводя духу, как рядовой, когда, сменившись с часов, доносит старшему: — Варвара Лукинишна изволила прислать меня к вашей милости доложить, дескать, что она не верит-с наговорам людским и хочет, дескать, сама проститься с вашей милостью у Ольгина пруда-с.

— Я был уверен,— произнес с восхищением Горбунов,— что Варенька мне не изменит! Здорова ли она?

— И, батюшка Андрей Александрыч! — ответствовала Ивановна, перешед к обычной говорливости.— Не дай Бог и ворогу! Пришел вчерась барин, ни слезинки не выронила. Чуть он за дверь, бросилась на постелю и ну плакать! И к ужину не пошла-с, не изволит кушать, моя сердечная, на свет Божий не глядит, все горюет. Уж я-то с ней примаялась: и кивот уставила свечками, и перед Спасом клала земные поклоны, и ей-то говорю: «Не губи себя и нас, дитетко! Не греши против Бога! Милость Господня велика! Все переменится! Не думаешь, не гадаешь, жених твой поведет тебя к венцу». Нет! Ничего не помогло: мечется, родная, из стороны в сторону, только и молвит всего: «О мой бедный Андрюша!» Не погневайся, ваша милость! Наконец, к свету, слава тебе Господи, немного уснула.

Андрей, у коего при слушании сего рассказа, в котором каждое слово говорило о любви Варвары, навернулись слезы умиления и участия, молвил:

— Присядь, няня! Ты, чай, натощак. Обогрейся, напьемся вместе чаю!

— Покорно благодарим-с, батюшка Андрей Александрыч! Но мешкать-то мне некогда-с. У девиц сон, изволишь видеть, недолог: барышня, чай, пробудилась и меня дожидается. Прощенья просим, батюшка Андрей Александрыч!

Вскоре после отъезда Ивановны подвели оседланных коней к крыльцу. Многолюдная челядь, старый

и малый, столпились перед домом проститься с молодым барином. Андрей в дорожной однорядке с ружьем, прикрепленным к седлу, и парой заряженных пистолетов в чушках, предосторожность, без коей в то время не выезжали из дому, сопутствуемый Николаем Федоровым в широком плаще, по отслушании молебна, иных допустив к руке, иных приветствовав, кого милостивым словом, кого наклонением головы, при благословении отца Григория и желаниях счастливого пути от дворни, оставил Воздвиженское. Вскоре показались березы, осенявшие Ольгин пруд. Горбунов ускорил бег коня, завидев между березами нечто белеющееся. На сем самом месте он встретился с Варварой впервые, когда с веселой беспечностию красовалась как пава в толпе сверстниц. Накануне еще счастие играло на ее щеках: ласкавшие воображение мечты так были сладостны. Тут же, бледная, с впалыми от бессонной ночи очами, цветок, убитый морозом, представилась ему тенью прежней Варвары.

— Я хотела видеться с тобою, мой милый,— сказала она медленно, когда, соскочив с аргамака и бросив поводья Николаю Федорову, Андрей побежал к ней,— проститься с тобою, прежде чем нам расстаться.

— Злые люди разлучили нас, Варенька! Но ненадолго. Я обнаружу коварство, выведу на свет все козни. Прошу тебя одного: успокойся, крепись и надейся на Бога! Враги мои сильны, но Господь не попустит восторжествовать неправде.

— Ах, дай Бог,— промолвила Варенька со вздохом, набожно сложив руки.— Куда ты это едешь, друг мой?

— Теперь в Тихвин, потом должен буду отправиться в Санкт-Петербург.

— О да сопутствует тебе Господь и Пресвятая Богородица! — вскричала она, бросившись к нему и обливая его слезами.— Друг мой! Бабушка, умирая, благословила меня этим образом Иверской Божией Матери.— Тут надела она на него оправленный в золоте образок.— Да сохранит он тебя от всякой напасти! Носи его в память своей Варвары, молись ему. И я с тобой буду молиться!

Они слились устами и несколько времени пробыли обнявшись. Наконец Андрей, более твердый, с тяжелым вздохом отторгнулся от любезной. Медленно удалился, долго еще не покидал Варвары взорами. Наконец образ ее становился час от часу меньше, меньше,

исчез белым пятнышком в туманной дали, и Горбунов, болея сердцем, понесся по излучистой дороге.

На четвертые сутки, время было пасмурное, при въезде в дремучий бор, Николай Федоров, который, чтоб разогнать грусть барина, не раз уже заводил речь и не получал ответов, молвил будто про себя:

— Слава тебе, Господи! Наконец доехали. Авось Господь приведет сегодня ночевать в Тихвине.

— Разве мы недалеко от города? — спросил Андрей.

— Этот лес тянется под самый Тихвин,— отвечал дядька.— Здесь, бывало, в старые годы, Андрей Александрыч, не приведи Бог, проезда нет ни днем, ни ночью. Только и слыхать о разбоях. Иначе не отправлялись как обозом, и солнце еще высоко, а уж смотрят, как бы добраться до ночлега. Купец ли с товаром, крестьянин ли с запасом приедут в Тихвин — прямо с воза в церковь отслужить молебен Пресвятой Богородице, что ее заступлением остались здравы и невредимы.

Едва он кончил, раздался выстрел. Николай Федоров повалился с коня. Андрей хочет броситься к дядьке на помощь — другая пуля просвистела мимо его ушей, и аргамак, почуяв опасность, взвился на дыбы и помчался вихрем. Горбунов опомнился, только чтоб услышать за собой погоню. Оглядывается, три всадника, с ног до головы вооруженных, скачут за ним во всю прыть. Мешкать было некогда, сопротивление невозможно. Поворачивает на выходившую из леса тропинку и отдает себя на волю коня. Под ним свидетели многих поколений, покрытые мхом и сросшиеся с землею пни звенят от копыт, листья хрустят, ветви хлещут, царапают лицо; впереди трущоба все чаще, чаще, темная и в ясное солнце, тогда же еще мрачнее; над головой носятся тяжелым полетом тетерева, испуганные необычайным шумом, и вороны карканием приветствуют наступление сумерок. Но Андрей ничего не слыхал, не чувствовал, мыслил только о сохранении жизни. Наконец лес стал редеть, конь умерил бег, и всадник перевел дух. Тут впервые пришло ему на память случившееся: вспомнил о дядьке и горько всплакался. Николай Федоров учил его ходить, лелеял его детство, ходил за отроком и потом служил ему так усердно, как только мог. Из многолюдной челяди, которая досталась ему в наследство после дяди, Николай Федоров был один предан ему душою, один знанием обстоятельств

семейственных мог пособить ему в тогдашнем положении. Тяжело вздохнув, «да будет воля Твоя, Боже! — произнес он наконец. Дай ему Царство Небесное! Благодарю Тя, Господи, что меня спас от руки злодеев». Между тем ночь спустилась на землю. Андрей очутился на небольшой поляне и, завидев вдали огонек, чувствуя нужду в отдохновении себе и коню, тихой рысью пустился к одинокой в лесу избе.

Он въехал в околицу, привязал коня к изгороди.

— Нельзя ли у вас, голубка, пообогреться и перекусить чего-нибудь? — спросил у женщины, которая на стук в окно вышла к нему с горящей лучиной.

Незнакомка несколько времени смотрела ему в лицо, как бы удивленная, что видит странника в такой глуши, и наконец отвечала:

— Взойди, кормилец!

Изба, в которую ступил Андрей, ничем, кроме обширности, не отличалась от тех, какие видим ныне в деревнях. Но кровать под холщовым занавесом, заменявшая полати, окна, в которых вместо стекол были кусочки слюды, скрепленные выведенными в узор жестяными пластинками, и несколько медной посуды на полках показывали, что хозяин не простой поселянин. Между тем как странник с любопытством и сомнением осматривал место своего ночлега, хозяйка положила на стол каравай хлеба, поставила с солонкой вынутую из большой печи корчагу щей, горшок гречневой каши и, поклонившись, молвила:

— Милости просим, батюшка! Кушай на здоровье! Чем Бог послал!

Утолив первый позыв к пище:

— Неужели ты здесь, молодка, одна? — спросил Андрей у хозяйки, которая, приклонившись к печке и подперши голову рукою, на него глядела.

— Мать со мною, кормилец, живет не живет. Злая немочь мучит сердечную: ноги не поднимет, рукой не пошевелит, языком не перемолвит. Хозяин уехал в Тихвин да замешкался. Чай, сегодня уж не будет.

— И тебе не страшно оставаться одной в таком захолустье? — продолжал Горбунов.— Кругом жилья не видать, а в лесу у вас неспокойно.

— Эх, родимый,— ответствовала хозяйка.— От лихого человека нигде не убережешься! Мы жили в городе, да и там злые люди подожгли избу. Ночью тревога, оборони Бог! Все дотла сгорело; сами еле живы

остались. Здесь же милует Господь. Вот уже полтора года ничего не слыхать!

— А далеко ли отсюда до города?

— А Бог весть! Мы сами туда не ездим. Бают, коли до свету отсюда выедешь, приедешь в Тихвин к обеденной поре.

Скромный ужин кончился. Горбунов помолился и, бросив несколько копеек на стол, промолвил:

— Спасибо, голубушка, за хлеб за соль!

— На здоровье, батюшка,— ответила молодица.— Что это? Деньги? Возьми их назад, кормилец! — продолжала она с неудовольствием.— Слава тебе Господи! И без твоих копеек есть у нас чем накормить проезжего!

Между тем в люльке, повешенной на длинном, прикрепленном к печи шесте, запищал младенец. Мать поспешила успокоить его грудью. Андрей, измученный дорогой и треволнениями дня, пустив коня свободно по двору, положил себе в головы, в углу избы, под иконами, седло, протянулся на лавке и, пожелав хозяйке доброй ночи, скоро заснул глубоким сном.

Перед рассветом пробудил его внезапный блеск. Глядит, не верит глазам. Старуха, бледная как мертвец, у коей лета и болезнь избороздили глубокими морщинами лицо, осененное длинными космами седых волос, в беспорядке ниспадавших из-под изорванной кички, в рубище, до половины прикрывавшем иссохшую грудь, держа дряхлою рукою горящую лучину, вперила в него серые, сверкающие очи. Невольный холод обнял Андрея. С ребячества он слышал о ведьмах, колдуньях, леших — всех существах, коими досужее воображение наших предков населяло мир мечтательный. Существованию их тогда верили, и Андрей разделял заблуждения современников. Ободрился, однако ж, заметив, что старуха творит молитву: нечистая-де сила боится креста. Привстал и хотел было приветствовать мнимую колдунью, но она подала знак к молчанию и, схватив его окостеневшими пальцами за руку, вывела на двор.

— Что за нелегкая принесла тебя сюда? — сказала она осиплым голосом, между тем как Андрей седлал коня.

— Еду в Тихвин, бабушка, и сбился с дороги.

— А зачем тебе в Тихвин? — продолжала старуха.

— Долго рассказывать. Не слыхала ли ты про отца Петра?

— А на что тебе отец Петр?

— Послушай, бабушка,— молвил вместо ответа Андрей.— Жил здесь в Тихвине стольник Горбунов...

В это время послышался поблизости конский топот. Старуха, вероятно от испуга, зашаталась и, как показалось Андрею, упала. Он сидел уже на аргамаке и, вообразив, что подъезжают разбойники, накануне за ним гнавшиеся, быстро понесся по тропинке, ведшей в Тихвин.

ГЛАВА IX

На берегах Невы красовалась новая столица России, возникшая по мановению Петра из болот финских и уже в то время, семнадцать лет после основания, обширностью и красотой изумлявшая иноземцев. Весь левый берег реки от Смольного двора, где ныне Смольный монастырь, до Новой Голландии был застроен. В длинном ряду зданий отличались бывший дворец царевича Алексея Петровича (теперь Гоф-интендантская контора), Литейный двор, не переменивший тогдашней наружности, Летний дворец, деревянный дворец Зимний (где теперь императорский Эрмитаж), огромный дом адмирала Апраксина (сломан под нынешний Зимний дворец), Морская академия, Адмиралтейство, здание глиняное с деревянным шпицем и двуглавым орлом на вершине, окруженное валом и рвом; каменный Исаакиевский собор, в то время еще не достроенный, и, наконец, на месте нынешнего Сената австерия князя Меншикова. Вообще странная пестрота и разнообразие: домы каменные подле деревянных или мазанок, построенных из фашиннику и глины; крыши железные или муравленой черепицы подле тесовых; здания высокие с мезонинами, бельведерами, четвероугольными и круглыми, всеми затеями тогдашней причудливой архитектуры, обок низких лачужек. Великолепные ныне Малая Миллионная и обе Морские заселены были адмиралтейскими служителями, завалены лесами, канатами, смоляными бочками. Левую сторону Невского проспекта, и в то время уж обсаженного деревьями от мостов Зеленого (Полицейского) до Аничкова, занимали иноземные ремесленники: на правой виднелись Гостиный двор (ныне дом графини Строга-

новой) и деревянный собор Казанския Божия Матери. Пространство от Аничкова моста до Александро-Невского монастыря, тогда еще строящегося, занимали слободы Аничкова, заселенные солдатами его полка, и Ямская. Из прочих зданий в сей стороне замечательны были на левом берегу Фонтанки Итальянский дворец, в коем до вступления на престол жила императрица Елисавета, и дом графа Шереметева, еще не доконченный. Впрочем, Адмиралтейская сторона, составляющая ныне главную часть Петербурга, почиталась тогда предместьем: центром города была так называемая Петербургская сторона. Там, кроме крепости, еще деревянной, с множеством ветряных мельниц на валу, и соборов Петропавловского и св. Троицы, красовались, между прочим, каменные палаты графа Головкина, Брюса, Шафирова, князей Долгоруких, Кикина и особенно дом князя-папы, Ивана Ивановича Бутурлина, замечательный по колоссальному Бахусу на бочке, занимавшему в крыше место фронтона. Впрочем, на нем не было ни колонн, ни фронтонов, никаких вообще украшений, которых требует от больших зданий изящная простота нынешней архитектуры.

Но все строения Петербурга превосходил великолепием и обширностью на Васильевском острову дворец владетельного князя Ингрии, Эстонии и Ливонии генерал-фельдмаршала князя Александра Даниловича Меншикова, составляющий ныне часть стороны 1-го кадетского корпуса, которая обращена на Неву. Сей любимец Петра, самый усердный, самый деятельный его сотрудник в подвиге преобразования России, красавец телом, исполин духом и умом, на поле бранном отважный ратник, прозорливый полководец, в Государственной думе советник проницательный, дальновидный, исполнитель без медления, усталости и отдыха, по уставу природы, которая, дабы явить беспристрастие, не раздает доблестей великих без великих слабостей, имел главным недостатком непомерную, с каждым днем усиливающуюся алчность почестей и корысти. От сего покровитель щедрый, заступник ревностный своих приверженцев, гонитель непримиримый противников стяжал себе в кругу первостепенного русского дворянства многочисленных врагов. Пока жил Петр, пока властвовала Екатерина, высокий, корнистый дуб смеялся бурям, бушевавшим у подошвы и не дерзавшим сягать до вершины, в державу Петра II рухнул, на высоте

могущества не столь великий, как в падении, когда на крае земли, во льдах Сибири, некогда нареченный тесть императора, с духом покойным и ясным челом, полудержавными руками срубил церковь, в которой и покоятся останки Великого.

В отдаленной половине князева дома, в небольшой, слабо освещенной комнате сидели у круглого стола за кубками вина двое мужчин; один, развалившись в широких покойных креслах, другой против, на стуле, являя в наружности середину между почтительностию и простым обращением.

— Ну, Терентьич,— сказал первый, полня кубок собеседника,— перестанешь ли наконец трусить? Ведь в Сенате решили и приговорили дело по-нашему.

— Да еще не подписали, Степан Михайлыч! *Не хвалися о утрие, не веси бо что родит находяй день,* гласит премудрый царь Соломон. По моему разумению, дело тогда кончено, когда увижу благодатную подпись *исполнить.* Горбунов здесь и завтра, изволите видеть, хочет подать новую челобитную в Сенат. А ведь он был в Тихвине, и кто ведает, не доискался ли следа?

— Полно тебе прикидываться! — возразил первый, в котором читатели наши, конечно, узнали Белозубова.— Толкуй другим! Мне ли тебя не знать? Что ты завяжешь, того и сам лукавый не распутает.

— Молодец-то не таков, Степан Михайлыч, чтоб его легко провести,— молвил Терентьич.— С ним держи ухо востро. Но меня более беспокоит Николай Федоров. Наши, как его повалили, до ночи гнались за барином; воротились, ан убитого на дороге нет. Справлялись в околотке, а там и видом не видали, и слыхом не слыхали.

— Вздор, братец! Все пустое мелешь,— прервал Белозубов.— Ну кому придет в голову, что это твое дело? Ты, вишь, виноват, что по дорогам грабят и убивают проезжих?

— У вас все вздор, все пустое,— сказал тоненьким голосом Терентьич,— и не диво, вы за стеной. Придет до расправы: Степан Михайлыч в стороне, а Терентьича, раба Божия, потянут на дыбу. Степан Михайлыч ни о чем не знает, не ведает, Терентьич за все про все отвечай!

— Ах ты, негодная приказная строка,— вскричал в гневе Белозубов.— Смотри, пожалуй, он еще недоволен. Много ли ты выслужил в десять лет у Бердыша?

Явился ко мне оборванный, в истертом кафтане, гол, как ладонь. Посмотри же теперь на себя. Иной с виду и впрямь подумает, что ты человек порядочный!

— Да я не жалуюсь, Степан Михайлыч,— пропищал подьячий.— Вы есть и были мой милостивец. Оно только так, к слову пришлось.

— Однако ж,— молвил Белозубов,— шутка плохая, если Горбунов успеет до подписи приговора подать свою челобитную. Съезди-ка завтра раненько к обер-секретарю.

— Да, изволишь видеть, Степан Михайлыч, народ-то у вас больно мудрен. У нас в воеводстве, будь лишь в дело замешана казна, она уж непременно выиграет, дари не дари. А здесь говорят тебе: царь-де не хочет неправосудия. Что казенное, то казенное, что обывательское, то обывательское. Намеднись нелегкая понесла меня намекнуть обер-секретарю о благодарности, он взбеленился и так на меня напустил, что я не знал, куда деваться. Жизни не рад, что обмолвился.

— Бестолковая голова,— прервал Белозубов.— Тебе только и таскаться по уездным да воеводским канцеляриям. Вели-ка завтра заложить в одноколку пару моих вятских. Когда будешь у обер-секретаря, постарайся в разговоре притащить его к окну да невзначай заведи речь о лошадях. Он неравно спросит о цене. Я заплатил за них сто рублей; ты же скажи, они тебе стоят пятьдесят, а с него-де возьмешь половину. Он тебе даст обязательства, может быть, выложит чистые. Улики нет, он-де купил и прав. А о деле уже не поминай и не беспокойся! Он не бит в темя, и не тебе его учить! Сам сумеешь все сладить.

— Век живи, век учись,— отвечал Терентьич, взявшись за шляпу.— Покорно вас благодарю, Степан Михайлыч!

— Выпей последнюю на сон грядущий,— промолвил Белозубов. Они осушили в заключение беседы по кубку вина и разошлись на покой.

ГЛАВА X

На другой день после приведенного нами разговора Андрей явился у сенатского обер-секретаря Приволгина. Немногим пособила ему поездка в Тихвин. Неопытный, утратив в Николае Федорове полезного советни-

ка, который помог бы ему в разысканиях, сам ничего почти не узнал. Отец Петр скончался за два месяца. Из дворовых людей его отца одни, поступив с имением в казенное ведомство, были усланы, другие сами разбрелись в разные стороны. О бывшей мамке Палагее Тихоновой не умели также сказать ему ничего верного. Жила в Тихвине, была больна и, как полагали, сгорела во время пожара. Одно показалось ему замечательным: с Тихоновой жила девка, слывшая под именем ее дочери, меж тем как Терентьев в извете показывал, что ее дочь умерла вскоре после рождения, но и сие обстоятельство, одно, основанное на слухах, ни к чему не могло ему послужить. При всем том, однако же, решился обороняться, сколько мог. Изложив все подозрения свои в лживости извета со смелостию, внушенною чувством правоты и грозившей ему крайностию, явился с челобитною, как мы выше сказали, у обер-секретаря.

Приволгин, мужчина лет пятидесяти, важной, строгой наружности, принял Андрея с возможной вежливостью, снисходительно выслушал его объяснения, дал ему несколько полезных советов. Андрей, очарованный сею приветливостию, сообщил ему свою челобитную. Обер-секретарь, прочитав ее, похвалил бесстрашие юноши:

— Государь наш,— продолжал он,— хочет правды, и не сомневаюсь, обратит внимание на ваше прошение. Долг службы воспрещает мне сказать вам, в каком состоянии дело, но, принимая участие в вашем беззащитном положении, позволю себе присоветовать, повремените несколько дней. Люди не без слабостей, и, чтоб успеть с ними, надобно им несколько потворствовать. У нас же скопилось ныне множество дел. Вашу челобитную примут, потому что не могут в этом отказать, но примут с предубеждением. Впрочем, не принимайте совета за понуждение, я нимало не хочу стеснять ваших поступков, действуйте как заблагорассудите, я сказал только вам свое мнение, основанное на знании лиц, от коих зависит участь дела.

Андрей, рассыпаясь в изъявлениях благодарности, последовал совету, столь благонамеренному, и чрез несколько дней, пришед в Сенат для узнания об успехе, получил от Приволгина обратно, к великому его сожалению, свою челобитную с надписью, что дело уже решено.

Знакомо ли вам, любезные читатели, состояние души после сильного, непредвиденного удара, когда вся кровь поднимается к сердцу: вас что-то давит, душит, жжет, исчезают мысль, память, все чувства, минувшее, настоящее, будущее сосредоточиваются в гнетущее вас несчастье? Состояние убийственное, которого человеческая природа не могла бы выдержать, если б, по благости провидения, оно не было кратковременным. В таком положении был Андрей, когда вышел из Сената. Ничего не помня, не видя, не слыша, он быстро несся из улицы в улицу, из переулка в переулок, куда, зачем? Сам не ведая. Солнце садилось. Он почувствовал усталость и, увидев перед собою открытое здание с надписью «Австерия его царского величества», вошел туда для отдыха.

Образ жизни наших дедов был не тот, что ныне. В царствование Петра I присутствие в казенных местах начиналось летом в шесть часов, кончалось в двенадцать. Государь вставал в три часа утра, в четыре выходил для обозрения городских работ и возвращался во дворец около полудня, а дабы от девятичасового воздержания не ослабеть, повелел учредить в трех концах города трактиры, куда заходил перекусить: один в своем кабинете редкостей (ныне Музей императорской Академии наук), находившемся в то время у Смольного двора, другой неподалеку от тогдашней Канцелярии Сената, на площади собора св. Троицы (что на Петербургской стороне), а третий поблизости Адмиралтейства, где ныне здание Сената. Последние два трактира назывались *австериями*—первая царской, вторая австерией князя Меншикова, потому что сей вельможа, переправляясь чрез Неву из своего дворца на Адмиралтейскую сторону, к ней всегда приставал. Обыкновенный завтрак Петра состоял из рюмки водки и куска ржаного хлеба с солью. Все люди, порядочно одетые, имели право на вход в австерию и на ту же порцию, которая и выдавалась им за счет государя. За прочие требования платили по таксе, подписанной самим царем. Петр поощрял собрания в австериях, полагая оные в числе средств к сближению сословий, дотоле разделенных местничеством.

Андрей вошел в обширную приемную. За решеткою, как в иностранных трактирах, стоял хозяин, толстый, румяный мужчина, впереди множество слуг, готовых к удовлетворению требований гостей. На столах

в разных концах залы бутылки с винами, табак, голландские глиняные трубки, шашки и шахматы. Кругом в облаках дыма люди, высокие и низкие чином, военные, статские, шхипера, иностранные ремесленники играют, беседуют, шумят, спорят.

Андрей сел отдельно в углу и, подперши голову руками, погрузился в думу. Тут представился ему весь ужас его положения. Давно ль вотчинник обширных поместий, он был одним из самых значительных лиц в округе, ныне — безродный, бесприютный сирота: ни кровных, ни друзей, никакой помощи, утешения, нечего терять, не на что надеяться. Одно существо во всем мире его любило, одно принимало в нем участие, и с ним он был разлучен, может быть, на всю жизнь.«Бедная Варенька,— помыслил он,— тебя ласкает теперь надежда, что твой Андрюша разрушит ков злых людей; что станется с тобой, когда узнаешь, что он жертва их ухищрений? Изноешь, сердечная, от тоски!»

Погруженного в сии грустные мысли пробудил раздавшийся позади радостный крик:

— Горбунов, любезный Горбунов! — И с сими словами высокий мужчина в мундире Преображенского полка бросился к нему на шею.

— Здравствуй, Желтов,— молвил Андрей медленно, оправившись от первого изумления,— но не зови меня Горбуновым, а то неравно обнесут тебя как преступившего царский указ.

— Что с тобой, любезный,— вместо ответа спросил с беспокойством воин, глядя собеседнику в очи,— ты не болен ли, мой милый?

— Ах, как бы я хотел, чтоб это был бред горячки,— сказал со вздохом Андрей.— К несчастью, говорю горькую истину: я более не Горбунов!

— Изъяснись, пожалуй! Что такое?

— Тяжко говорить об этом,— ответствовал Андрей.— На, читай, все узнаешь,— и при сем подал ему из бокового кармана бумагу.

— Друг мой,— сказал Желтов, прочитав и возвращая Андрею челобитную,— дело твое, правда, не в завидном положении, но отчаиваться и грешно, и стыдно. Уверять мне тебя в искренности лишнее. Я еще помню, что ты в Новегороде избавил меня от розог и позора. Послушайся же доброго совета. Рано ли, поздно ли тебе надобно служить: вступи к нам в полк. Царь, слова нет, доступен для всякого, но, служа в

полку, которого он шефом, ты будешь иметь более случаев лично с ним объясниться. Притом он любит людей грамотных. Я, помнишь, был в школе плохой ученик, а теперь поручик оттого только, что поученее моих товарищей. А узнай он дело, так тебе и тужить нечего: он правосуден.

— Правосуден,— отвечал Горбунов, горько улыбнувшись.— Помнишь ли, любезный Желтов, в букваре, по которому учил нас чтению дьячок Никандр, в изречениях греческих мудрецов выражение: «Правосудие — паутина, которая задерживает малых насекомых и рвется от больших»?

— Нет, уж воля твоя, голубчик, а за это я тебе ручаюсь, что никакие козни, никакое лицеприятие на него не действуют. Не спорю, он может погрешить, но от неведения. Расскажи же ему дело, как оно есть, и он, не стыдясь сознания в ошибке, сам переменит свое решение. Право, послушайся меня, запишись к нам в службу!

— Любезный,— молвил Андрей, вполовину убежденный,— и этого мне теперь нельзя сделать. Злодеи принуждают меня отречься от своего отца. Под каким именем явлюсь я к вам в полк?

— За этим дело не станет! Я представлю тебя под именем *Безыменного*. Да где ты здесь живешь?

— На постоялом дворе, который при въезде первый мне попался.

— Этому быть не должно! Я ведь у тебя в долгу, любезный! Ты меня ссудил в час нужды всем, что имел. Переезжай ко мне! Нечего совеститься! — продолжал Желтов, заметив, что Андрей хотел возражать.— Я не тот бедняк, что был в школе: с наступлением совершеннолетия уволил почтенного дядюшку от опеки и теперь, слава Богу, не без достатка. Да полно тебе кручиниться! Увидишь, все кончится благополучно! Эй, бутылку иоганисберга! — закричал он слуге.— Обновим, друг мой, приязнь стаканом рейнского!

Нежданная встреча с Желтовым оживила убитого грустью. Согретый дружбой и вином, Андрей поуспокоился и вышел из австерии рука об руку с приятелем, решив облечься на другой день в солдатский мундир лейб-гвардии Преображенского полка.

ГЛАВА XI

Внутренний быт владельцев села Евсеевского изменился после разрыва с Горбуновым. Княгиня, приехавшая ко дню совершеннолетия племянницы, задержанная ее сговором, воротилась в свою ярославскую вотчину. Лука Матвеевич делил время между псарней и конским заводом. Варвара была уже не Варварой-невестой. Тихая грусть сменила прежнюю живую, беспечную веселость: в гостиной являлась только перед столом, прочие же часы дня проводила или в своей светелке за пяльцами, или у Ольгина пруда, где впервые и впоследние свиделась со своим Андрюшей. Но и тут качели висели в покое или колыхались разве только от ветра, не слышалось песен, какими, бывало, оглашался берег, не было, как прежде, резвой толпы девушек, коих невинные забавы обманывали время, одна или с Ивановной находила облегчение от тоски в воспоминаниях о былой счастливой поре.

Белозубов, по удалении соперника частый гость Евсеевского, быв принужден отправиться по делу Горбунова в столицу, решил во что бы то ни стало убедить Луку Матвеевича к переезду в Петербург. «Пока я здесь,— мыслил,— Варвара моя, уезжай я, кто мне порукой, что не найдется новый Андрей, который похитит у меня и ее, и Евсеевское? К тому же тут все напоминает ей о прежней связи. В столице же, окруженная предметами новыми, среди забав и рассеяния, скорее забудет возлюбленного и охотнее выслушает предложение о новой женитьбе».

Государь Петр I ходил сам в толстом сукне и заплатанных башмаках, предпочитал щи, солонину и ржаной хлеб блюдам утонченной французской кухни, но хотел, чтоб окружающие его лица жили с пышностью, соответственною их звания. Князь Александр Данилович, носивший титул владетельного, в угодность царю и собственному честолюбию устроил дом свой по образцу мелких немецких государей. На его половине пажи, камер-юнкеры, камергеры; на половине княгини — фрейлины, камер-фрейлины, вообще все придворные чины. Белозубов в награду за отторжение у Горбунова села Воздвиженского с деревнями исходатайствовал у князя для будущей своей супруги звание фрейлины его двора. Отъезд княгини Ирины Матвеевны способствовал его замыслам. Уже издревле знат-

ные бояре имели обычаи держать у себя во дворе молодых дворян, мужчин и девиц, под именем знакомцев и подруг, и сие звание нимало не было унизительным. Но Меншиков вышел из низкого звания — пятно неизгладимое в очах коренных русских дворян. Княгиня, числившая между предками немало бояр, вдова одного из знатнейших сановников при дворе царя Алексея, не дозволила бы племяннице, в укор своему роду, служить у вельможи, который обязан был возвышением одному себе. Лука Матвеевич сам был не без спеси, но, покорный внушениям чужим, любя дочь нежно, в надежде, что забавы столичные прогонят ее тоску, не мог противустоять приглашению князя Александра Даниловича. За несколько лет перед тем повелено было дворянам, владельцам известного числа дворов, иметь домы в новостроившемся Петербурге. В одно утро Лука Матвеевич под предлогом обозрения своего дома, сев с дочерью в старинную, веером сделанную колымагу на цепях и низких колесах, со всею челядью, начиная от няни Ивановны до шестидесятилетней дуры, забавлявшей в молодости барыню-бабку и на старости разгонявшей грусть внучки, от толстого дворецкого до карлы, со стаей псов и табуном верховых и цуговых коней, длинным обозом потянулся в Петербург.

Княгиня Мария Андреевна Меншикова, урожденная Арсеньева, была из самых почтенных жен своего века. Душевно преданная супругу, любила в нем не светлейшего, не генерал-фельдмаршала, а Александра Меншикова. Не ослепленная блеском почестей, ведая, с какими они сопряжены опасностями, проводила дни и ночи в страхе, чтоб чрезмерное его могущество не рушилось на погибель всего семейства. Но, бессильная к обузданию властолюбивой души князя, в угодность ему несла бремя величия с притворным удовольствием. Предчувствия ее сбылись наконец, и, когда чрез несколько лет гроза разразилась над домом Меншиковых, в рыданьях о муже и детях выплакав очи, вскоре за зрением утратила в ссылке и жизнь.

Княгиня, коей нетрудно было отгадать причину тоски новой фрейлины, обходилась с нею весьма ласково. Но сия снисходительность не возвратила Варваре веселости; тайная грусть грызла сердце. Любовь к Андрею, освященная религией, казалась ей долгом, измена жениху, и жениху, терпящему напасть,— смертным грехом. Посему-то покорная во всем воле родителя,

в этом одном дерзнула ему воспротивиться. Частые посещения Белозубова, в коем видела гонителя Андрюши, внушили ей подозрения, кои утвердились при поездке в Петербург и вступлении в дом князев. Лука Матвеевич не смел говорить дочери ясно о новом женихе, но позволил Белозубову искать ее благоволения, и сей, мужаясь заступлением своего милостивца, уже не скрывал притязаний на ее руку. К тому же об Андрее — совершенное неведение или слухи более горькие, чем самая неизвестность. Наконец даже Ивановна, дотоле поверенная в печали, переменила речь:

— Не промаяться же тебе, мое дитятко, весь век сиротой. Андрей Александрыч, нечего сказать, пригож, да если он и впрямь не дворянин, без рода, без дома: ни за ним, ни перед ним? Не таскаться же тебе с ним по миру. И Степан Михайлыч, чем не жених? Еще не стар, в чести у людей, а уж как тебя любит! Так и глядит тебе в глаза. Свыкнешься, влюбишься, моя родная.

Так Варвара, предоставленная самой себе, одному Богу открывала свою горесть, мешая в молитвах со своим именем имя Андрея.

Одним утром, когда Варвара сидела за пяльцами в кабинете у княгини Марии Андреевны, явился паж с докладом о приезде царицы. Тотчас вслед за ним взошла и государыня, так что застала еще фрейлину в комнате. По ее удалении, «я никогда еще не встречала у вас этой девицы»,— сказала Екатерина, после того как княгиня облобызала ей руку.

— Она с небольшим неделя, как ко мне поступила, ваше царское величество.

— Кто она такая?

— Дочь соседа князева по имению; тиха, скромна, мастерица шить, и я ею очень довольна.

— Ее наружность меня поразила. Какое у нее бледное, жалкое лицо!

— Она действительно достойна сожаления, государыня! Ее, бедненькую, отторгнули от жениха и, кажется, хотят против воли выдать за другого.

— И вы, княгиня, ужли не употребите своего влияния, чтоб тому воспротивиться?

— Ваше величество,— грустно сказала княгиня, потупив взор,— есть вещи, в которых Мария Меншикова не имеет голоса.

— Признаюсь,— продолжала царица,— ее наружность возбудила во мне большое участие.

— Государыня! Одно ваше слово может возвратить ей покой и радость.

— Пришлите ее завтра ко мне,— молвила Екатерина.

ГЛАВА XII

Рано испытанная превратностями рока, Екатерина, едва умея грамоте, из дома сельского ливонского пастора перешла на престол и явилась на нем достойною супругою русского царя. Величественная осанка, высокий рост, гордая поступь, взор живой, пламенный, всегда сохранявший должную важность, уже означали монархиню сильного народа. Но блестящая наружность исчезала при великих качествах души. С добросердечием неистощимым, с ангельскою кротостию Екатерина соединяла ум необыкновенный и дух, редкий даже в мужчинах. Ее одно старание — сохранить любовь супруга, постоянный закон — снисхождением, ласкою, даже потворством отвлекать его от слабостей и направлять ко всему великому, возвышенному. Сим неизменным поведением Екатерина приобрела над Петром влияние, которое удержала почти до самой его кончины. Властитель России, изумлявший мир железною волей и нравом непреклонным, становился агнцем перед слабой женщиной. И никогда не употребляла она во зло своего влияния! Казалось, само провидение ниспослало Екатерину для смягчения монарха, правосудного до суровости и грозного в гневе, для укрощения пылких, неукротимых его страстей. В приемных ее комнат непрестанно толпились матери, жены, дочери опальных: прибегали к заступнице несчастных, к матушке Екатерине Алексеевне. Она не всегда могла исполнить их просьбы, но всех отпускала с милостивым словом, иногда со слезою участия, проливавшего утешение в души страдалиц.

С 1711 года Екатерина редко разлучалась с супругом. Весь турецкий поход проводила дни на коне, в мужском платье, впереди войск, ночи же под шатром или, не раздеваясь, на голой земле, под открытым небом; в сражениях находилась обок государя. В минуты тягостные, когда Петр, усталый от борьбы с препят-

ствиями, какие отовсюду предстояли его великим предначертаниям, искал в ее беседе отдыха, увещеваниями, поощрениями, упреком подкрепляла изнемогавшего, пробуждала мгновенно засыпавшую в нем твердость. Екатерина на берегах Прута спасла русское войско, сохранила Петра для России. Целя душу супруга, целила и тело. Известно, государь Петр I от отравы, данной ему в молодости, подвержен был припадкам исступления. В беседах, на пирах волосы его вдруг становились дыбом, глаза наливались кровью, изменившееся лицо подергивало в разные стороны, пена у рта, скрежет зубов, крики, подобные звериному реву, наводившие ужас на самых бесстрашных. В эти грозные минуты, когда никто не дерзал предстать перед больным, Екатерина, подошедши, склоняла его голову к себе на грудь и усыпляла исступленного, тихо водя по ней рукою. Сей род магнетического сна, длившегося не более четверти часа, возвращал государю здоровье и веселость. Но всего в ней удивительнее ничем не рушимый, ни в каких обстоятельствах не падавший дух. Однажды, незадолго до кончины, Петр, сильно разгневанный, влечет ее к окну и, ударив в окончину, в то время как окно с треском рухнуло, говорит, указывая на разбитые стекла:

«Видишь ли,— это презренное вещество, облагороженное искусством человека? Оно потускло, и мне стоило только поднять руку для его сокрушения. Я, правда, окровавил руку, но его обратил в ничтожество». Сие мгновение было решительным. Екатерина знала, что стоит на краю погибели, и с ясным челом, с обычною на устах улыбкою ответствует: «Не гораздо ли достойнее вашего величества пощадить слабого и не являть могущества перед ничтожным?» Обезоруженный сим спокойствием, Петр обтер слезы и, обняв ее, сказал: «Бог тебе, Катя, судья, а не я. Тяжко мне на сердце, но... забудем прошлое».

Впрочем, кроме сего неприятного случая, нарушившего на время спокойствие высоких супругов в 1724 году, жизнь их представляла умилительную картину согласия, и Петр на престоле вкусил сладость счастья семейственного, редкий удел государей. Разведшись в молодых летах с Евдокией, искал развлечения от дел правительственных в обращении с женщинами. Случай свел его с Екатериной; ее качества привязали непостоянного. Это была первая, единственная его любовь.

Тут он впервые стал скрываться перед приближенными. Екатерина жила в Москве, в небольшом домике подле Лефортова дворца. С наступлением вечера государь, улучив время, когда полагал, что никого не встретит, тайком выходил от себя и на другой день, еще с рассветом, возвращался во дворец, дабы являвшиеся по делам не подозревали его отсутствия. Потом, спустя уже долгое время, принимал у Екатерины немногих близких особ: Меншикова, Шереметева, Шафирова. Когда сия взаимная привязанность освятилась узами брака и плоды оного утешили счастливых родителей, внутренность государева семейства являла патриархальную простоту. В 1714 году Петр, ограничив удельные имения и распределив оные между членами царского дома, назначил для собственных издержек доходы с девятисот душ в Новогородской губернии, что, судя по тогдашней ценности имений, едва составляло девять тысяч рублей. Екатерина вела им расход, и с бережливостью, какую редко встретить в частном быту. Окорока, солонина, пиво закуплены в свое время, дрова на отопку дворца в зиму запасены летом, везде порядок, во всем самая строгая отчетливость. В разговоре, в письмах к супруге Петр не иначе называл ее, как *друг мой Катя!* Сии письма, полные чувства, дышат любовью, которая не ослаблялась годами, а, напротив, с каждым днем становилась более пламенною, более романтическою. Некоторые начинаются или оканчиваются словами: *Катя! Мне грустно. Тебя нет со мною!*

Государь всегда почти кушал в семействе. В четыре часа утра, когда уходил, Екатерина с великими княжнами Анной и Елисаветой отправлялись в Царицын сад, потом известный под именем Малого Летнего и ныне принадлежащий к Александровскому дворцу. В сем саду был деревянный павильон, разделенный сквозными сенями на две половины, каждая в две комнаты. На половине великих княжон одна комната была их учебной. Сюда приходили давать им уроки: Феофан — закона Божия и русской словесности, Остерман — языков немецкого и итальянского, истории и географии; для французского языка и приятных искусств выписаны были мадам и учители из Парижа. Смежная с учебною комната заключала в себе птичник великой княжны Анны Петровны: канареек, попугаев, всех птиц стран южных, живых или в чучелах.

Вторую половину павильона занимала сама государыня. В то время вышивание было единственным занятием женщин высшего и среднего сословий. Мужья носили кафтаны, шитые шелками, серебром, золотом; лавок же модных еще не было, все приготовлялось дома. Посему во дворце, во всяком дворянском доме приемные, гостиные, спальни, девичьи уставлены были пяльцами; за ними просиживали по целым дням и царица, и самая бедная дворянка, и старуха, и носившая на заплечьях крылышки. За пяльцами в широкой соломенной шляпке с заброшенным на тулью зеленым флером, в белой кисейной кофточке и широкой юбке зеленого атласа застала Екатерину представшая ее очам Варвара.

— Здравствуй, милая! — мо́лвила государыня, стараясь ласковой улыбкой ободрить робкую.— На лице твоем написано страдание, и я хотела тебя видеть, чтоб узнать, не могу ли тебе помочь?

— Велика милость вашего царского величества,— отвечала Варвара, кланяясь в пояс.

— Тебя хотят выдать за человека, как я слышала, достойного. Для чего ты не хочешь идти за него?

— Матушка-государыня! Я перед Богом была уже обручена; могу ли без греха изменить жениху?

— Суженый твой в милости у князя Александра Даниловича; можешь надеяться на чины, почести.

— Сердцу не прикажешь, ваше царское величество! Будь он знатен и в чести, все-таки он мне не милее моего Андрюши!

— Но если выходит, что твой Андрюша —что ли? — как ты его зовешь, не из дворян?

— Он мне жених.

— Слова нет! Но нельзя же быть тебе его женой. Ты сама не захочешь поступить противу воли родительской.

— Матушка-государыня! Знаю, что мне не бывать за Андреем, и несу безропотно свою участь. Молю об одном,— промолвила Варвара, бросившись на колени и залившись слезами,— не разлучайте меня с моим горем, оставьте при мне мое вдовство!

— Встань, милая,— молвила Екатерина, приподнимая лежавшую у ее ног.— Успокойся! Оботри слезы! Мне душевно тебя жаль! Я постараюсь сделать, что могу, хотя не ручаюсь за успех. Впрочем, Господь милостив, молись Ему! Он тебя не оставит.

ГЛАВА XIII

Кто из вас, петербургские мои читательницы, чтоб людей посмотреть и себя показать, с наступлением весны не кружил около полудни по тенистым дорожкам Летнего сада? Кто из вас, провинциальные мои читатели, не знает Летнего сада по слуху? Но ныне Летний сад не то, что бывал в старину. На месте настоящей, великолепной решетки на Неву возвышались три деревянных галереи, к которым приставали приезжавшие в сад, а правом сим пользовались люди всех званий, порядочно одетые. Мостов на Неве в царствование Петра не существовало. Хозяевам домов повелено было, по достатку, иметь известное число лодок. Привязав суда к кольям, коими усажен был берег, посетители сада пробирались по деревянному намосту в галереи, где в дни гуляний встречали их рюмка водки, подносимая с поклоном государыней или великими княжнами, как хозяйками сада, и стол с закусками. Из галерей были выходы в аллеи, прорезывающие сад в длину. На площадках средней, главной аллеи, и в то время украшенной теми же статуями и бюстами, что ныне, с разницею, что они тогда еще сохраняли в целости носы, пальцы у рук, ног и пр., шумели фонтаны. Площадки сии, по званиям лиц, кои собирались на них в праздники, назывались *дамской, архиерейской и шхиперской;* боковые аллеи уставлены были изображениями окрашенной жести из Эзоповых и Федровых басен: ворон, заслушавшись лису, выпускал изо рта сыр; волк пил из одного ручья с ягненком; цапля вынимала кость из пасти волчьей; а под изображениями, в науку добрым людям, заключались в четырех или шести стихах содержание и нравоучение басни. Пруд Летнего сада отдан был во владение царской карлы, который разъезжал по нему на раззолоченном челноке в четыре фута длиной. Посреди пруда находился островок, занятый беседкой, в коей за столом умещалось шесть человек. О воскресных днях, когда в саду собрания бывали, отправлялись туда самые отважные весельчаки по плавучему мосту, который вслед затем снимался. Когда, по осушении покрывавших стол бутылок, в беседке становилось тесно, пирующие — заметьте, по большей части люди высокого сана, первые государственные чиновники — в забаву себе и взиравшей на то публике выталкивали один другого в воду. Вправо от

пруда находился грот, выложенный разного рода поростами, мхами и раковинами, с подробным описанием, где и как они добываются. Сей-то сад служил Петру I местом прогулок, забав и отдыха; здесь, отложив величие царского сана, отцом среди многолюдного семейства, гражданином среди сограждан, собеседником между пирующих, государь вместе с ликовавшим народом праздновал победы сынов России, им пересозданной, им вознесенной.

Между высокими качествами Петра особенно замечательна необычайная деятельность: ум его не ведал отдыха. Проникнутый святостию великой своей обязанности, царь днем и ночью, в трудах и забавах, в дороге и на месте, в беседах, на пирах изобретал, сочинял, обдумывал способы к возвеличению России. Когда ложился, дежурные денщики клали на стол у изголовья аспидную доску с грифелем; когда выезжал, брали с собой десть бумаги и чернильницу; в токарной, в кабинете редкостей, где ежедневно проводил по нескольку часов, приготовлены были очиненные перья и бумага; даже не раз в прогулки по Петербургу останавливал прохожих и писал, опершись на их спины. Так дорожил он минутами вдохновения, гениальными мыслями своего творческого ума. Неподалеку от Летнего дворца, под дубом, который посадил сам государь, находился стол с аспидною доской и чернильницей, на сей же предмет вделанными в крышке, и ящиком внутри с бумагой; подле кресла и особенный часовой для отклонения нескромного любопытства. Одним утром, недолго спустя по издании указа об учреждении двенадцати коллегий, Петр, уходивший из Сената в одиннадцать часов и проводивший дообеденное время в прогулке по саду, сидя за столом, излагал на бумагу предначертания об образовании областных судов. Когда кончил, восторженный мыслью о пользе сего нового постановления, полный благоговения ко Всевышнему за видимую благодать его предприятиям, положил перо и, вознесши к небу признательные очи, громким голосом произнес следующую молитву:

— Благодарю Тя, Господи, что сподобил меня пожать плоды моих усилий! Сердцеведец! Ты зрел чистоту моих помыслов и благословил мои начинания. Свет наук начинает озарять Тобою вверенное мне царство. Трудолюбие и довольство проявляются в хижине земледельца. Суд и расправа заменяют произвол. Боже,

сыплющий щедрою рукою блага по земли, осени мя Твоею мудростию на предлежащем мне пути, укрепи мышцы мои на труд, мне предназначенный, вознеси, возвеличь Россию! Да спеет народ мой на стезе просвещения, во славу пресвятого имени Твоего! Да восторжествует истина, воссядет правда на суде!..

— *Молвишь о правде, а сам не творишь правды,*— раздалось в ушах государя [1].

Гром, разразившийся над головою, не столько изумил бы Петра. Озирается, никого не видит, только часовой стоит неподвижно у ружья. Не веря своим ушам, спрашивает:

— Что такое?

— Молвишь о правде, а сам правды не творишь,— повторил часовой.

Изумление государя возросло еще более:

— В своем ли ты уме? Помыслил ли о своей голове? На часах под ружьем, а говоришь дерзости неслыханные, и кому — мне, своему государю?

— Пугай тех, кому есть чего бояться! — отвечал ратник.— Ты отнял у меня достояние, честь, имя, все, что привлекает в жизни... Что мне после того твои угрозы?

— Кто ты таков? Как тебя зовут? — спросил царь, весь пылая гневом.

— Звали меня Андрей Горбунов, ныне я Андрей Безыменный.

— Горбунов? Знаю. Твое дело недавно решено в Сенате. В чем же ты винишь меня? Осудил тебя не я, а закон.

— Закон,— с горькою улыбкою сказал Безыменный,— узда для слабых, а для сильных поощрение к беззаконию! Держись ты закона — приговор мой не был бы подписан.

— Послушай, Горбунов! — молвил царь после некоторого молчания.— Мне жаль тебя! Ты малый не глупый и, как я слышал, обучен наукам, а мне таких людей надобно. Доселе никто не слыхал твоих дерзостей, кроме меня. Верю, что тебе горько, но не потерплю, чтоб ты продолжал поносить меня и господ Сенат, облеченных моею доверенностью. Говорю тебе, я рас-

---

[1] Обстоятельство о молитве и слова, вложенные в уста ратника, не вымышлены: любопытные могут в том удостовериться в «Анекдотах о Петре I» Голикова.

сматривал твое дело, и оно решено справедливо. По закону ты уже заслужил смертную казнь, но перестань презорствовать, а я забуду слышанное.

— Велика милость твоя, государь, но я был бы ее недостоин, если б тебя послушался. Мне перестать жаловаться? Отказаться от собственной крови, отречься от рода, опозорить предков, согласившись, чтоб их потомок прослыл холопским сыном? Робкая голубица боронит гнездо от насилия и бьет крыльями, которые Господь дал ей для бегания от людей, а ты хочешь, чтоб молчал человек? Нет, государь! Урежь мне язык, поставь на дыбу, мучь, рви, терзай, а я до последнего издыхания не перестану твердить, что, осудив меня, ты сотворил неправду.

— Но чем же ты докажешь истину своих слов? — вскричал вспыхнувший снова Петр.

— Доказать не могу, потому что враг сильный отнял у меня все способы, но я указал тебе, государь, путь к истине, а ты им пренебрег, возвратил мне челобитную с надписью, что дело решено.

— Какую челобитную? Я ни о какой челобитной не ведаю.

— Вот она! — ответствовал Безыменный, вынув ее из бокового кармана.

Петр внимательно прочел поданную бумагу раз, другой и, обратившись к часовому, молвил:

— Есть тут обстоятельства, которых я не знал, но все одни догадки, ничего положительного. Ты винишь государственного сановника, мужа мне близкого, в злодейском умысле, и, не подтвердись твое обвинение, подвергаешься за это одно смертной казни. Впрочем, я еще раз рассмотрю дело с господами Сенатом, и если твой извет несправедлив, не прогневайся! Я тебя предостерег. Миша! — закричал он карле, который в это время находился у своего пруда.— Пошли мне караульного офицера.

— Господин поручик,— продолжал государь, когда офицер предстал перед него,— этого часового сменить и содержать на гауптвахте до моего повеления! А завтра, при суточном рапорте, напомните мне о деле Горбунова и накажите то же самое офицеру, которому сдадите караул.

При сих словах Петр отправился во дворец, а нашего Андрея отвели под стражу.

ГЛАВА XIV

— Орлов! — молвил государь на другой день одевавшему его денщику.— После моего ухода отправься к князю Александру Даниловичу. Скажи ему от меня, чтоб он не ездил нынче в Сенат, а занялся делами в Адмиралтейств-коллегии. Сам же я туда сегодня не буду.— За сим Петр, сев на ялик, пустился грести к Смольному двору. Пробыв несколько времени в своем анатомическом кабинете, на обратном пути въехал в Фонтанку для обозрения воздвигавшихся на берегах ее зданий, осмотрел строившиеся в Новой Голландии суда, посетил крепостные работы и, наконец, пристал в виду Царской австерии, почти у нынешнего Троицкого моста. Подкрепив себя, по обычаю, рюмкой водки и куском ржаного хлеба с солью, отправился в канцелярию Сената.

Тогдашняя канцелярия Сената, каменное здание в два жилья, находилась между домиком государевым, что на Петербургской стороне, и собором св. Троицы. Нижнее жилье занимали служители и мелкие чиновники, в верхнем находились архив, арестантская, куда приводили преступников до выслушания приговора, три небольших покоя для канцелярской и, наконец, судейская. Тут голые стены, всего убранства — портрет государев во весь рост, в раме простого дерева под стеклом статья из высочайшего указа, что сенаторам, в силу данной присяги, «творить суд и расправу честно, без лицеприятия, совестью и правдой», наконец, длинный, под красным сукном стол, за коим сидели сотрудники Петра в деле правления. На первом месте, в шитом французском кафтане и длинном напудренном парике, старший сенатор, восьмидесятилетний граф И. С. Пушкин, живая летопись трех царств, сороковой год бессменный в Верховной Государственной думе; против, в чекмене зеленого сукна, князь Ив. Фед. Ромодановский, наследовавший от отца титул кесаря, прямодушие, суровость и любовь к старине; подле них в генерал-кригс-комиссарском мундире, уже тогда маститый старец, князь Як. Фед. Долгорукий, прямой слуга и советник царский, коего имя соделалось у потомков знамением бесстрашия и правоты, и вице-канцлер барон П. П. Шафиров, обширный умом и познаниями, сановник совершенный, если б умел обуздать пылкий дух; далее появлялись граф Б. П. Шереметев и граф

Ф. М. Апраксин, сподвижники царя на поле ратном и по миновании войны служившие ему советом, граф П. А. Толстой, славный посольством в Константинополь, умный и честолюбивый князь Д. М. Голицын и, наконец, обер-прокурор П. Я. Ягужинский, которому Петр дал почетное имя друга правды.

Едва пробило девять часов, вошел государь и, чтоб не развлечь внимания присутствовавших, тихо вдоль стены пробравшись к президентским креслам, занялся рассматриванием лежавшего перед ним протокола. Когда прочтенное обер-секретарем дело было выслушано и по произнесении приговора готовились перейти к другому:

— Господа Сенат! — сказал Петр.— Недели за три перед сем, по указу нашему, основываясь на извете подьячего Терентьева, при коем он представил показание, учиненное перед смертию мещанкой Палагеей Тихоновой тихвинскому попу отцу Петру, в присутствии его, подьячего Терентьева, и посадского человека Ефима Фролова, вы решили и приговорили недоросля, называвшего себя Андреем Горбуновым, признать сыном ее, мещанки Тихоновой, а оставшееся после мнимого дяди его, окольничего Ивана Горбунова-Бердыша, имение, село Воздвиженское с деревнями, отобрать у него, как вымороченное, в нашу государеву казну. Ныне Андрей Горбунов бьет мне челом, что поверенный князя Меншикова, Белозубов, за два дня до подания извета предлагал ему продать означенное имение, на каковую продажу Горбунов не изъявил согласия, и что в извете участвует посадский человек Ефим Фролов, который-де клеврет Белозубова, из чего он, Горбунов, выводит следствие о подлоге извета. Я рассматривал внимательно все обстоятельства дела и, признаюсь, нахожусь в большом затруднении. Отца Петра, перед коим Тихонова учинила сознание, нет в живых; сама она скончалась вскоре после показания; Николай Федоров, дядька Андрея Горбунова, на которого сей ссылался в челобитной к воеводе, убит на пути.

Вдруг прервал слова государевы необыкновенный стук и визг в канцелярской.

— Пустите, пустите, я хочу их видеть; сам Господь прислал меня к ним, я должна их видеть.

Распахнулись двери судейской: предстала пред очи изумленных сенаторов старуха, бледная как привидение, покрытая рубищем и морщинами, едва влачившая

ноги, опираясь на толстого мужчину, больного лицом, по-видимому, едва оправившегося от недуга.

— Что это за люди? — вскричал Петр в негодовании на дерзость. Старуха с усилием произнесла: «Мещанка Палагея Тихонова» — и повалилась на землю. Подбежавшие подняли безжизненный труп.

Еще при жизни Бердыша, за два года перед сим, Терентьич продал себя его противникам. Ведая желание князя Александра Даниловича иметь в своем владении село Воздвиженское с деревнями и убежденный, что Горбуновы не соизволят на продажу имения, внушил Белозубову мысль о подлоге и предложил употребить для сего мамку Андрея. Белозубов подослал к Палагее Тихоновой клеврета своего Ефима Фролова, который под именем посадского вкрался к ней в дом и, женившись на дочери, обещанием большой награды и возвышением дочери в дворянки, преклонил тещу к лжесвидетельству. Тихонова, притворившись больной, в присутствии Терентьича и Ефима Фролова показала священнику церкви Спасова Преображенья, отцу Петру, что она мать Андрею. Но цель заговора еще не была достигнута: надлежало скрыть существование дочери и отклонить последствия от возможного раскаяния матери. Для сего Фролов, заранее приняв меры к спасению имущества, поджег в одну ночь ее дом и перевез старуху с женой за тридцать верст от Тихвина, в захолустье, где мы их видели. Тихонова, грызомая совестью, приписывая самый пожар каре Господней, впала в болезнь, лишилась употребления рук, ног, языка, но сохранила память, слух и сознание в преступлении. Между тем Бердыш скончался. Белозубов, после тщетных усилий склонить Андрея обещаниями и угрозой к продаже имения, решил пустить в ход дело. Но, по сродному злодеям беспокойству, опасаясь, что, невзирая на все предосторожности, Андрей с помощью Николая Федорова, знавшего семейственные обстоятельства, успеет доискаться истины, поручил Фролову, подобрав двух негодяев, напасть на них в тихвинском лесу. Тихонова слышала, как Терентьич и ее зять, которого не беспокоило присутствие расслабленной, переговаривались о погибели Андрея, и когда он прибыл в следующую ночь в избу, влекомая каким-то любопытством, которого сама себе объяснить не умела, сделала усилие и, к удивлению своему, впервые почувствовала возможность встать и двигать языком. Сходство Анд-

рея с матерью, коей образ она увидела в юноше, и не многие произнесенные им слова открыли, что то был ее вскормленник. Тогда решилась во что бы то ни стало обнаружить свое преступление. «Господь дал мне почувствовать раскаяние, дает силы явить его и на деле». С сей верой, воспользовавшись несколькодневным отсутствием зятя, вышла из дома и, слышав, что дело Горбунова производится в Петербурге, потянулась пешком в столицу. Прибыв туда, встретила на постоялом дворе больного Николая Федорова, которого подняли замертво ехавшие в Петербург с припасами крестьяне и, по его желанию, повезли с собою. Николай Федоров, зная, что Горбунов перенес дело в Сенат, привел туда Тихонову.

ГЛАВА XV

Государь Петр I в предположении пересоздать Россию, связав нас с народами Западной Европы просвещением, торговлей, мыслил, что не вполне достигнет цели, если совершенно не изменит существовавших между двумя полами отношений. До царя Алексея женщины вели у нас затворническую жизнь. При нем и особенно в правление Софии оне получили более свободы, но сия свобода была еще весьма ограничена. Стоило девице сказать несколько слов чужому мужчине, не родственнику, чтоб навсегда потерять доброе имя. Решительный переворот в положении женщин последовал с воцарением Петра. Узрев в посещения заграничных купцов в Москве, какую прелесть уважение к прекрасному полу разливает на всю жизнь, как много оно способствует к очищению нравов, царь примером, увещаниями, угрозой старался доставить женщинам право гражданства в наших обществах. Наконец, для большего развития светской жизни и вместе для сближения сословий, с переездом двора в Петербург, когда низложение врага сильного позволило ему вполне предаться занятиям мира, особенным указом (1714) постановил еженедельные собрания мужчин и женщин, известные под именем *ассамблей,* и для поддержания сего нововведения сам принимал в них деятельное участие. Двадцати четырем государственным сановникам предписано было иметь у себя раз в зиму ассамблею, то есть осветить и отопить, по крайней

мере, три комнаты, накормить и напоить гостей, иметь музыку для танцев и отдельный покой для слуг. Ассамблеи начинались с наступлением осени, оканчивались Великим постом. Посещали их дворяне обоего пола по указу, купцы и ремесленники по производству, под одним условием — быть порядочно одетыми; духовенство появлялось в ассамблеях в качестве зрителей, с правом не участвовать в забавах.

В один из первых дней сентября возвещено было жителям Петербурга барабанным боем и прибитыми к фонарным столбам объявлениями, что будет ассамблея у генерал-фельдмаршала князя Меншикова, которого собраниями начинались и оканчивались зимние увеселения столицы. Безыменный, освобожденный из-под ареста, получил от государя, вместе с правом восприять снова имя Горбунова, повеление явиться того вечера у князя. В шесть часов сел на ялик с Желтовым, оба без шпаг (для предупреждения дурных последствий от прилежного осушения бутылок строго было запрещено являться в ассамблеи при шпагах), и пустился ко дворцу Петрова любимца. Великолепно освещенная пристань, горевшие у крыльца смоляные бочки и яркие огни в окнах уже издали возвещали, что у князя собрание. Пажи у пристани, камер-юнкеры у крыльца, скороходы на ступеньках лестницы, камергеры наверху, в синих ливреях, улитых серебром, стояли для встречи царицы. У дверей находились два гайдука, великаны вершков в тринадцать, которым приказано было принимать всех и никого не выпускать прежде девяти часов. В приемной приехавшие друзья поспешили объявить имена свои полицейскому офицеру для избежания пени, коей подвергались пропускавшие ассамблею, если не оправдывали отсутствия достаточными причинами.

При входе в гостиные комнаты изумила Горбунова пышность, какой еще не встречал. Государь и весь двор жили чрезвычайно просто. Дворяне русские щеголяли столом, винами, лошадьми, псами. Князь же Александр Данилович стоял на том, чтоб во всем образе жизни сравняться с владетельными особами. Восемь больших покоев открыты были для посетителей. Везде штучные полы, гобеленовые или штофные обои, хрустальные люстры, бронза, мрамор, фарфор, венецианские зеркала, мебель, выписанная из-за границы. Комнаты были набиты людьми, но ни князь, ни княгиня не появля-

лись. Хозяева не заботились о гостях, гости о хозяевах. И те и другие заняты были своим делом. Хозяин угощал, потому что ему было повелено, и расточал великолепие в угодность государю и собственному тщеславию. Гости же, которым также приказано было веселиться, исполняли приказ с верноподданническим усердием и уж точно веселились от души. Основной закон ассамблеи — совершенная непринужденность. У каждой двери повешено было напоминание посетителям не чиниться, не беспокоить себя ни для какого лица, под опасением наказания осушить огромный кубок Большого Орла, который тут же под крышкой находился на мраморном пьедестале.

Горбунов изъявил желание обойти комнаты. Рука об руку два друга вошли в покой, назначенный для разговоров. Тут заметили Стефана Яворского, председателя Синода, первую духовную особу в России, являвшего в частной жизни строгое воздержание инока, фельдмаршалов Шереметева и Голицына, равно высоких доблестями воинскими и гражданскими, кои одни в этот пьющий век, когда не только у нас, но и при всех европейских дворах излишество в вине считалось если не добродетелью, по крайней мере не пороком, когда, по свидетельству современников[1], в Берлине, Лондоне, Париже, Варшаве королевские обеды не раз кончались вытаскиванием собеседников из-под столов,— одни, говорю, из обыкновенных посетителей бесед имели право отказываться от участия в попойках и освобождены были от наказания Большого Орла, которому подвергались сам царь, царица, все мужчины и замужние женщины, с тою разницею, что женский кубок был втрое менее против мужского: так справедливо, что истинное достоинство везде и всегда приобретает уважение! Далее являлись братья Долгорукие, князь Яков и Григорий, изумлявший парижан любезностью и образованием, Толстой и Шафиров, славные переговорами с Оттоманскою Портою, и, наконец, соперник последнего, засыпанный табаком, Анд. Ив. Остерман, обессмертивший себя договорами Нейштатским и Белградским, тогда еще мелкий чиновник, но уже уваженный за тонкий ум и многостороннее образование. Все, за исключением последнего, были пред-

---

[1] См.: журнал Берхгольца, Mèmoires de la P-sse Sophie de Prusse, Mèmoires sur la Règence и пр.

метом ненависти для хозяина, который ни в чем не терпел соперников, но ненависти тайной, потому что явная не смела обнаружиться при Петре. Перед ними стояли группами молодые люди, с благоговением слушая, с жадностью ловя из уст сих мужей доблестных уроки мудрости, которой живые примеры видели в их жизни,— обстоятельство, достойное замечания при малообразованности тогдашнего поколения.

Перешед в следующую комнату, друзья очутились будто в другом мире: шум, говор, крик, чоканье стаканов, где обнимаются, целуются, где спорят и мирятся за кубками. Совершенное равенство. Иные, кои до вступления в залы ассамблеи не смели взглянуть на соседей, тут словно свои; в рясах, в мундирах, в кафтанах, без различия чинов, званий, лет, без порядка, кто сидя выше, кто ниже, как кровные, как братья, с румяными от вина и веселости лицами — все пьют из одной круговой чаши. Полная свобода! Пир горой! Вино льется! Одно преступление — отставать от соседей. Тут Желтов указал Горбунову товарищей Петра в совете и веселии: знаменитого архиепископа новогородского Феофана, красноречивого оратора, глубокомысленного политика, историка и столь же усердного собеседника, затем Ягужинского, равно бесстрашного в Сенате и за чашей, далее князя-кесаря Ромодановского, в одном изменявшего старине, что предпочитал медам заморские вина, адмирала Апраксина, который со слезами радости осушал кубки, Ив. Ив. Бутурлина, получившего титул князя-папы за подвиги на пирах, и разгульных членов его общества.

Разительную противоположность представляла третья комната. На столах вместо вина — пиво и пунш. Осененные облаком, с глиняными трубками в зубах собеседники также пьют, но молча и отдыхая только, чтоб всасывать и выпускать из себя табачный дым.

— Здесь, брат,— сказал Желтов Горбунову,— муха пролетит, услышишь, а если кто и обмолвится, то, верно, не по-нашему.

Действительно, пировавшие тут были исключительно иностранцы: офицеры, служившие в нашей армии и флоте, шхипера, оставшиеся на зиму в Петербурге, иноземные купцы. Андрей заметил между ними герцога Голштейн-Готторского, перешептывавшегося с вице-адмиралом Крюйсом и не уступавшего в беседах ни одному из самых отчаянных наших весельчаков,

так что, по словам его камер-юнкера Берхгольца, никогда не выходил из беседы своими ногами.

Обозрев четвертую комнату, где в разных концах посетители то стучали шашками, то двигали безмолвно шахматами, и заметив тут особенный стол и поставленные подле с раззолоченным на спинке орлом кресла для государя, обыкновенно игравшего в шахматы с графиней Пушкиной, Горбунов перешел на половину дамскую. Вдоль по стене сидели длинным рядом матушки, напудренные, в кирасах и широких робронах, глядя на дочек и повторяя про себя последние два стиха молитвы Господней: *и не введи их во искушение, но избави от лукавого;* впереди дочки стояли строем, расчесанные, разряженные, перетянутые; против — молодые мужчины, также в строю. О разговорах с женщинами, этом обмене ума и любезности, который ныне составляет главное наслаждение в обращении с прекрасным полом, в то время не было и помину. Да и говорить было не о чем. «Грамота не женское дело»,— твердили старики. Иные девицы не только не читали, да и совсем не видали книг, разве в церкви, когда дьякон выносил из алтаря Евангелие. Пяльцы и одни пяльцы были их занятием, мастерство шить — лучшей похвалой. Притом умы находились тогда в каком-то ребячестве, которому ныне с трудом поверят. Герцогиня Мекленбург-Стрелицкая, царевна Екатерина Ивановна, сестра императрицы Анны, жившая в России после развода с мужем, женщина лет тридцати, нрава веселого, в пребывание двора в Москве в 1722 году принимала у себя, в селе Измайлове, раз в неделю дам и девиц. Чем же, думаете, они весь вечер занимались? Ни дать ни взять, играли с кошками. И это чрезвычайно их забавляло. «Не поверишь, мой свет,— писала царевна к графине Авд. Ив. Чернышевой,— как нам вчерась было весело; кошки смешили нас до упаду». А потому и в ассамблеях, до начатия танцев, только и дело было что глазели: мужчины глядели во все глаза на девиц, девицы украдкой на мужчин, и если встречались взорами, опускали, краснея, очи или закрывали платками лицо.

Горбунов и Желтов присоединились к толпе зрителей на сии живые картины, как вдруг внезапный блеск привлек их к окну. Великолепное представилось зрелище. Нева горела от разноцветных огней, коими освещены были буера, яхты, ялики, в стройном порядке

двигавшиеся от противоположного берега к пристани: подъезжал царский двор. Вскоре раздались трубные звуки, и вошел в покои Петр, ведя под руку Екатерину, а за ними блистательный, многолюдный послед мужчин и женщин. Горбунов с удивлением взирал на величественную красоту русской царицы, ее высокий рост, казавшийся еще выше от длинных темно-русых волос, зачесанных по тогдашнему обычаю вверх, ее широкое чело, большие темно-голубые глаза, лицо чистое, покрытое румянцем стран полуденных, стройный стан и гордую поступь. Подле находились великие княжны: Елисавета, незадолго покинувшая крылышки[1], поразила его с первого взгляда: ее мягкие как шелк, спускавшиеся до плеч локоны, большие голубые глаза, дышавшие негой, ослепительная белизна шеи и рук, полная грудь — останавливали самого равнодушного зрителя. Наружность Анны не имела ничего блестящего, отличного, но в чертах, во взорах, во всех движениях сияла душа чистая, нежная, исполненная любви ко всему окружающему. Желтов указал между прочим другу княжон Марию Александровну Меншикову и Катерину Алексеевну Долгорукую, кои потом обе, жертвы отцовского властолюбия, отторженные от женихов, чтоб одна за другой быть обрученными одному императору, кончили дни невестами-вдовами в заточении, графиню Нат. Бор. Шереметеву, последовавшую за женихом в ледяные дебри Сибири, графиню Матвееву, тогда невесту А. И. Румянцева, отца знаменитого фельдмаршала, и славных в то время любезностью графинь Головкиных и княжну Черкасскую.

Появление великих княжон оживило немую картину, какую являли покои, занимаемые прекрасным полом. Их снисходительное, милостивое обращение со всеми, без различия званий, и свобода с мужчинами служили образцом для фрейлин. Сии последние имели уже своих угодников: в числе роившихся кругом молодых людей проявлялись известные заслугами и саном в последующее время — Ив. Ив. Неплюев, славный посольством в Турцию и особенно управлением Оренбургского края, С. Ф. Апраксин, П. С. Салтыков и, тогда из первых красавцев, А. Б. Бутурлин, предводи-

[1] Автор позволил себе несколько подвинуть эпоху совершеннолетия великой княжны Елисаветы, государь Петр I обрезал ей крылышки в день торжества о заключении Ништатского мира, 21 ноября 1721 г.

тельствовавшие в Семилетнюю войну нашими армиями; наконец, знаменитый Миних, в то время еще генерал-майор, который со всею германскою неловкостью был самым страстным воздыхателем женского пола и сохранил сию слабость до преклонной старости, так что по возвращении из Сибири, утружденный летами и недугом, писал еще любовные письма к молодым графиням С. и В., составлявшим украшение двора императрицы Екатерины II. Впрочем, и сия угодливость была совсем не то, что ныне. В движениях самый церемонный этикет, в словах все изысканные выражения осмеянных Мольером умников de l'hôtel Rambouillet, не подходили без многократных поклонов, в танцах едва прикасались к пальцам дамы: какая непринужденность между мужчинами, такое жеманство в обращении с женщинами.

Обыкновенно по прибытии государыни начинались танцы, но тут медлили, потому что не было души собрания, того, по мановению коего оно двигалось. Петр, имевший обычай со вступлением в ассамблею тотчас обойти всех посетителей, прошел прямо в кабинет, повелев следовать за собою хозяину, который, привыкнув читать на лице государевом происходившее в его душе, с трепетом ожидал последствий свидания.

— Данилыч! Долго ли ты будешь играть моим терпением? — строго спросил царь, садясь в кресла.— Что у тебя за дело с Горбуновым?

— Никакого, государь! — ответствовал князь.— Я хотел купить у его дяди имение, но старик отказывался от продажи. По его смерти обратился к наследнику, а этот молокосос, невзирая на мои выгодные условия...

— И потому,— прервал Петр,— что этот молокосос, как ты его зовешь, не хотел удовлетворить твоей прихоти, ты решил злодейским умыслом лишить его собственности?

— Злодейским умыслом? — с изумлением возразил князь.

— Данилыч! — продолжал царь, не замечая восклицания.— Пока ты довольствовался похищением государственной казны, я, памятуя твои заслуги и, может быть, по слабости к тебе, чтоб не срамить тебя, разделывался с тобой по-домашнему и довольствовался наказанием тебя денежной пени, иногда же пополнял ущерб из своих доходов. Но если, издеваясь моим спи-

схождением, ты употребляешь свое могущество на угнетение беззащитных, если для достижения своих замыслов прибегаешь к подлогам, поджогам, убийству и прикрываешь сии преступные козни предлогом государственного интереса, Данилыч,— промолвил Петр, возвысив голос,— я, Божий слуга, отмститель в гнев творящему злое, поставлен на то, чтоб карать преступление. Слезы невинно терпящих вопят на меня к Богу, и тяжко мне придется отвечать за них, если не исполню долга. А ты лучше другого ведаешь, что я умею его выполнить.

— Государь! — отвечал князь.— Ваше величество изволите упоминать о подлоге, зажигательствах, убийстве, о коих я не имею понятия. Поверенный мой, Белозубов, писал ко мне, что бежавший из дома Горбуновых подьячий Терентьев открыл ему, будто наследник Бердыша подкидыш, а следовательно, владеет имением незаконно, и просил моего согласия повести о том дело у новгородского воеводы. Я соизволил, но что тут были злоумышление, козни — того не ведал и не ведаю.

Петр не спускал с князя очей.

— Верю словам твоим, еще более лицу,— сказал он наконец,— но не менее стыда тебе иметь клевретов, способных на такие злодеяния. Не погневайся! Я повелел Белозубова, Терентьева и Фролова предать суду. И горе тебе, если окажется, что ты тут сколько-нибудь замешан.— Потом, встав, промолвил уходя: — Я приказал Горбунову быть сегодня здесь, хочу, чтоб ты перед ним извинился.

Едва лишь государь воротился в собрание, подали знак к танцам. В ассамблеях перед начатием бала хозяин подносил даме по выбору бронзовый, вызолоченный жезл, наподобие кадуцея, и перчатку в знак державства, как бы давая знать, что в светской жизни господство принадлежит женщинам. Дама, принимавшая затем название *царицы бала,* подзывала любого мужчину, заставляла его стать на колени и, посвятив в маршалы бала, по примеру древних рыцарей — приложением двух пальцев к его щеке, передавала ему с кадуцеем свою власть. Обязанность маршала была исполнять безропотно все, самые прихотливые повеления своей дамы и по ее наставлениям распоряжаться балом. В сей вечер князь Меншиков подошел к Екатерине и на коленях поднес ей знаки власти над собра-

нием. Когда хотел встать, государыня, оставив его, молвила:

— Позвольте, князь! Я намерена избрать вас в маршалы и по праву господства моего над вами хочу, чтоб вы исполнили требование, которого, верно, не ожидаете.

— Ваше величество! — возразил князь.— Для сего не нужно мне маршальского жезла. Я раб ваш, и ваша воля была и будет мне всегда непреложным законом.

— К вам недавно поступила фрейлина, не помню, как ее зовут, спросите о том у княгини Марии Андреевны. Я принимаю ее под свое покровительство. Употребите свое влияние, дабы ее не выдавали замуж против желания.

— Государыня! — ответствовал князь.— В угодность вам я сделаю более: и, если ваше величество повелите, я постараюсь соединить ее с предметом ее любви. Дворянство бывшего ее жениха доказано, и ничего не мешает их союзу.

— Вы мне доставите этим удовольствие,— сказала царица.

Между тем как судьба таким образом без ведома Андрея готовилась вдруг вознаградить его за все напасти, сам он с любопытством смотрел на мелькавших перед ним танцовщиков. Восхитила его прелесть, с какою двигалась в менуэте великая княжна Елисавета, ловкость в контрдансе графинь Головкиных, первых танцовщиц после великой княжны, умилило снисхождение царя, который то участвовал в пляске, то, положив одну ногу на другую, с трубкою в зубах беседовал за одним столом с архиереями о богословии или с иноземными мореходами об опасностях их плавания, то, наконец, вместе с пировавшими пил из круговой чаши. Но всего более поразил его танец, изобретенный Петром, трогательное доказательство благодушия царева и его желания видеть на всех лицах веселость. Это был род нашего гросфатера. При играпии похоронного марша от шестидесяти до ста пар двигались погребальным шествием; вдруг, по движению маршальского жезла, музыка переходит в веселую, дамы покидают своих кавалеров и берут новых между нетанцующими, кавалеры ловят дам или ищут других, от этого кутерьма ужасная, толкотня, беготня, молодые танцовщицы хватают стариков, молодые мужчины тащат старух, те отказываются, отбиваются, шум, крик, все собрание,

тысяча или полторы тысячи человек, поднято, словно играют в жмурки. И заметьте, Петр, Екатерина, вся царская фамилия тут же: за ними бегают, гонятся, сами они ловят, безо всякого от других отличия, словно в своем семействе. Наконец, новое движение жезла: все приходит опять в прежний порядок, и те, кои остаются без дам или кавалеров, осушают кубки *Большого* или *Малого Орла,* единственное наказание за все проступки в ассамблее.

Андрей едва оправился от суматохи, в которой волей-неволей принужден был принять участие, увидел перед собою того, кого почитал главным себе врагом.

— Господин Горбунов! — молвил князь Александр Данилович.— Мне весьма больно было узнать о неприятном деле, какое навязали вам, и еще более, что при этом употребили во зло мое имя. Уверяю вас честью, что все против вас злоухитрения и козни, на какие дерзнул поверенный мой Белозубов, чинились без моего ведома и воли. Чтоб доказать, что не питаю к вам неприязни, предлагаю вам свою дружбу (тут князь протянул руку) и постараюсь явить ее на деле. Не угодно ли вам перейти со мною в боковую комнату?

Андрей в изумлении последовал за князем. Вдруг раздалось: «Андрюша! Мой Андрюша!» — и Варвара очутилась в его объятиях.

ПРИПИСКА ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ

Два месяца спустя после сей нежданной и счастливой встречи обрученных, в два часа пополудни, несколько дрог четвернями, нагруженных сундуками, заказною в Петербурге мебелью орехового дерева, всем, что новобрачная приносит в дом супруга, покрытых богатыми персидскими коврами, медленно потянулись из села Евсеевского в село Воздвиженское. Впереди в карете веером, расписанной золотыми и серебряными городками в виде шахматной доски, покидавшей сарай только при торжественных случаях, гордая как пава, пышная как маков цвет, Ивановна в высоком чепчике, который принуждена была надеть со вступлением в дом князя Александра Даниловича и потом уже не снимала, и богатой штофной телогрее, открывала шествие цугом убранных перьями коней. Рослые слуги позади и вершники по сторонам умножали пышность

поезда. Едва он показался в виду ярко освещенного дома Горбуновых, Андрей, испросивший дозволение уехать из Петербурга для женитьбы вместе с Желтовым, который также взял отпуск, чтоб быть шафером у своего приятеля, вышли на крыльцо встретить дорогую гостью. После первых приветствий, когда няня Ивановна заняла половину дома, назначенную для будущей владычицы села Воздвиженского с деревнями, и жених вместе с другом отправились к нареченному тестю благодарить за приданое, Николай Федоров, род первого министра у молодого барина, дворецкий Илья Иванов, малорослый, дородный, плешивый мужчина, и ключница Анна Васильевна, которую в силу сего звания и потому, что, по догадкам, пользовалась особенным благоволением покойного Бердыша, прочие слуги честили Анной Васильевной, как некогда наших бояр — с «вичем»,— все, с детства кормившиеся от подачек господского стола и составлявшие высшую аристократию в многолюдной дворне Горбуновых, следуя приказу барина, угостили роскошным ужином нового товарища. Когда блюда одно за другим были разнесены между собеседниками и сладкое вино развязало языки:

— Слава тебе, Господи! — воскликнула Ивановна.— Наконец привел Бог дождаться. Прошел бы завтрашний день благополучно, а там и дело с концом.

— Уж тут далеко ли? — молвила Анна Васильевна.— Жаль только, что отец Григорий изнемогает. Уж куда как ему хотелось обвести молодых кругом налоя. Да больно стар, сердечный! С постели, вишь, подняться не может.

— Я чай, Маланья Ивановна, Варвара-то Лукинишна рада,— промолвил дворецкий.

— И, батюшка! — отвечала няня.— От радости света Божьего невзвидит. И здоровье, и веселье, все мигом прикатило! Глядит как наливное яблочко! А то, бывало, не дай Бог и ворогу, только и ведала, что горе, особенно в Санкт-Петербурхе, словно свечка истаяла, иссохла как лучинка. И день и ночь то и дело, что тоскует. Слез нет, а только что вздыхает, да так тяжело, что не приведи Господь! Уж я, ах ты, Владыка Небесный, и молитвы над ней творила, и сама плакать, и ей-то говорю: «Полно тебе, свет мой, кручиниться, Господь милостив, не оставит тебя горемычной, не убивай себя и нас». Нет! Что прикажешь делать? Все грустит. А пуще всего, коли заговоришь о Белозубове.

Да и он, душегубец, прикинулся влюбленным и ну свататься! А ей это пуще, чем нож в сердце.

— Мало того,— подхватила Анна Васильевна,— Андрей Александрыч чуть со двора, а он на двор. Прикатил сюда в Воздвиженское да и распоряжается, словно своим добром.

— Далеко кулику до петрова дня,— прервал дворецкий.— Каково-то им всем теперь распоряжаться на каторге в Рогвихе, что ли?

— Да и поделом их! — молвил Николай Федоров.— Слыханное ли дело, пуститься на такое беззаконие!

— Мне жаль дочки Тихоновой,— сказала тут няня.— Она, бают, ни про что не ведала. Ан теперь без мужа, чай, горемычная, по миру пойдет.

— Не тревожьтесь, Маланья Ивановна! — отвечал дядька.— У нашего барина душа христианская: приказал отвести ей двор и пожаловал месячную дачу.

— Куда какой добрый! — промолвила няня.— Дай Бог ему много лет здравствовать!

Тут Илья Иванов велел подать из поставца большую заздравную чашу, наполнил ее и, громко произнесши: «Здравие и многолетие нашему барину и барыне! Пошли им, Господи, много чад и домочадцев! Да здравствуют на многие лета!» — осушил ее до дна.

Собеседники почли долгом, повторив тост, последовать примеру. Между тем пробило восемь часов. Николай Федоров, не без основания почитавший себя старшим и в постоянную бытность при господах получивший понятия о светскости, подал руку няне, для которой после дневных трудов и веселого ужина сия подпора не была лишней, и, в сопровождении собеседников, доведши новую гостью до вверенной ее надзору половины, пожелал ей доброй ночи.

— Покорно благодарим-с! — отвечала Ивановна.— Прощенья просим-с, Николай Федорыч, Илья Иваныч, Анна Васильевна.

Прощенья просим, господа читатели!

1832

А. П. Башуцкий

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕНЬ В 1723 ГОДУ

Солнце ярко горело на небе, но туман, едва отделившийся от сырой земли, перенимал желтые его лучи и еще задергивал острые верхи черепичных крыш. Коровы бродили около домов, громко мыча; они жадно ели свежую траву, пробивавшуюся по сторонам улиц, где не было мостовой; петухи смелым криком только что возвещали утро, а город, казалось, весь уже был жизнь и движение. Петербург в то время просыпался очень рано.

Вниз по Неве плыли к Адмиралтейству от Смольного двора лодки, тяжело нагруженные бочками, снастями, лесом; в домах и дворах заметна была чрезвычайная хлопотливость; у богатых палат стояли огромные фигурные коляски, кареты, запряженные цугами разодетых в пеструю сбрую коней, или пышно оседланные лошади; в других местах, как ягодки, рисовались на зелени садов красные одноколки; из всех домов выходили люди разного звания и вида, кто в богатом, кто в бедном, но все в чистом наряде; одни спешили к церквам, другие к Неве, левый берег которой осыпан был народом; на самой реке множество судов разной величины беспрерывно стремились со всех сторон к крепости. Против австерии Меншикова отдельно стояли принадлежавшие вельможам буеры и шлюбки, убранные бархатом и тканьями ярких цветов, а в воздухе между тем гудел, не умолкая, оглушительный звон колоколов; в смутном шуме их два голоса, с двух противоположных концов города раздававшиеся, владычествовали и покрывали другие: один своими важными, громкими, мерными, как пушечные выстрелы, ударами; другой резким и пронзительным звуком, долго трепетавшим в пространстве. Народу, видно, особенно знакомы были эти голоса, ибо при каждом ударе в толпах слышалось какое-либо приветствие: «Славно!», «Ай да Иверский-Валдайский!», «Речист, родимой — словно гром» или

«Не вырос еще бедняга Немец!» «Куда те, пискун свейской, тянуться за нашим русским богатырем» и т. п.[1] Около *Летнего дома* солдаты и служители дворцовые под распоряжением собственных государевых денщиков выметали в саду аллеи, ставили скамьи, покрывали длинные столы; словом, видно было, что город с утра готовился к празднику.

На берегу Фонтанной реки находился в то время в широком дворе барский дом, изукрашенный фигурными, тонкими колоннами на тощих базах. С шестиступенной наружной лестницы дома сошли два человека: один в зеленом чекмене с серебряными нашивками, в цветных сапогах казацких, алых шароварах и четырехугольной шапке, опушенной узеньким соболем; другой, мужчина среднего роста, худенький, с острым носиком, маленькими живыми глазами, в плаще пыльного цвета, из-под которого по временам выказывалось немецкое, или, как называли тогда, *саксонское* платье. Он перекрестился, надел низенькую треугольную шляпу и, своротив налево со двора, пошел с товарищем мимо *Форштата*, или *Русской слободы*, вдоль берега, который против домов укреплен уже был длинными сваями, в других же местах неровным, извилистым откосом спускался к реке. Дошед до первого моста, они взошли на оный. В это время где-то пробило шесть часов.

— Какова потеха! — сказал человек в чекмене.— Колокола воют так, что и часов я сосчитать не успел!

Человек в плаще, вынув огромные серебряные часы из камзола, показал их товарищу.

— Черт ли разберет это!

— Стыдно! Княжой конюший, а различить не можешь часов. Вот то-то, брат Ермолай Андреянович, я говорил тебе: ученье — свет, а неученье — тьма. Шесть било.

— Раненько же.

— Для тунеядцев, как мы с тобою. А государь Великий часа три уже трудится для нас, недостойных. Нет ему праздника: народ гуляет, а он с трех часов утра за работой, да и спит-то одним глазом, дай ему Бог многие лета,— тут он снял шляпу и набожно перекрестился.

---

[1] Один из колоколов, в 800 пудов, привезен был из Иверско-Валдайского монастыря и повешен в Александро-Невском; второй, находившийся в Троицкой церкви, взят в Або.

Так разговаривая, они взошли на длинную гать, проложенную через топкое пространство новой Невской *перспективы*, занимавшее почти всю средину между Мьей и Фонтанной рекою. За деревьями, посаженными на обеих сторонах улицы, местами стояли широкие, болотные лужи, между их навалены были груды булыжнику, песку, фашин, строевого лесу, глины и черепицы. Правая сторона *перспективы* была вовсе без строений; на левой и к сторонам рек о коих мы упомянули, подымались несколько домов и выказывались из земли фундаменты, да там и сям стояли разбросанные на пустом пространстве мазаночные избы. Рабочий народ, покидая занятия, спешил к Адмиралтейству.

— Взгляни,— сказал человек в плаще,— взгляни на это место: таким видел я весь Петербург! Вот, Ермолай Андреянович, что значит сила высокого разума и могучей воли! Знаешь ли, что со временем имеет быть на местах сих?

— Вонючее болото и кочки! Э! Что ты ни толкуй, ученый графский секретарь, а Питер ваш лужа лужею; богат, как говорили старики наши, *только слезами*. Народ морить да деньги губить на этом пустыре! То ли дело Москва белокаменная? Уж подлинно променяли вы кукушку на ястреба.

— Глаголы безумия,— сказал секретарь, пожимая плечами.— Прости им, Господи, не ведают бо, что...

— Да как же не говорить этого, Федорович, когда бояре и народ все то же ноют и в Москве и по целой Руси?

— Все? Нет, не все, слава Богу! Дворянин ты, Ермолай Андреянович, благорожденный, сердцу больно. Ум имеешь зело изрядный, душу, способную на все хорошее... а тратишь молодые лета свои в темной жизни, пристойной точию одной черни.

— Какой чудак! Что ж худого в том, чтоб жить, как деды и отцы живали?

— Напротив, много в том хорошего, да все ли вы полно от отцов и дедов переняли? Разве водились они только с жеребцами, псами и кречетами? Не гневи Бога, знал я покойного Андреяна Никоновича: был человек полезный, понеже с достатком, умен и учен был для своего времени, а в наше и вящее смышление потребно. Не одни мы живем, дружище, на земле; не только то свету, что в окошке. Ну! Да оставим это, говорено было

и будет еще с тобою о многом. Вспомни-ка лучше об невесте и размысли о своих обещаниях.

— Мне ли не помнить об ней! Она моя жизнь!

— То-то же, а хорошо ли, что и она, еще малоученая, как все наши барышни, может знаньем своим устыдить тебя, мужчину, на каждом слове? Любовь любовью, да и ум нужен про всякую пору; от него в семье хлеб и уваженье; а уваженье — трость, говорил покойный граф, любовь на нее опирается. Молодцев, как ты, найдется довольно; что же будет, если речи людские, речи жены твоей останутся для тебя китайскою грамотою? Стыд да и только: ни самому себе, ни другим от тебя не будет пользы. Верь, приятель, коли не станет уважать тебя жена, так не за что и любить ей такого мужа, каких сыщешь на каждой боярской конюшне!

— Ну добро, полно, Федорович, уж обещано, сказал я, что для Ольги сделаю все на свете, буду учиться с утра до ночи; знаю, что трудно...

— Где труд, там и польза! Его величество,— тут секретарь снова снял шляпу,— не только умом и духом, да и руками тяжко работал, более всякого раба своего. «Трудиться надлежит,— говорил он Ивану Ивановичу Неплюеву.— Я и царь ваш, а у меня на руках мозоли; все это для того, чтобы показать пример другим».

— Сказано, сказано! Буду трудиться, лишь бы Ольга любила меня, лишь бы я мог быть полезен родине, которую люблю, как Ольгу. За них, клянусь тебе, я готов положить живот. Потому-то и смущает меня все иноземное, ваши наряды, да вычуры, да ваши...

— Э! Дитя! Дитя глупенькое, прости мне слово! Да разве любить родину нельзя в длиннополом кафтане, без бороды, в парике? Разве Шереметев, Меншиков, Апраксин не лили за нее кровь, не били наголову тех, от которых переняли наряд свой, от которых научились многому и хорошему?

— Но коли все равно, так зачем же покидать житье наше старое и кафтан и бороду?

— Конечно, не нужно бы было для многих, а для многих зело потребно! Сказал бы тебе!.. Да... видишь... молод ты больно: борода и чекмень твой, Ермолай Андреянович, словно кляпыш, к которому ты пристегнут, как лихой кречет, крепко-накрепко; спусти с него птицу—полетит в поднебесье, подымется до солнца и взглянет на него, и увидит сверху, чего и не видала, сидя на кляпыше, и не устоит против его груди никакая пер-

натая, что, бывало, нахально ругалась, кружась над его головою. Имеяй уши слышати, да слышит. Вот до времени, а там собственною рефлекцией поймешь более!

— Понимаю речи твои; готов на все. Желаю, хочу учиться, хочу, чтоб был во мне прок и польза, а бороды, кафтана не сниму! Ей же богу не будет этого!

— Не говори, голова, будет!

— Ни! Вовеки!

— Будет, говорю я, и скоро!

— Э! Да что спорить! — отвечал Ермолай с сердцем.— Не сделаю этой глупости.

— Вот так-то? Мудрецы вы, мудрецы! Не тот глуп, Ермолаюшка, кому случится на веку сделать глупость, а глуп тот, кому глупость людская не придает ума.

Между тем они перешли за Мойку. Путь по улице, еще не застроенной и малообитаемой, был скучен по причине грязи; но тут стечение народа, возов с овощами, горшками, деревянною посудою и другими домашними потребностями, торопившихся к близлежащему рынку и опережавших друг друга, делали дорогу совершенно непроходимою. Пешеходы ежеминутно подвергались опасности быть опрокинутыми в тесноте. Монахи нового Александро-Невского монастыря, сопровождавшие архимандрита своего Феодосия Яновского, ехавшего в тяжелом рыдване, верхом на тощих лошаденках, подобрав на седла рясы, с криком пробивались сквозь серую толпу, почтительно снимавшую шапки, и вымещали без разбора на спинах, носивших кафтаны и армяки, неудовольствие свое ударами тяжелых нагаек. Это еще увеличивало беспорядок, крик и толкотню. Словом, у въезда на большой луг к Адмиралтейству народ так теснился, что два наши путешественника, замученные трудным переходом и решительно не имевшие возможности пробиться далее, решились остановиться для отдыха.

Это место было довольно безобразно. На нем возвышалось несколько изб. Странно, ибо пункт составлял средину двух заселенных и хорошо обстроенных частей Адмиралтейского острова, который со дня на день украшался, в то время как первенец его, Петербургский остров, если не пустел, то приобретал мало новых жителей. Вправо отсюда лежал путь мимо *Адмиралтейской крепости* к домам государевым: Зимнему и Летнему, к иноверческим киркам, рынку и барским палатам, а далее, за Фонтанной рекою к бывшей *Русской*

слободе (Литейной части), многолюдной и хорошо обстроенной[1]. Влево были расположены между Невою и Мьею слободы: Адмиралтейская и Немецкая с чистыми домами, ниже, между Мьею и ручьем, обратившимся впоследствии в канал, и даже по левому берегу Фонтанной речки, были разбросаны летние барские домы; наконец, прямо находились: Адмиралтейство, невский берег и перевоз на Васильевский и Петербургский острова.

Изобразив подробно положение пункта, на котором движение народа остановило двух наших пешеходов, мы спрашиваем читателя: почему на том прекрасном месте не выстроили дворца или барских палат, а поставили простые избы? Потому, что промышленная сметливость в 1723 году была нисколько не глупее нынешней: она привела в известность все разряды жителей различных частей города, сообразила их взаимные отношения, исчислила пути, соединявшие слободы, помножила все эти данные летними жарами, осеннею сыростью, зимними морозами; приложила к произведению жажду, сродную каждому здоровому русскому или немецкому человеку, и результат показал ей ясно, что тут именно, а не в другом каком-либо месте, надлежало выстроить *кабаки*. Сообразительность нашего века вследствие подобной, но еще аккуратнейшей выкладки, поставила здесь трактиры, домы для приезжающих и магазины.

Под широким навесом одного, и самого обширного из кабаков пешеходы наши сели на деревянную скамью, приставленную к резным перилам, коими загорожены были промежутки четырех столбов с нарезками, похожих на столбики птичьих клеток и составлявших портик храма. Над низкою дверью избы, на стороне, обращенной к Адмиралтейству, висела черная доска, на которой красовался тощий двуглавый орел в железном круге. Он был намалеван столь отчетисто, что каждый посетитель мог сосчитать без труда все перья его крыльев, которыми он осенял белую на черной доске надпись: «Казенной питийнай вольнай дом».

Буквы надписи, казалось, только что вышли из дому, ими украшенного: они цеплялись в заманчивом беспо-

---

[1] Она составляла треугольник, коего боками были: часть Фонтанки от нынешнего Аничкова моста до Невы, часть Невы от истока Фонтанки до Смольного двора и линия, которую можно было бы протянуть мысленно от сей точки до Аничкова моста.

рядке и, со своенравною дружбой обнимая одна другую позволяли зрителям предвкушать то блаженное положение, в котором многие из них долженствовали быть по выходе из сего храма радости.

Здесь был совершенный хаос: несмотря на ранний час дня двери ломились от посетителей. Довольно просторный дом Гурьяныча, отставного преображенского унтер-офицера, вошедшего в права содержателя *питейной избы* за усердную службу по отобрании прав сих от жидов, которые сделали себе из оного монополию, кабак Гурьяныча, говорим мы без метафор, внутри был набит, а снаружи облеплен народом.

Купчины, адмиралтейские служители, люди в армяках, немецких платьях, длиннополых кафтанах, без бород и с бородами, чухны, плотники, денщики, бабы-стряпухи, со всех сторон проходившие мимо этого места для закупки на рынке жизненных припасов; все заходило или забегало в славную *вольную избу*, одни за тем, чтоб потолковать, другие, чтоб послушать, и все почти затем, чтоб продраться до обетованного поставца, где израненный герой Нейшанца и Полтавы Гурьяныч за медную деньгу наливал прихожанам большую чару зеленой амврозии, порой подслащивая приятную горечь вина ласковым словцом, рассказом о любопытной старине или о важной новости, порой воздерживая огромным кулаком своим рьяное нетерпение горячих обожателей благодатного напитка.

Человек в плаще сел и, устремив на присутствовавших серенькие глаза, с особенным вниманием вслушивался в речи. Ермолай (так звали конюшего князя-кесаря Ромодановского) хотел было завернуть в избу, но, одумавшись, остался. Он поплевал на руку, вычистил ею полы чекменя, опустил шаровары, которые, для сохранения от грязи, были осторожно подобраны в голенища сапогов, потом погладил правою рукой усы, а левою несколько приподнимая богатую свою шапку, важно подошел к людям шумно толковавшим близ угла избы, и приветствовал разговаривавших следующею речью:

— Добрый день, честные люди!

— Добра и здоровья желаем! — отвечали ему.

Лице княжеского конюшего в пестрой и довольно грязной толпе, окружавшей кабак, было явлением чрезвычайно важным; шапки невольно снялись, сперва с тех, кто находился близ Ермолая и видел его, а после

и с отдаленных людей, видевших только, что впереди их были головы без шапок; многие рты затворились из уважения.

— Что нового? Не к празднику ли изволите? — спросил Ермолай.

— Вестимо, милостивец, как не помолиться да не полюбоваться на великого государя императора? Дай Бог ему новорожденному здравствовать!

— Дай Бог! Да и новости, сказывают, будут!

— Слышали мы, слышали! — раздалось в толпе. Одни кричали, что на Троицкой площади царь будет сам говорить речь и объявит о милостях народу. Другие утверждали, что приказано раздавать после обедни деньги; некоторые говорили, что в комендантском доме станут даром показывать нового зверя; третьи толковали о повелении, которым позволено всем носить попрежнему бороды и кафтаны; словом, каждый объявлял свою весть, утверждая, что она справедливее прочих. Шум был общий, когда в толпе громко прохрипел чей-то голос: «Все это пустяки, а вот что верно: Питер уступают шведам, народ же гонят под Москву! Да и слава Богу. Давно бы пора!»

Все вдруг замолчали; какое-то недоуменье выразилось на лицах; в это время здоровый гарнизонный капрал, растолкав стоявших около Ермолая, врезался в толпу.

— Питер уступают шведам? — спросил он твердо, покручивая ус и поглядывая кругом себя.— Чтоб отсох язык у бездельника, кто это выдумал! Не видать шведам Питера, как ушей своих, слышите ли! Питер шведам? Когда мы без мала не забрали всей их землишки, разбили все войско и чуть не полонили самого короля! Или мало, что ли, мы пролили крови? Или не мил уже государю Питер? Или не мил нам государь, что ли? А?

— Нам ли не любить Питера, Христос с вами, кавалер,— сказал, крестясь и поплевывая, купец с окладистою бородкою.— Наше место свято. Трудно было сначала в новом городе, зато, милостию Бога и государя, мы нажились и обжились в нем на прок и веселье. Нам ли не любить Питера: здесь в двадцать лет Бог даровал нам жен, детей и прибыток, и счастье, и славу. Кого не взыскал и не обласкал здесь государь наш милостивый? — продолжал купец, обращаясь к слушавшим его.— Он сам не раз крестил у меня.

— Он кушал у нас хлеба-соли,— закричали другие.

— И у нас, и у нас!.. Он выдал замуж мою дочь...
— ...Был на похоронах моего сына за службу его!
— ...Он изволил плясать на моей свадьбе!..
— Дай Бог ему, отцу нашему, здравствовать!
— Ношу бороду,— продолжал купец,— и по указу царя плачу за нее откуп, потому только, что седа борода моя, а как бы моложе был, выбрил бы, как выбрил ее сыновьям. За Питер лягу костями.
— Да кто же,— закричал капрал,— кто смел врать здесь этот вздор!
— Кто? Ну, известно, дурные. Забыли мы, видно,— сказал матрос,— речь, сказанную государем, как привели сюда свейского пленного Шубинахта!
— Шубинахта? А что это, отец? — спросили с любопытством стоявшие возле.
— Мудрящие головы, и этого не смыслите! Так называют по-ихнему на флоте начальников.
— Так-с! И наш-то батюшка не так же ли на флоте-то величался?
— Ну, конечно, так,— подхватил Ермолай с громким хохотом.— Конечно, так. Было бы только немецкое имя, а уж по сердцу придется! Вишь вы бедные, совсем онемечились!
В толпе опять сделалось какое-то печальное молчание. Ермолаю не смели явно противоречить, ни делать замечаний. Многие, искоса посмотрев на него, отделились от конюшего, как люди, испуганные внезапным появлением змеи; другие напротив подошли к нему и в то время как флотский служитель с жаром рассказывал что-то отдельной толпе, в которой он сделался центром, к Ермолаю подошел человек, обритый, довольно неловко одетый в немецкое платье.
— Видна птица по полету,— сказал он, низко кланяясь.— Нетрудно и по одеже и по речам узнать, что ваша милость из дому князя-кесаря. Каков поп, таков и приход. То-то прямой русский боярин, братцы.
— Подлинно так,— повторили некоторые из близстоящих.
— Нет у князя в палатах,— продолжал купец громко,— бусурманских обычаев, все ведется по старине родимой...
— Да уж и то правда,— сказал кто-то,— что от нового житья подчас тошно нам приходится.
— Не так чтоб тошно, а больно,— подхватил Ермолай важно.— Или не жили мы прежде без немцев на

Руси православной? Немец в чести и при деньгах, немцу и палка в руки, и ваш брат только ломайся на немецкий лад да гни пред немцем спину; так и берет за живое, глядя на этих проклятых!

— Правда, господин! Правда! — повторили несколько голосов.— Все по-бусурмански, легко ли дело, брей бороду, не подбивай гвоздями сапоги, тки широкие полотна, что с веку не слыхать было, оставляй родимый дом да строй по *новому маниру* избу на этом болоте, чертям бы жить тут, прости Господи! Все худо, и земля-то сама как заколдованная ничего не родит.

— А разве худы,— сказал какой-то весельчак,— немецкие *огненные потехи!*

— Смейтесь! Вот ужо будет вам потеха,— проревел полупьяный мужик с длинной рыжей бородою.— Будет вам потеха.

Все к нему оборотились.

— Помните ту старую ольху, что стояла у пристани возле Троицы?

— Помним!

— Знаете ли, зачем срубили ее?

— Не слыхали! — кричали одни.

— Знаем, знаем! — говорили другие.

— То-то же! Предсказано смышлеными, да и отыскано в книгах церковных, что в этом году о сентябрь, к зачатию Предтечи, с моря опять нахлынет вода, всех бывалых вод выше, вплоть до маковки старой ольхи, изведет весь народ, отпавший от православия, весь город затопит! [1]

Толпа зашумела.

— Беда, беда! — кричали многие.

— Врет он, не раз слышали мы эти сказки,— говорили другие,— отведем его в Канцелярию к Антону Мануиловичу [2].

---

[1] В 1720 году в народе распущено было пророчество, что в сентябре вода, нахлынув с моря, подымется выше старой ольхи, стоявшей подле крепости. Многие из встревоженных жителей спешили заблаговременно искать спасения на возвышенных около Петербурга местах. Царь повелел срубить ольху и, когда виноватый был отыскан, заключить его в крепость. В *назначенный* для наводнения день пророк был строго наказан, а жителям, собранным на месте, где стояла ольха, подтверждено, чтоб впредь не верили нелепым выдумкам.

[2] Граф Антон Емануилович Дивиер, первый С.-Петербургский генерал-полицеймейстер.

— Что шумите? — продолжал смело мужик.— Уж и Писанию не верите, что ли, нехристи? Недаром в поганом вашем городе Госпожа Богородица не хотела принимать молитв ваших, и слезно сударыня плакалась, завсегда, как начнут в Троицкой обедню, да поставит кто из вас к лику ее свечу [1].

Секретарь знал народ. Боясь последствий, он не мог долее быть спокойным: подойдя к мужику, он выхватил у него из-под руки шапку и показал ее народу.

— Видите! Желтый козырь! Да здесь же спрятан и красный лоскут, споротый со спины! [2]

— Раскольник! Раскольник! — раздалось в толпе.

— Вздор затеял ты, рыжий,— продолжал секретарь.— Знаем мы вас, мошенники: пить, грабить да народ мутить — вот ваша работа. Не по плечу выбрал себе дело. Взгляни-ка, тут у каждого в мизинце ума более, чем во всех ваших буйных головах вместе! Так ли, други?

В толпе послышался одобрительный ропот.

— Видели они все икону. Царь сам показывал народу этот злобный обман ваш. Видели они все, что в доске были проделаны ямки за самыми глазами, куда вкладывали застылого масла. Вот так-то вы над людьми и над Богом ругаетесь!

— Не верьте, не верьте! — кричал раскольник, вырываясь из рук секретаря и сержанта, схватившего его тоже за ворот.— Зачем же спрятал царь образ Богоматери? Да куда еще? В такую *камору* [3], что и говорить душа замирает! Там-то, там-то не весть Бог каких нет чудес и уродов, все заморское волхвование и сила нечистая! А разве даром являлась над городом звезда с хвостом? Недобрый знак!

— Помним мы и звезду. Не обманешь, брат. Царь за месяц до прихода объявил об ней в народе указом,

---

[1] Это было тоже в 1720 году. Царя не было тогда в городе. Народ, собравшийся в церкви, начинал уже волноваться, когда шум привлек внимание жившего неподалеку канцлера графа Головкина. Он поспешил в церковь, где старался разогнать толпу, но все убеждения были тщетны. Опасаясь последствий, Головкин отправил нарочного к царю. Петр прибыл на другой день, отправился в церковь и по внимательном рассмотрении образа открыл обман. Виновные были отысканы и наказаны, а народ, которому образ был показан, успокоился.

[2] Отличительные знаки, которые повелено было особым Указом иметь раскольникам.

[3] Икона временно сохраняема была в Кунсткамере.

а как явилась, так собрал всех на луг близ сада, да сам, родимый, показывал и толковал каждому. Мало ль вы кричали да мудрили тогда — вот восьмой год потек, а беды не только не видали, да и, благодарение Богу, войны кончили и славный мир заключили!

— Увидите, еще увидите! — кричал мужик.— Девятый год важной! Будут бунты и пожары, вода и голод. Немцы хотят сгубить народ, а государь дает им над вами волю.

— Что? Как? Душите его, бейте, бейте! — кричала толпа.— Дерзает на государя хулу класть!

Тысячи рук поднялись.

— Пустите, он хмелен,— говорили другие.

Волнение сделалось общее: одни хотели непременно тащить раскольника, другие стояли за него, кричали, бранились; пьяницы, выходившие из кабака, шумели более других; наконец посыпались удары. «Государя хулят! Государя хулят!» — раздавалось со всех сторон, и все били друг друга, драка завязалась не на шутку. В это время колокола зазвонили к обедне. Секретарь, пользуясь удобною минутой, влез на бочку и закричал громко: «Слышите, православные! Слышите! В церковь, молиться за отца императора! Или забыли вы, какой великой ныне день!»

— Как забыть! Ура! Ура! — раздалось в толпе.— Да здравствует батюшка наш, да здравствует новорожденный, великий государь Петр Алексеевич!

Крик сей разлился далеко по улицам, где был принят и повторяем новыми толпами. Чрез несколько минут преддверие Гурьянычева питейного дома осталось чисто, как ладонь, и молчаливо, как пустыня.

Тогда секретарь, все еще державший за ворот раскольника, который трясся, как осиновый лист, обратился к нему.

— Я б мог раздавить тебя, негодяй, как ядовитую муху: видишь,— сказал он,— показывая на улицу к Зимнему дому,— идут уже на шум царские драгуны. Если выдам тебя, ты погибнешь. Но милую именем милостивого государя. Ты новичок, видно, в Питере. Поди же да скажи глупым учителям твоим, что поздно взялись: прошло то время, когда они могли надеяться взволновать народ своею злобою. Он понимает великие дела государя, он любит его, как Бога земного! Поди! Да кричи громче: да здравствует государь, отец наш!

Драгуны были близко. Освобожденный раскольник

бежал что было силы и кричал: «Да здравствует отец наш, Петр Алексеевич!» — расталкивая толпу, которая повторяла крик его.

Восемь часов давно уже пробило. Секретарь, не видя Ермолая, один отправился к Неве, чтоб переехать на Петербургский остров. Заметив многочисленное собрание в австерии Меншикова и полагая найти там своего товарища, он вошел в оную.

В верхнем ярусе дома находились богато убранные комнаты: там останавливался обыкновенно князь Меншиков, приезжая с Васильевского острова на Адмиралтейский. Нижний был заполнен посетителями: молодые боярские сыновья, офицеры, гвардейские и флотские, чиновники Морского Приказа, жители Немецкой слободы, фабриканты иностранные, шкиперы сидели кто за большим столом поставленным посредине комнаты, кто за маленькими отдельными столами; против некоторых стояли кофе и закуски, другие читали Петербургскую газету (над изданием которой трудился сам государь), некоторые занимались игрою в шашки, другие, наконец, курили табак из голландских глиняных трубок, глядя в окна, из которых открывался вид Невы, части крепости, палат роскошного князя Меншикова, его церкви и богатых господских домов, занявших на Стрелке места бывших мельниц. Вверх по реке, от Галерного двора и от пристани Меншиковой, тянулось к оконечности Петербургского острова бесчисленное множество лодок, наполненных людьми всякого состояния, из австерии многие выбегали на пристань, нетерпеливо ожидая, чтоб сделалось на ней просторнее, когда раздались голоса: «Граф Федор Матвеевич!» — и все бросились на улицу.

Приезд генерал-адмирала имел в себе нечто царское. Фигурный, открытый, цугом запряженный экипаж его был окружен множеством слуг и скороходов, одетых по иностранному образцу; несколько дворян, его питомцев, сопровождали Апраксина; за ними следовали его вершники. На полном, благородном лице графа выражалась доброта, в глазах блестели остроумие и проницательность, на открытом челе, как на небе под вечер прекрасного дня, дышало особенное спокойствие души; среди морщин, казалось, можно было уловить испытанную его опытность, плод долговременных трудов и наблюдений.

Граф вышел из экипажа и вежливо приветствовал

собравшихся улыбкою, снятием шляпы и низким поклоном. На нем был тщательно причесанный парик, французский кафтан фиолетового цвета, богато зашитый золотыми узорами, на груди блестел орденский знак Андрея Первозванного. Гостеприимный вельможа-хлебосол, узнав в толпе некоторых из посетителей стола своего, ежедневно открытого, подзывал их, ласково протягивал к ним руку или обращал приятное слово. Когда возвещено было, что лодки графа готовы, он снова поклонился и, окруженный свитою, сошел на деревянную пристань.

Сподвижник Петра, друг фельдмаршала Шереметева[1], Апраксин был один из ревностных сотрудников царя в деле смягчения нравов, введения образованности и полезных знаний. В доме его, как и в домах Брюса, Голицына и многих других, созревших в школе Петра, заметны были благотворительность неимущим, роскошь просвещенная, покровительство уму и талантам; из бесед их были изгнаны кубки с вином, а место их заступили образцовая утонченность нравов, поучительные разговоры, приятность и непринужденность в обращении; власть их укреплялась добродушием; они умели ласковостию смягчать блеск высокого сана и приобретать в одно и то же время любовь и уважение. Фельдмаршал Шереметев был всегда главою вельмож сих. В противоположность им князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский был главою почитателей старины: Бутурлиных, Лопухиных, Нарышкиных и других. Таким образом, Шереметев и Ромодановский с их последователями, казалось, изображали собою два века. Оба богатые, умные, верные сыны России, они пользовались одинаково неограниченною доверенностию царя, но по собственному убеждению или своенравию действовали различно; сие различие и по смерти вельмож, о коих мы говорим, долго составляло две яркие черты в нравах высших сословий. Ромодановский гордый, грубый в обращении, не изменял привычек своих ни для кого на свете. Беда, если б кто-то осмелился сесть в его присутствии; беда, если б кто-либо вздумал не остановиться у тесовых ворот его дома и нейти чрез двор пешком к палатам! Ромодановский смеялся над нововведениями, никогда не снимал ни с себя, ни с людей, составлявших его свиту и прислугу, русского кафтана; держал

[1] умершего в 1719 году.

в доме огромных медведей, нередко закладывая их в сани для выездов по праздникам. Один из медведей подносил непременно каждому посетителю чарку перечной водки и, бросая на пол поднос, вцеплялся в волосы гостя, ежели тот, по неведению или по робости, не принимал подносимого! В хлебосольстве князя все дышало роскошью азиатского властителя, в беседах его не было ни ласки, ни сближения; за пирами следовала обильная попойка; только в эти минуты терялось *местничество*; вино приводило под общий уровень все сословия и своенравно перемешивало оные. Двор князя был двор царский; охоты, продолжавшиеся по нескольку месяцев, можно было назвать походами; кроме особых телохранителей до 500 человек в нарядах, облитых золотом и серебром, составляли постоянно его свиту!

Но возвратимся к нашему предмету. Переехав с прочими к крепости, графский секретарь встретил Ермолая и вместе с ним искал уголка, откуда бы удобнее было видеть приезд государя.

— Не стыдно ли тебе,— сказал он Ермолаю,— не стыдно ли тебе было смешаться с чернью и необдуманными речами причинить весь этот шум? Правдиво, что во многоглаголании нет спасения.

— Думал ли я это?

— В том-то и беда, что мало вы думаете; а от чего? В палатах бояр не ты один из дворян, с которыми обращаются, как с холопьями: вас кормят досыта, поят допьяна, дают золота вдоволь — а вы за это позволяете презирать себя и, не учась ничему сами, не уважая себя нисколько, принимаете привычки неучей слуг. Стыдно! Стыдно! Знаешь ли слово царя про слуг? Лакеи-шпионы худо слушают, а еще хуже рассказывают слышанное.

— Поверь мне, Федорович,— отвечал Ермолай, краснея,— что и на уме не было ничего дурного, сам не знаю, как лукавый спутал.

— Меня взял,— продолжал секретарь,— граф Борис Петрович в дом свой, дай ему Бог Царство Небесное! — круглым сиротою и первее всего велел посадить за указку. Когда наставили мой ум чтением Святого писания, а после науками и недостойные труды мои начали приносить малый плод, тогда граф наградил меня доверенностию своею, брал с собою в чужие краи, показал людей, беспрерывно занимал до конца дней своих полезным делом; да и при кончине не забыл сироты,

хотя говаривал всегда, что «кто просветил свой ум, тот не пойдет по миру». Ну добро... я чуть не заплакал,— тут старик отер слезы.— Вон твоя невеста с отцом; подойдем к ним на этот раз. Я прошу тебя: никому не скажу, а вперед смотри, брат.

Еще не кончились полуразвязные, полудикие приветствия и поклоны Ермолая невесте и ее отцу, два старика не успели еще накрыть голов шляпами, которые держали правой рукою за средние рожки, как раздалось на берегу: «Государь едет!» Множество вельмож вышли из церкви на пристань.

Точно, Петр ехал от Летнего сада, в большой барже, или шлюбке, которая подвигалась быстро по причине свежего верхового ветра. Баржа внутри была обшита алым бархатом и украшена золотыми галунами. С государем сидели: императрица, цесаревны Анна и Елисавета Петровны, дети царевича Алексея великий князь Петр (впоследствии император) и царевна Наталия. Баржа остановилась у пристани, устроенной близ Невских крепостных ворот, где встретили императора губернатор столицы князь Меншиков, великий канцлер граф Головкин, генерал-адмирал граф Апраксин и другие знатнейшие особы государства.

Император был в треугольной шляпе, простреленной в день знаменитой Полтавской битвы, в кафтане из голубого гродетура, вышитом серебром рукою Екатерины[1], с орденскою чрез плечо лентою св. Андрея. Ступив на берег, Петр остановился, снял шляпу, низко поклонился на все стороны и, сопровождаемый семейством своим, за коим следовали все присутствовавшие, вошел в церковь, где тотчас началось служение. На Троицкой площади, на пристанях и в окрестных улицах толпился между тем народ.

Адмиралтейская сторона была уже, как мы сказали, важнейшею частию города, но на Петербургском острове жителей низших сословий находилось более. Там были еще Коллегии, канцелярии, квартировали войска, а на берегу Невы стояли каменные палаты Головкина, Гагарина, Шафирова, Зотова, Строева и других царедворцев и сенаторов. Русско-финская слобода отлича-

---

[1] Когда Екатерина поднесла государю кафтан, он взял его в руку, тряхнул, несколько капители и блесток упало, осыпавшись. «Смотри, Катенька,— сказал царь,— слуга сметет это с сором, а ведь тут дневное жалованье солдата».

лась чистою и правильною постройкою домов; в улицах Дворянской и Оружейной обращали на себя внимание красивые домы частных людей и обширные дворы, Отдаточный и Оружейный. Всех же примечательнее был (на углу, образуемом большими Невою и Невкою) дом князя-Папы с балконом и куполом, на котором стояла статуя Бахуса: пред домом собиралось обыкновенно множество черни.

Петр, как известно, действовал в каждом случае совершенно своим, особенным и часто весьма странным образом: учреждение звания князя-Папы было одно из подобных действий. Кто может знать причины, побудившие к сему царя? Судя по догадкам и свидетельству современников, в шутливом учреждении сем заключалось весьма многое. Петербургские жители низшего разряда, стекавшиеся в столицу из разных мест России, при многочисленных важных нововведениях необходимо должны были находиться под сильным влиянием иностранцев, но влияние это, изменявшее их привычки, позволенное Петром и признанное полезным для достижения его намерений, не должно было простираться за границы, ему назначенные; оно не должно было трогать заветных чувств народа, ниспровергать понятий его о предметах, касающихся до веры, и т. п., потому-то требовалось заблаговременно сделать бесплодными все покушения сего рода; требовалось искоренить только предрассудки тем вреднейшие, что они освящены были временем, уничтожить нелепые мнения, воздержать наклонность к пьянству, чрезвычайно распространившуюся, и показать, что развратная и невоздержная жизнь должна была быть предана всеобщему посмеянию и презрению.

В звание князя-Папы возводились люди чиновные, лично известные государю преданностию своею к старинным причудам и страстью к вину. Папа получал ежегодно 2000 рублей жалованья; он имел готовые домы в Петербурге и в Москве, пользовался правом требовать из дворцового погреба столько вина, пива и водки, сколько мог выпить с двором своим. Коллегиум его кардиналов состоял не только из первейших, но и чиновнейших пьяниц; выбывавшие из положенного числа заменяемы были достойнейшими по баллотировке; ни богатство, ни звание не избавляли от сего. Папа был избираем конклавом кардиналов; низшая прислуга его составлена была из людей, сверх необходимой люб-

ви к вину имевших всевозможные телесные недостатки. Зотову, первому Папе, дано было 12 слуг заик, глухих, кривых и самых безобразных, выбранных в целом государстве; после Зотова был Бутурлин, от него звание князя-Папы принял провиантский чиновник Строгост, величайший пьяница своего века; в последние годы царствования Петра у Строгоста отнято было звание Папы, после чего оно уже не возобновлялось. Тщетно патриарх не только словесно, но и письменно представлял, просил, даже требовал у царя уничтожения сего достоинства. Петр отвечал, что это вовсе не духовное дело, а что в дела политические патриарху мешаться не должно и продолжал свою шутку.

В праздники народ иногда возил по городу Папу; бывали дни, когда он с пьяными кардиналами и прислугою показывался in pontificalibus[1].

Мы сказали, что против дома князя-Папы, пред балконом, на котором он с свитою с утра делал обильные возлияния на алтарь божества, находившегося на куполе, собрался народ и по обыкновению громким смехом приветствовал особ, привлекавших его внимание.

— Понакатились спозаранку сердечные,— говорил какой-то мужик другому.— Да неужто вправду, Гришка, и все немецкие попы этак же тянут мертвую чашу?

— Такой, сказывают, у них чудной закон,— отвечал Гришка.— Вишь, не считают грехом ни пить водку, ни плясать, ни всякую скверну деять. Так их и подняли на смех.

— А что, дядя, ведь все-таки они попы,— сказал молодой парень, обращаясь к сотскому той улицы, державшему в руке длинную палку.— Знаешь, дело-то выходит не так ловко: грех ведь над божественным издеваться.

— Прямой ты, Филька,— отвечал сотский.— Кто те надоумил это?

— Кто? Послушай-ка, как порасскажет пономарь Онуфрий с Невского, попы-батьки да преподобные отцы-монахи, слышь, больно гневаются: непочливость-де, говорят, к церкви православной.

— Что тут церковь православную путать? Сказывают-те, голова, немецких попов осмеивают: где ж тут божественное?

— Вестимо немецких,— сказал другой.— Нет, брат,

---

[1] в папском одеянии *(лат.)*.

знаем мы, государь над православной церковью не шутит, да и шутить не позволит. Всякой праздник батюшка в церкви, а бывало у Троицы сам читает Апостол и поет на крылосе всю обедню.

— Помнишь ли,— спросил сотский,— государев поставщик Кузьма Крутелев сказывал, когда его величество страдал тяжкой немочью, доктора положили запрет на постную яду, вредительно-де будет; так не послушался, родимой, а хоть вредом для тела, все постился, пока не прибыла от патриарха константинопольского Иеремии грамота. Святой отец разрешил государю мясоястие во все посты, исключая недели пред причастием.

— Ой ли! Ну уж, брат! Истинно православный царь!

— Вестимо православный, да и войскам-то нашим для походов в немецких землях, где постного кушанья окаянные в веку не знали, выпросил батюшка тоже грамоты от патриархов для мясоядствия, чтоб греха на душе не было.

— Дядя! — спросил сотского Филька.— Ну как немцы осерчают, что мы над ними смеемся?

— Э! Филька, Филька! Видно, брат, что ты с Москвы, ничего не смыслишь. Прошло время, что мы других боялись. Слышь, нас все насмерть боятся ныне.

— Ой ли, брат! Расскажи, как же...

— Что тут сказывать. Просто надоели царю все эти крикуны нехристи; он, знаешь, срубил флот, взял солдат, пошел и ну бить их и на морях, и на землях, а сам батюшка приговаривает: «Знай русских! Да почитай их! Просим к нам хлеба-соли кушать, разуму учить да не умничать!» А как вернулся домой, крикнул народу: «Эй, дети! Знайте, что отныне ничего вы на свете не боитесь и что все вам будет можно, с любовью к вере и родине». Вот и все тут.

— Весело, дядя! И вправду, *не бось! все можно!*

— Смотри! Смотри! — закричал кто-то, указывая на балкон: — Повалились, брат, ха-ха-ха! Никак вздремали!

— А что, ребята, славно им, проклятым: работы нет, вина дают вдоволь, пей не хочу, то-то житье!

— Видно, охота взяла самого к ним на службу: что, Филька, пошел ли бы ты?

— Нет, дядя,— отвечал Филька, почесывая голову,— вина вдоволь правда, да смеху и сраму немало:

где ни покажись кто из них, только и слышно: «Э! Чертовы куклы! Бочки бездонные!» Нет, дядя, не пойду; что быть словно оплеванным!

— Разумно, Филька! Можно, брат, в вольном доме выпить чару зеленого, во здравие, да честно и без огласки.

— Эге! Это что там за рожа вылезла, да еще в красном колпаке. Смотри разинул рот и закатил очи. Нутко послушаем, что скажет.

Все утихли и обратились к балкону. Точно: один из слуг Папы явился, желая, вероятно, о чем-нибудь донести, но заикался до того, что решительно не мог выговорить слова. По мере усилий, заставлявших его кривлять лице самым странным образом, народ хохотал более и более.

— Ну полно же,— кричали ему.— Кажись, наговорился досыта, а все неймется. Вишь болтун какой, доскажет к светлому празднику! Да и князь-то твой заснул, сердечный, ничего не услышит!

В самом деле, князь-Папа и многие кардиналы, повалясь друг на друга после обильной попойки, спали на балконе. Народ, насмеявшись и потолковавши, побрел по домам, ибо пора уже была обеденная.

Между тем литургия и молебствие, совершенные новгородским архиепископом Феодосием, были окончены. Император с семейством сел на баржу, присутствовавшие заняли места в своих бухерах и шлюбках и поплыли к Адмиралтейской стороне.

Бесчисленное множество судов разного вида, обшитых внутри цветными бархатами, позументами и шнурами, снаружи украшенных резьбою, позолотою, управляемых гребцами в белых, как снег, рубахах, перевязанных поясами ярких цветов, стройной флотилиею следуя от пристани при звонких и мерных ударах весел, при громе пушечных выстрелов с крепости, Адмиралтейства, яхт и фрегатов, расцвеченных флагами и вытянутых в линию по Неве, при громких кликах народа, при радостных приветствиях зрителей, наполнявших набережные домы, на окнах коих развевались цветные ткани,— представляло взору картину истинно обворожительную.

У пристани против Летнего сада встретили государя герцог Голстинский (впоследствии супруг цесаревны Анны Петровны) и весь дипломатический корпус. Приняв их поздравления, Петр пошел к войскам, ожи-

давшим его на нынешнем Царицыном лугу. Они построены были в три фаса, обращенные лицем к средине луга и расположенные по сторонам оного, прилегавшим к набережной Большой Невы, нынешним казармам лейб-гвардии Павловского полка и Мойке. Войска, находившиеся там, состояли из девяти полков, постоянно квартировавших в С.-Петербурге: гвардейских Преображенского и Семеновского, армейских пехотных Ингерманландского, С.-Петербургского и четырех гарнизонных. Они приветствовали императора громким, продолжительным «ура!» и беглым огнем из ружей. Проходя по фронту, Петр здоровался не только вообще с каждой командою, но особенно с многими солдатами, известными ему своею отличною службою. Осмотрев все полки, государь велел угостить их и пошел в Летний дворец, где находилась вся его фамилия и несколько знатных особ обоего пола, приглашенных на обед и прибывших во дворец тотчас по выходе на берег.

Гости государя были люди самые приближенные: он не любил больших обедов, да и комнаты Летнего дворца (поныне существующего) не могли помещать беседы многочисленной. Для прислуги находились денщики Афанасий и Алексей Татищевы, Орлов, Мурзин, Поспелов, Бутурлин и Нартов, учивший его токарному мастерству. За государем и фамилиею его служил дежурный денщик; у прибора его положены были деревянная ложка, оправленная слоновою костью, ножик и вилка с зелеными костяными черенками. Где бы ни кушал Петр, у себя или в гостях, дежурному денщику вменялось в обязанность к прибору его положить заблаговременно ложку, нож и вилку, которые он привык употреблять.

Стол был несколько роскошнее ежедневного, но простые любимые кушанья Петра не были забыты: для закуски лимбургский сыр, молодая редька; за обедом щи, каша, студень, жареная утка в кислом соусе, приправленном луком, огурцами и солеными лимонами; вина мозельские, венгерские и вино «Эрмитаж», которого бутылка стояла у государева прибора. Стены кухни, чрезвычайно чистой, были обложены по-голландски белыми маленькими кахлями с голубым узором; она находилась возле самой столовой, и кушанья, чтобы не простыть, передаваемы были в оную поваром сквозь окошечко, сделанное нарочно для сего в стене, разделявшей обе комнаты.

Не станем говорить о беседе государя: она, по обыкновению, оживлена была самою непринужденною откровенностью и веселым расположением высокого хозяина. Он много шутил, поил вином и потчевал лимбургским сыром тех, которые, причудничая, уверяли, что не могут употреблять их, щекотал боявшихся, вспоминал свою службу, путешествия и проч. Разговор не прерывался, когда он коснулся ассамблеи, назначенной ввечеру. Петр вспомнил, что в 1721 году на бале генерал-майора князя Трубецкого он составил единственную в своем роде кадриль из восьми самых молоденьких дам и стольких же самых старых кавалеров.

— Мы, молодцы,— говорил Петр, обращаясь к дамам,— были все вместе только в двадцать пять раз старее нынешнего Петербурга. Я стал с Катинькой в первую пару и делал самые трудные па; адмиралтейц, вице-канцлер, Кантемир, Голицын, Долгоруков, Толстой и Бутурлин под опасением Великого Орла должны были слепо подражать мне! Помните ли?

— Помню,— отвечал Апраксин,— это *дело* было мне труднее битв со шведскими флотами.

Когда речь от ассамблей перешла к нарядам и Екатерина, выговаривая супругу своему излишнюю бережливость в одежде, просила его позволить ей по крайней мере *не штопать более его чулок* и приказать Поспелову выбросить все башмаки с заплатами, Петр рассказывал, что он не любит носить нового платья, находя его всегда неловким; что в бытность в Париже он решился, однако же, одеться по-тамошнему, но, когда примерил наряд, голова его не могла выдержать тяжести парика, а тело утомлено было вышивками и разными украшениями.

— Обрезав кудри парика по-русски, я пришел ко двору,— говорил Петр,— в старом своем коротком сером кафтане без галунов, в манишке без манжет, со шляпою без перьев и черной кожаной чрез плечо портупее. Что же? Одежда моя новая, странная и никогда не виданная французами, восхитила их, по моем отъезде они точно ввели ее в моду под названием habit du farouche[1]. Впрочем,— продолжал Петр, обращаясь к дамам,— не верьте жене моей и не сокрушайтесь: у нас есть нарядные платья; голубой кафтан мой с золотым шитьем цел, я поберегаю его и надевал только два раза:

---

[1] наряд дикаря *(фр.)*.

первый раз представляясь Людовику XV, во второй же раз в нынешнем году, для отпускной аудиенции персидского посла Измаила-Бега, следовательно, Запад и Восток имеют уже изрядные понятия о моей роскоши.

— Ваше величество! — сказал Меншиков.— Говорите, что избегаете роскоши, однако же 25 мая вы показались жителям столицы с неподражаемым великолепием: вместо скромной одноколки в золоченом фаэтоне, выложенном бархатом, цугом, с отрядом гвардии и с многочисленной свитою в самой пышной ливрее.

— У тебя, Александр Данилович, это всякой день, а мне случилось один раз в жизни, и то уж тебе досадно. Вспомни, что я встречал тогда послов своих, пробывших около пятнадцати лет при многих иностранных дворах; Головкин и Долгорукий привыкли к европейскому блеску, мне не хотелось испугать и даже устыдить их своею варварской простотою.

По окончании обеда гости перешли в другую комнату, а государь удалился в свою токарную: там или на галере, стоявшей против его дворца, он имел привычку отдыхать с полчаса, отобедав, после чего занимался делами. На наружной стороне дверей токарной комнаты находилась собственноручная его надпись: «Кому не приказано или кто не позван, да не входить сюда; не токмо посторонний, ниже служитель дома сего, дабы хозяин хотя сие место имел покойное».

Мы не сказали, однако, что делалось в городе с минуты отъезда государева от крепости к Летнему саду. Когда время переступило за полдень, привычный час обеда столичных жителей, толпы любопытствующих начали редеть. По мере того как улицы пустели, домы петербургские наполнялись. Некоторые спешили в свои семейства, другие в Летний дворец или на званые обеды к вельможам, сии последние ехали в богатых экипажах, в пышных нарядах, в сопровождении многочисленной свиты. Если мужчина встречался на улице с дамою, то оба экипажа немедленно останавливались, кавалер выходил и, несмотря на погоду с обнаженною головою приближаясь к открытым дверцам другого экипажа, приветствовал даму речью, прося позволения поцеловать ей руку. Подобные сцены были видны на каждой улице: таков был обычай.

В обширных залах и садах богатейших людей по обыкновению накрыты были с утра длинные столы для званых и незваных, украшенные роскошною посудою,

уставленные множеством яств, сахарных закусок и напитков; на других столах стояли ящики с медами и винами, преимущественно рейнскими и венгерскими. В назначенный час хозяин выходил из своих покоев с приглашенными, вежливо кланялся ожидавшим посетителям и пожимал руку тем из них, коих желал отличить особенно.

За столом, в продолжение которого гремели валторны и флейты, хозяин помещал гостей своих возле себя, и если в их числе находился кто-либо старее его летами или чином, то сам никогда не садился прежде его[1]. Прочие посетители занимали места по желанию. Двери дома не затворялись в продолжение всего обеда, всех без различия встречал радушный прием: знакомые и незнакомые входили, кушали и уходили, часто вовсе забывая о хозяине.

В домах людей среднего состояния заметна была некоторая смесь быта древнего с вновь принятыми привычками. В главном углу комнаты под иконою, пред коею теплилась лампада, по старому русскому обычаю непременно стоял стол, с утра до поздней ночи накрытый скатертью или куском чистого полотна. Тут приготовлены были хлеб, соль, вино, мед и чарки. Возле стола сидели хозяева. Родственники и гости, входя, трижды с поклонами осеняли себя крестом пред иконою, потом кланялись на все стороны. Тогда хозяйка и дочери (если оные были в семействе), встав, подносили пришедшему с поклоном же хлеба и вина; он должен был *выкушать чарку* и *откушать хлеба-соли,* после чего уже здоровался с мужчинами пожатием руки или дружелюбным поцелуем, а с женщинами — низким поклоном или поцелуем в руку, по новому обычаю, который сделался довольно употребителен.

Когда входил старший в семействе или старший летами в обществе, хотя бы он был и не родственник, тогда разговоры прекращались, все вставали, шли к нему навстречу, сажали его в главый угол под иконою и собирались около старца в кружок. Никто не садился, доколе не был к тому им приглашен. За обедом ему назначено было почетное место. Женщины помещались возле и услуживали во время стола. Речь вполне ему

---

[1] Почтение к летам — черта общая в нраве всех состояний. 60-летний князь М. М. Голицын всегда вставал перед старшим братом своим.

принадлежала: он входил в дела семейные, которые были предлагаемы в суждение его как опытнейшего, давал советы и нередко, по просьбе других, рассказывал про былое *стародавнее*. Рассказы сего рода были вообще любимы. Когда же он молчал, то из уважения к летам его никто не хохотал громко, а спорить или кричать никому даже не впадало и в мысль — так противно это было тогдашним понятиям, да и необходимым следствием подобного поступка была бы *дурная о человеке молва* или приобретение названия *неуча*. Словом, старший летами делался главою семейства или беседы. Повсюду он угощал других, посылал от стола *подачи* домочадцам или бедным, пользовавшимся благодеяниями хозяев, хвалил слуг, позволял старейшим из них вмешиваться иногда в разговор и целовать себе руку. Обеды кончались тостами, в коих призываемо было благословение Бога на отца-государя и Россию. Потом пили здоровье старшего или хозяев. При каждом тосте вставали, при многих дружески целовались, но не садились за стол и не оставляли оного без громкой молитвы. После обеда являлись новые лица: няньки, мамки, домашние шуты, казаки с тюрбанами или балалаечники; пестрое общество делалось еще пестрее от разнообразия нарядов. Многие из женщин носили немецкое платье, другие — смесь немецкого с русским: телогрейки, чепцы и башмаки на высоких каблуках; между девиц заметно было повязок уже весьма мало. Мужчины наиболее носили немецкие кафтаны и парики; многие говорили по-немецки. Старики садились играть в шашки, кости, короли, лантре, марьяж и проч.; молодежь — в фанты или жгуты, или танцевали, или слушали балалайщика, который *пел с припляскою*. В обращении была особенная принужденность и неловкость между мужчин и женщин. Девицы боялись еще говорить, отвечали наиболее словами «да-с», «нет-с», в танцах нередко не смели подавать кавалеру руку и не решались танцевать с одним мужчиною два раза сряду.

Так было на то время во всех домах Петербурга. Но вы, может быть, хотите войти хоть в один? Согласен. Откроем дверь этого маленького домика, третьего в *линии к Галерному двору*[1]. Он замечателен уже тем,

[1] Линия к Галерному двору есть нынешняя Английская набережная.

что был первый каменный дом, выстроенный на этом месте в 1716 году.

В чистой комнате о трех окнах, обращенных к Неве, на стенах развешаны узенькие дубовые рамы с изображением кораблей в различных видах и положениях; здесь они режут черные волны, вы это видите по белым округленным парусам, рисующимся на темном небе, как крылья морской птицы; там они хвастливо выказывают вам всю стройность своих членов и ловят глаз сетью снастей, пересекающихся в запутанном порядке. Далее, вы видите: они стоят без мачт с крышами, будто огромные гробы; далее они на суше с обнаженными хребтами и ребрами лежат, как остовы великанов. Все это искусные работы голландских мастеров. Некоторые картины собственной руки славного Адама Сило, учившего Петра I теории кораблестроения. Влево от входа, в углу, широкая четырехгранная печь из мелких изразцов темно-рыжего цвета, на кирпичных подставках или столбах такой вышины, что под печью довольно просторная конурка, в которой лежит на рогоже, в углу, волчонок, привязанный цепью к одному из столбов. У другой стены крупная деревянная лестница. С одной стороны ее вместо поручня протянута между двух толстых железных столбиков веревка. Верх лестницы вставлен в заднюю сторону четырехугольного отверстия, вырубленного в потолке, обитом красным полотном. Там укромный теремок — комнатка дочери хозяина дома. Между печью и лестницей дверь, а в боковом покое за дверью видны толстые книги, большие бумаги, линейки, математические инструменты, валяющиеся на полу и по столу. Возле двери вбиты в стену три длинных корабельных крюка: на одном висит суконный зеленый плащ и наткнута маленькая треугольная шляпа, на двух других, обвитых неписанною бумагой, бережно положены зрительная труба, завернутая кожею, и толстая трость с костяным набалдашником. У противоположной стены между окон, в первом простенке, узенький шкаф желтого цвета. Сквозь стекла видны серебряные кружки, чисто вымытые, и возле них положены согнутые листы бумаги. В другом простенке зеркало в пол-аршина с обрезанным остроконечно верхом, в раме из желтой меди. На четвертой стене против хода висят врезанные в черную деревянную доску медали с изображением флотов, крепостей и резко обозначенных в воздухе парабол, оканчивающихся с од-

ной стороны мортирою, а с другой — бомбою. На двух средних медалях, одинаковых и на вид новее прочих, обращенных наружу разными сторонами, изображено на одной море с плывущим по оному ковчегом, над ним летит голубь, несущий ветвь, вдали два города — С.-Петербург и Стокгольм, соединенные радугою, с надписью: «Союзом мира связуемы». Внизу подпись: «В Нейстате по потопе северныя войны 1721». На другой стороне ее надпись: «Государю Петру 1-му именем и делами предивными, Великому Российскому Императору и отцу, по двадесятилетных триумфов Север умирившему, сия из злата домашнего медалия усерднейше приносится».

На средине комнаты накрыт продолговатый стол. За ним сидят: на главном месте хозяин, старик высокого роста, широкоплечий, здоровый. Седые, коротко остриженные его волосы местами еще чернеются. На открытом челе выражено спокойствие чистой совести, в глазах добродушие и откровенность. По левую его сторону девушка лет девятнадцати, стройная, не прекрасная, но привлекательная миловидностью, с маленьким, несколько вздернутым носиком, с свежими, правильно очерченными устами, голубыми большими очами; волосы ее светло-каштановые, остриженные вкруг головы по-русски, ровною полосою лежат на вершине лба, а по сторонам с висков длинными локонами спускаются на плечи; белое платье немецкого покроя закрывает девственную ее грудь до самой шеи. Влево от нее Ермолай, напротив — мужчина лет тридцати пяти в мундире морского капитана, с медалью на цепочке. На левой щеке его длинный рубец, как будто след железа, которое когда-то прошло по этому месту. Рядом с капитаном старушка — полугорбатая, полужелтая, сморщенная, как печеное яблочко, в высоко повязанном черном платке, под которым виден платок белый, а из-под него белые же волосы, и в черной телогрейке, застегнутой под самой бородою. Наконец, против хозяина — знакомый нам секретарь.

На столе стоит изрезанный кусок мяса, приправленного тертым хреном с луком и остатки кишок с кашею. Служанка подает сахарную закуску.

Мы в доме корабельного строителя Ивана Немцева. Это его дочь, ее няня и гости — один сын его двоюродного брата, другие двое — нам знакомые.

— Досказывай же,— говорил Немцев, обращаясь к

капитану,— люблю я слушать дивные потехи нашего флота, клянусь «Старым Дубом», как бы лет десятка два с плеч, пошел бы опять в море.

— Я не помню, где остановился.

— Не помнишь! Поверь слову, ты остановился на важном месте: за Гангутом, за линией пробитого, смятого, одураченного свейского флота; ты остановился перед самым носом Эреншильда и послал ему приказ сдаться.

— Да, точно... не приказ, а прошенье, которого храбрый Шаубинахт не принял. Тогда мы двинулись, царь впереди на галере, на которой и мне Бог привел...

— Постой, знаешь ли, что эта галера моей постройки? Что, брат? Легка, смела, увертлива, то юлит, как ласточка, то летит соколом, отважно сечет волну грудью, только «Старому Дубу» позволю с нею равняться.

— Царь вел нас прямо на адмиральский фрегат, исполняя сам попеременно должность пушкаря, командира, кормщика и матроса. Мы приближались быстро и в порядке, при противном неприятелю ветре. Эреншильд готовился к отчаянному отпору. Еще минута — и мы сцепились, но...

— Говори, говори же...

— Это был ад! Команды нельзя было слышать за два шага. Воздух стонал, члены галер и фрегата скрипели, трещали; ежеминутные выстрелы с обеих сторон громили их, рвали, ломали снасти и уносили целые ряды сражающихся. Наконец мы взлетели на фрегат. Тут каждый вершок был куплен кровью, смертью; люди резались с остервенением, били друг друга топорами, схватывались поодиночке, боролись, падали вместе в море и там продолжали отчаянно биться, доколе одна искра жизни теплилась в их груди! Свист, стон, вопли, пламя, по временам охватывавшее фрегат, дым, переходы от мрака к свету, несносный жар — все это утомляло, приводило в какое-то необыкновенное, отчаянно равнодушное положение. Я чувствовал, что голова моя горела и кружилась. Русские одолевали. Я силился быть близ Петра, но не знаю, как попал в толпу офицеров, окружавших Эреншильда, стоявшего у мачты. Решась лучше умереть, нежели быть в плену, я стиснул рукоять сабли и бросился на неприятеля. Мне памятно только, что в эту минуту седый Эреншильд взмахнул рукою, в ней что-то блеснуло, и я без чувств упал на палубу. Очнувшись, я узнал, что ранен самим Шауби-

нахтом пред глазами царя и что нахожусь на взятом нами фрегате «Элефанте»! Вот история моей раны, в ней ничего нет особенного.

— Славное дело! Славная рана! — кричал Немцев.— Поверь слову — я завидую тебе! А царя за эту победу поистине стоило наградить вице-адмиральским чином.

— Тем более,— сказал секретарь,— что еще в 1713 году его величество желал быть награжден оным и просил коллегию, но она отказала, найдя достойнейшего, которому дала сие звание.

— Коллегия отказала царю? — спросил удивленный Ермолай.— Что же царь сделал?

— Он искал случая заслужить чин, и заслужил его. Поверьте слову, я за один «Старый Дуб» дал бы ему все чины разом.

— А за «Старый Дуб» ему именно ничего не дали,— сказал секретарь с неудовольствием.

— Ничего? — возразил Немцев.— То-то, брат, хвастаешь, что знаешь все и всему ведешь свои записки, а не ведаешь, что когда государь спустил этот корабль, чудный и, может, лучший на свете, корабль, при постройке которого в поте лица сам трудился с начала до окончания, то князь-кесарь наградил его как строителя не одною, по обычаю, а двумя серебряными кружками с пивом, такими, как у меня,— тут он показал на шкаф.— Подарок этот, свято хранимый царем, по словам его, приятнее ему всех других.

— Князь-кесарь, говорите вы, наградил царя? — спросил опять Ермолай.

— Да,— отвечал Немцев,— чтобы показать пример повиновения, государь строго подчинил себя властям. Он прошел все степени, узнал все трудности, служил матросом, солдатом, бомбардиром, все испытал на себе, всему научился.

— И показал свету и нам,— сказал капитан,— что возможно человеку.

Немцев встал.

— Да здравствует Петр бессмертный! — закричал он, подняв рюмку с вином.

— Да здравствует,— повторил капитан,— государь — работник на верфи Ост-Индской кампании, плотник у саардамца Рогге, кузнец на заводе Миллера, близ Истецких вод, где он выковывал железо за пуд

по алтыну, механик в мастерской ван-дер-Гейдена, хирург у Рюйша, естествоиспытатель с Бургавом!

— Да здравствует,— повторил Немцев,— человек, до 14-летнего возраста питавший непреодолимое отвращение к морю и после создавший флот, с коим лично победил первейших адмиралов своего века! Да здравствует строитель «Старого Дуба»!

— Строитель величия нашего и славы,— громогласно сказал секретарь, из глаз которого лились ручьем слезы, а из уст слова, когда речь шла о Петре.— Да здравствует! — продолжал он важно [1],— «Священного Российского Государства священнейший Автократор, Веры православныя всебодрственнейший защититель, злодеяния прогонитель, добродетелей же и сводобных наук и художеств насадитель, Славянских народов вечныя славы начальнейший Автор, врагов победитель, падших возставитель, Царства прибавитель и распространитель, войска верховный Хилиарх, Марс, Генеральный Архистратиг, нашего века державнейший Нептун...» — он не мог продолжать от избытка чувств.

— Что же ты,— просил Немцев, обращаясь к дочери,— не сделаешь приветствия в честь новорожденного?

— Я,— отвечала тихо Ольга,— могу только кончить приветствие Андрея Федоровича и повторить с Кантемиром: «Да здравствует Государь, Отец Отечества, повелитель всемилостивейший и прекротчайший!»

— Прекрасно! Аминь,— сказал секретарь.— Исчислять достоинства Петра недостанет жизни. Я велел бы, однако,— прибавил он, садясь и поглядывая на Ермолая,— каждому русскому вместе с заповедями выучивать дела великого императора и помнить, как «Отче наш», во-первых, письмо его к Сенату из лагеря при Пруте, во-вторых, речь, сказанную им пред народом в 1714 году при спуске корабля «Нарвы» и, наконец, все подробности торжества Нейштадского мира! Выучивать и долго рассуждать над этим.

— Я велел бы,— сказал Немцев,— изучать каждый его шаг, всякое действие, всю жизнь и все минуты этой жизни, клянусь «Старым»...

— А что? — перебил капитан,— неужели император и поныне деятелен, неусыпен, как пред отъездом моим с фон-Верденом к берегам Каспийского моря?

---

[1] Следующие слова взяты из посвящения Петру Кантемиром книги.

— Всегда тот же. Болезненные припадки, к несчастию, в нынешнем году усилившиеся, требовали бы,— сказал, вздыхая, секретарь,— некоторой перемены в образе жизни, но государь тем неусыпнее и деятельнее.

— Андрей Федорович,— спросил Ермолай, обращаясь к секретарю,— вы обещали мне давно рассказать об ежедневных занятиях государя.

— Занятий, дружище, не перескажешь, и слишком их много, и слишком они важны; а вот выслушай, как проходит день для Петра Великого.

Встает он в три часа, до пятого держит корректуру издаваемой в С.-Петербурге газеты и прочитывает рукописи книг, поступающих в печать. Заметьте, что в переводах иностранных сочинений, которые исключительно трактуют о России, он не позволяет изменять ни насмешек, ни даже хулы, которою многие дерзают его осыпать. «Это полезно нам»,— говорит государь.

В пять часов, выпив рюмку анисовой водки и положив в карман футляр с математическими и другой с хирургическими инструментами, государь берет трость, записную книжку и едет на лодке, в одноколке или идет пешком осматривать работы. В седьмом часу заходит в Сенат, переходит из одной коллегии в другую, слушает дела, надписывает свои решения, излагает мнения о важных государственных предметах и любит участвовать в прениях, открывающих ему образ мыслей и степень способностей каждого. В 11 часов, выпив опять рюмку анисовой водки и скушав крендель, государь идет домой, там записывает все замеченное и тотчас делает просителям аудиенцию. Он, не различая чинов и званий, терпеливо выслушивает каждого. По окончании аудиенции садится с семейством за стол. Отобедав, читает иностранные газеты, отмечая на полях, что должно переводить для «Петербургских ведомостей». Потом отдыхает с час, а в 4 часа сидит уже в токарной, которую называет местом отдыха. Как известно нам, здесь производятся все государственные дела. Окончив занятия сии, государь сверяет приказанное и исполненное с заметками записных своих книг, потом пишет письма, указы, составляет проекты, рассматривает сам многие дела, вникает во все, орлиным глазом смотрит из своей комнатки на империю и видит все от мала до велика. Остальную часть вечера он посвящает семейству.

— Чудесно, непостижимо,— сказал капитан. —Не го-

воря уже о способах, ум не может понять, как достает времени, чтобы совершать все сделанное Петром.

— Не забудьте,— отвечал секретарь,— что государь нередко веселит народ торжествами, в которых сам участвует, что он обедает, крестит, пирует, бывает на похоронах у многих подданных, что он собственной рукой пишет иногда до двадцати писем вдруг и производит множество работ столярных, токарных, резных.

— Никитична,— сказал Немцев, обращаясь к старушке, которая во все сие время сидела неподвижно, сложив руки на груди, перебирая пальцами и не спуская глаз с Ольги; по временам она только шевелила губами, как будто читала про себя молитву.— Никитична! Так ли живали цари во время оно?

— Не знаю-с, батюшка,— отвечала старуха, встав, опустив руки и низко кланяясь.

— Она вашего поля ягода,— продолжал Немцев, с улыбкою обращаясь к Ермолаю.— Больно не нравится ей всякая новизна! Правда ли, бабушка?

Никитична со вздохом повторила свой поклон и ответ:

— Не знаю-с, батюшка.

— Телогрейки никогда не хотела снять.

— Теплее в ней, Иван Иванович.

— Мимо Оперного дому проходя, плюет и крестится.

— Крест нигде не мешает, государь мой.

— От немцев чурается, как от чертей. Спрыскивает Ольгу водою с уголька, если случится, что на нее взглянет кто-либо не из родных.

— А как же, отец мой? Глаз дивное дело.

— С мужчинами до сих пор говорить стыдится и боится.

— Смолоду неучена была, родимой.

— На ассамблею и калачом не заманишь.

— Воля милости вашей, а туда, пока жива, не загляну, Иван Иванович.

— Да хоть бы из любопытства — может, тебе и понравится.

— Ох, отец мой, Христос с тобою, слушать больно! Плачу, что и красавицу нашу ненаглядную ты водишь в этот вертеп.

— Да об чем же плакать, коли ей там весело?

— Какое веселие, разврат, батюшка, разврат. Наше место свято, видана ли экая неучливость: мужчина незнакомую барышню держит за руку, да говорит с нею,

еще и по-немецкому, да так ей в глаза и смотрит, да прыгает, Господи Иисусе! А матушки-то сидят себе где-нибудь в углу, как куклы! Стыд, стыд сущий!

— Что же худого, Никитична, коли везде...

— Везде, батюшка, не то, что здесь, мы ведь крещеные, православные. Ох, приходят последние времена, настает царствие антихристово. Бывало, девушка, как алмаз, бережена да лелеяна, сидит в теремочке, окна на двор, да и те завешены наглухо простынькою, а нынче выдумали на прохожую улицу — глядите, добрые люди, кто хочет! Мало еще, напоказ изволят выходить в какую-то, прости Господи, ассамблею да в оперу. Все дьявольские искушения. Да завели порядки такие, что всякому встречному подавай целовать свою руку! Бесстыдство какое! Ох, родимой мой, дурные времена!

Секретарь вынул свои огромные часы.

— Вечереет,— сказал он протяжно,— а иным прочим для вышереченной ассамблеи надлежит еще и принарядиться.

— Точно, точно,— сказал Немцев, вставая,— мы и заболтались.

Все последовали его примеру: секретарь громко прочитал молитву, после которой гости поклонились друг другу и обняли хозяина.

— Ну, до свидания! — сказал он.

Капитан взял шляпу и подошел к Ольге, возле которой стоял Ермолай.

— Надеюсь видеть вас и танцевать с вами, если позволите,— при сих словах он поцеловал ей руку и, сказав что-то по-немецки, вышел из комнаты.

Ермолай покраснел.

— Вы не пойдете на ассамблею, Ольга Ивановна?

— Пойду-с, я обещала батюшке.

— Но если меня там не будет?

— О, вы, верно...

— Но если я решился не идти?

— Я уже обещала танцевать с...

— С этим... храбрым капитаном?

— Пора одеваться, Ольга, опоздаешь,— сказал Немцев, разговаривавший с секретарем. Ольга, закрыв лицо платком, взошла на лесенку, сопровождаемая нянею. Секретарь вышел, Немцев заперся в своей комнате. Ермолай остался один. Вдруг он как будто очнулся и побежал из комнаты опрометью, но принужден был воро-

титься за шапкой, которую забыл — верно, от рассеянности.

Нагнав секретаря, Ермолай в продолжение всей дороги говорил без умолку, но говорил, как человек в бреду, то он восхищался рассказами о государе и великих его делах, слышанных им со времени пребывания его в С.-Петербурге, то бранил нововведения, то прельщался храбростию войска и флота — хотел тотчас же поступить в службу, чтоб сделаться известным, отличиться, обратить на себя внимание и похвалы, то утверждал, что все военные невежливы, хвастливы, и, верно, так же не нравятся женщинам, как и ему. Он божился, что говорить по-немецки непристойно, что танцевать есть совершенная глупость и что он не только не хочет сам этого делать, но не хочет даже видеть, как другие дурачатся; что целовать руку девице более нежели невежливо; что он чувствует в голове жар, будет болен и даже может умереть, что он свадьбу намерен отложить и ехать в Москву; что Ольга очень хороша; что морской капитан должен быть чрезвычайно дерзок и проч., и проч.

Секретарь молчал и улыбался. Пришли домой. Ермолай сел в угол. Секретарь начал одеваться. Он рассказывал о пышности двора, о вельможах, которых увидит на ассамблее, о любви к ним царя и народа, упоминал об ученых, об иностранцах, о занимательности их разговоров. С особенным жаром описывал красоту девиц, ловкость кавалеров, которые с ними танцуют, и толковал о непринужденном веселии ассамблей.

Ударило пять часов. Пушечный выстрел с Адмиралтейства прогудел над городом, в разных местах раздался барабанный бой и подняты были флаги — то был сигнал сбираться в Летний сад на ассамблею, о которой жители были уже предварительно извещены прибитыми к углам домов объявлениями.

Секретарь вышел, а с ним и Ермолай. Надевая шапку, он сказал рассеянно:

— Я доведу вас до саду, Андрей Федорович.

Улицы начали наполняться экипажами и пешеходами. Нева покрылась бесчисленным множеством речных судов, как-то: шлюбок, шорнтгоутов, буеров и вереек. Как стая птиц, они, налетая со всех сторон, то длинными полосами тянулись одна за другою, то путались, сближались, из стесненных рядов по временам отделялись лодки, управляемые искусными удалыми гребца-

ми, они при крике испуганных пассажиров, сильно рассекая веслами невские струи, с громким смехом обгоняли друг друга, стремясь наперерыв к цели своего плавания.

Набережная перед садом чернелась от скопившихся на ней посетителей ассамблеи. Богатым и пышно одетым сопровождавшие их слуги в цветных ливреях расчищали дорогу, становясь в два ряда и тем ежеминутно полося толпу, расступавшуюся с почтением. Издали берег можно было принять в эти минуты за темную, волнистую ткань, по которой вдруг раскатывались ленты ярких цветов, засыпанные золотыми блестками.

Ермолай и секретарь молча достигли деревянного помоста, ведшего к дверям построенных на берегу галерей. Здесь полицейские офицеры и служители рачительно оглядывали входивших, ибо для одних только *порядочно одетых* открывались врата сего храма веселий.

Путеводимый опытностию, осторожный секретарь удобно и свободно совершил трудный переход под прикрытием обширной спины колоссального голландского шкипера, беззаботно прорезывавшего себе широкую дорогу с хладнокровной смелостию корабля, приучившегося бороться с волнами.

Он был впущен в сад, и вслед за ним вошел и секретарь, *порядочно одетый*, ибо, по случаю ассамблеи, на нем был довольно рыжий парик и довольно заношенный светло-зеленый плисовый саксонский кафтан, из-под которого гордо выглядывал длинный камзол, или *жалет*, горчичного цвета. Ермолай, следивший секретаря, зная или не зная, что делает, приготовился уже переступить порог, но решетчатая дверь, едва не отдавив ему ноги, неучтиво затворилась перед самым его носом. В эту минуту рука высокого полицейского сержанта в желтой длинной рукавице, схватив конюшего за плечо, поворотила его так искусно, что он очутился лицом к Неве, а спиною к саду, только громкое «не можно» пролетело сквозь его уши, как молния.

Все это сделалось так быстро, что Ермолай не мог еще порядочно сообразить случившегося, как между им и садом находилась уже густая, ежеминутно возраставшая толпа, которую пробить, казалось, недостало бы ни сил, ни терпения. Удивленный конюший, осмотрясь, спросил довольно робко у соседа:

— Можно ли мне?..

— Куда-с?

— В сад — куда все идут!

Сосед, взглянув ему в лицо, отвечал, качая головою: «Не можно-с»,— и продолжал пробираться далее.

— Скажите, неужели мне не можно дойти до этого саду? — спросил Ермолай с сердцем у другого.

— Дойти до дверей саду можно, а в сад войти нельзя.

— Отчего же, ради Бога, я вижу здесь солдат.

— Если б вы были солдатом, вас впустили бы тотчас.

— Это очень смешно. Я дворянин и, кажется, одет *порядочно,* золотых галунов с моего чекменя достанет двадцати гвардейским сержантам, и дорогая бобровая опушь моей шапки не хуже...

— Не опушь шапки, сударь, а опушь вашего подбородка претит вам...

— Как? Борода?

— Указано с бородою никого не впускать.

Новое движение толпы разделило разговаривавших. Ермолай задумчиво отошел к берегу. Он прислонился к ряду кольев, к которым привязаны были шлюбки, и безмолвно смотрел на галереи. Желание проникнуть в сад волновало его душу, он забыл нелюбовь свою к ассамблеям. Сад казался ему раем, к которому преграждена была дорога; досада рвала его сердце. В окнах средней галереи мелькали хорошенькие женские головки. Глаза Ермолая бегали, лицо пылало. Он крутил усы, щипал бороду и говорил так громко, что окружавшие его оборачивались.

— Нельзя! Потому что я с бородою и не похожу на этих чучел. Потому что на мне красивый чекмень, а не тряпки, которые болтаются, как на нищем! И мне не сказали этого. Они хотели... Завтра же... сейчас же вон из Питера и клянусь, что никогда нога моя...

Он поднял глаза: у открытого окна средней галереи морской офицер, с жаром о чем-то разговаривавший с девицею, в эту минуту целовал ей руку. Ермолай узнал их. Он побледнел, как полотно, и закусил губы. Ревность кипела в его сердце, она теснила ему грудь и жгла голову. Ермолай был вне себя.

— А! Понимаю теперь! Все это сделано с намерением. Обман, притворство! — сказал он гробовым голосом.— Зная, что меня не впустят, они хотели не только обмануть, но осмеять, одурачить. Они все были в заговоре! Не удастся же... Увидим, кто над кем будет смеяться.

О, я отомщу жестоко им, и этому хвату! — он надвинул шапку на брови и почти опрометью побежал влево по набережной.

Пользуясь отсутствием ревнивца, посмотрим, что делается в саду.

Секретарь, опытный знаток человеческого сердца, в какой бы оно ни билось груди, под чекменем или французским камзолом, был почти уверен в успехе испытания. Он знал, что Ермолай пожелает быть в саду и что его не впустят. Переступив чрез порог, секретарь, не останавливаясь, шел далее — он хотел отыскать Немцева и в ожидании решительных последствий утешить дочь его, сердечно любившую своего жениха.

Пробежав сперва по всем галереям, секретарь наиболее останавливался в средней, назначенной для дам и лучшего общества. Здесь приготовлены были сахарные закуски. Императрица и царевны, как хозяйки, сами встречали знатных гостей, поднося им по чарке вина или меду. В боковых галереях стояли холодные блюда для мужчин; от галерей тянулись на 250 сажен три аллеи, перерезанные другими под разными углами. Возле сохранившегося поныне дворца была дубовая, довольно тенистая роща; несколько далее к стороне Фонтанки находился грот, обложенный внутри раковинами,— там, на поставленных кругом скамьях, гуляющие находили прохладу и отдохновение. Очищенная пред гротом квадратная площадь обставлена была хорошо выбитыми из меди изображениями любимых Петром I Езоповых и Федровых басен [1] с написанным внизу оных истолкованием каждой. Тут собралось множество гостей: одни с любопытством прочитывали толкование басен, другие ожидали императора, который обыкновенно чрез это место проходил из дворца в главную аллею. На лужках, окружавших площадку, расставлены были маленькие скамьи и столы, на которых находились шашки, трубки, табак, спички, кружки с пивом и проч. На трех площадках главной аллеи, украшенной некоторыми из сохранившихся поныне мраморных фигур, стояли тоже столы с играми, питьями и закусками. Площадки сии именовались по званиям собиравшихся на оных лиц: *Дамская, Архиерейская* и *Шхиперская*. Между двумя водометами было очищено место для танцев; далее, возле прудов, на

---

[1] Петр чрезвычайно уважал сии басни и весьма часто приводил оные в разговоре.

длинных столах приготовлены были закуски; наконец, в стороне от главных аллей стояли открытые бочки с пивом, водкою и винами, из коих посетители низших разрядов черпали по желанию. В различных местах сада гремела музыка, состоявшая из труб, фаготов, гобоев, литавров, валторн и тарелок; по временам раздавались звуки польского рожка, привлекавшего внимание гулявших,— он введен был Петром в тогдашние хоры и до того был любим государем, что он не только постоянно имел при себе музыканта с сим инструментом, но и сам нередко игрывал на оном.

Секретарь обошел все части сада, тщетно отыскивая Немцева и его дочери. Между тем было уже около семи часов. Император вышел из дворца, и гулянье оживилось еще более. При появлении Петра двери сада затворились по обыкновению, и никто не мог уже с сей минуты покинуть собрания без особенного на то позволения.

Чрезвычайный жар дня начинал умеряться вечернею прохладою. Гости, рассыпавшись по аллеям, без всякого стеснения предавались веселью, каждый был, как у себя дома. Присутствие Петра, отбрасывавшего в сих случаях всякий этикет и обходившегося со всеми, как с ровными, поддерживало непринужденную веселость и простоту в обращении, которые были отличительными чертами подобных обществ в его царствование. Некоторые из гостей слушали музыку, другие громко разговаривали, смеялись, гуляли рука под руку, играли в шашки, пили пиво, курили табак и т. п. Около пруда собралось множество зрителей: там государев карлик тешил присутствовавших своими шутками и остротами. То в одежде Нептуна с огромным трезубцем в руке, то в наряде какого-нибудь сказочного чародея он являлся в маленькой раззолоченной лодке и кружился по пруду, на середине которого была устроена на небольшом островке беседка на шесть человек. В нее забирались самые страстные любители даров Бахуса, и, отягченные парами вина, при громком хохоте зрителей, они вталкивали друг друга в воду. Словом, все разряды посетителей наслаждались, все имели здесь удовольствия свои, может быть, несколько грубые, свойственные духу времени, но в коих никогда не были нарушены благопристойность и приличие. Разность состояний во время ассамблей забывалась совершенно: Петр показывал пример: то, взяв

трубку, он садился к круглому столику, где толковал с матросами о мореплавании, с военными пил пиво и рассказывал о своих походах, то приветствовал гуляющих дам, шутил с ними, сам потчевал их сластями и знакомил с кавалерами, то, встретив шхиперов или фабрикантов, брал их под руку и, широкими шагами проходя аллеи, с жаром говорил о пользе их занятий, публично благодарил и хвалил предприимчивых, входил в подробности их дела и любил выслушивать их мнения и советы. В шашечной игре он не находил себе равного, но играл с многими. Нередко, обыграв какого-нибудь *доку* из канцелярских служителей, он шел к большому фонтану рассуждать с иностранными министрами о политических делах или давал приказания своим. Таким образом, уделяя среди самых праздников время на пользу, он был среди народа своего как внимательный, ласковый наставник, как добрый отец среди детей.

Вскоре начались танцы. Все *умевшие танцевать* заблаговременно заняли места на скамьях, поставлённых вкруг той части главной аллеи, которая для сего была назначена. Здесь был приготовлен особый оркестр, составленный по образцу привезенного в Петербург герцогом Голстинским: он состоял из клавикорд, нескольких скрыпок, виольдамура, альта, виолончеля, контрбаса, флейт и валторн. Танцы заключались в польских и английских контрдансах. Отличительный характер первых состоял в надутой степенности, важном выражении лиц, гордой поступи, в неловком шарканье и фигурной осанке танцоров; во вторых заметны были полусмешная развязность и странное прыганье; каждая пара делала свои фигуры, и почти каждое лицо танцевало по-своему. Дамы приглашаемы были тремя церемониальными, низкими поклонами с шарканьем в обе стороны. Эти учтивости производились кавалерами в приличном отдалении. Окончив танец, кавалер почтительно целовал своей танцорке руку, к которой едва смел дотрагиваться концом пальца, и учтиво провожал ее к месту, после чего церемониально откланивался.

Секретарь отыскал Немцева с дочерью на месте, назначенном для танцев.

Среди общего веселия одна только Ольга задумчиво сидела на скамье возле отца своего. На костяном набалдашнике высокой его трости сложены были его руки, а на руках утвержден был подбородок. Он внимательно смотрел на танцевавших. Казалось, в подвиж-

ных, изменявшихся чертах его лица можно было попеременно читать все его мысли. Немцев то задумывался, то, глядя на молодых людей, он расправлял морщины, и глаза его блестели. Иногда на челе его пробегало, как тень, сожаление или беспокойство. Тогда он, не говоря ни слова, брал руку дочери и крепко сжимал ее своей рукою. Секретарь сел возле девушки. Она вздрогнула. Он начал ей говорить вполголоса, он желал ее в чем-то убедить, но слова его, видно, были ей неприятны. Она недоверчиво качала головой и часто, отворачиваясь от него, подносила платок к глазам.

— Сердитесь как хотите, а я уверяю вас, Ольга Ивановна,— говорил секретарь,— что это необходимо. Он вас любит, как душу, но этого мало, ему насильно должно открыть путь. Он упрям, настойчив. Ревность, ревность — вот единственное средство. С его природным умом, с его доброй душой ему стыдно пропадать в неизвестности. Вам царь будет обязан новым полезным слугою. Вы будете причиною, что жених ваш переродится, что...

— Но,— говорила девушка,— если опыт не удастся, признайтесь, кого не обидит подобное поведение? Если он, не ожидая объяснения, уедет? Ему не известно, что капитан мне родственник. Если он подумает, что я обманула его, что я хотела смеяться над ним, устыдить его,— это неучтиво, это ужасно!

— Не бойтесь, не бойтесь.

— Однако,— отвечала девушка,— девятый час, его нет. Он не придет, он уехал... Как могли вы думать... Ах! Если б вы знали, как я его... уважаю! — тут она покраснела и почти заплакала, опустила глаза.

Секретарь смотрел пристально в толпу. Он сам начинал уже беспокоиться. Во время сего разговора стройный гвардейский сержант, желая танцевать с Ольгою, став в приличном от нее отдалении, давно по обыкновению шаркал, фигурно округляя руки и перегибая спину. Вместо необходимых трех поклонов он, вероятно, сделал более тридцати. Он даже покашливал при каждом, чтоб быть замеченным, но Ольга ничего не видела. На потупленных глазах ее блестели две жемчужные слезинки, а думала она вовсе не о гвардейских сержантах. К счастию, его заметил отец девушки.

— Что же ты, Ольга,— сказал он, легонько толкая ее локтем.— Помилуй! Молодец более получаса кланяется!

— Ах! Виновата-с,— она вскочила с лавки, быстро подошла к кавалеру и, желая скрыть смущение свое, протянула уже к нему руку, но музыка вдруг замолкла, танец был окончен. Бедная девушка стояла одна, почти на середине площадки. Робко озираясь, она краснела более и более. Замешательство ее дошло до высшей степени, когда увидела, что государь, стоявший недалеко с некоторыми из придворных, пристально глядел на нее в эту минуту. Нужно было стать на место, нужно было пройти пространство, отделявшее ее от лавки, под наблюдательными взорами Петра, окружавших его гостей и сотни молодых мужчин, шептавших и с улыбкою смотревших на хорошенькую девушку, которая дрожала и была более мертва, нежели жива. Почти не помня, что она делает, Ольга оборотилась лицом к скамье, переступила несколько шагов, но, поднявши глаза, вскрикнула и чуть не упала на колени отца, сидевшего на прежнем месте.

— Что ты? Что ты, дитя мое? Бог с тобою! — говорил испуганный Немцев, поддерживая дочь и осеняя ее крестным знамением.

— Что случилось с прекрасной девицею? Не ушиблась ли? Кто она? — спрашивал Петр, с участием подходя к Ольге и помогая Немцеву посадить ее.

— Государь! Это моя дочь. Не знаю, что сделалось, занемогла, видно.

— Доктора! — сказал государь, оборотясь. Все засуетились, одни принесли воды, другие уксусу, некоторые ржаного хлеба с солью.

— Ломтик хлеба с солью, или спрыснуть водою, с молитвою,— говорили многие.— Она такая красавица, видно, с чьего глазу приключилось.

— Ничего-с, я здорова, только ступила неосторожно,— робко произнесла девушка.

— Очень рад, но не зашиблась ли? Может, испугалась? — спросил государь.

— Я один всему виноват,— сказал молодой человек, красивый и щегольски одетый в богатое немецкое платье.— Я испугал Ольгу Ивановну.

— А кто твоя милость? Чем испугал?

— Я жених ее.

— Поздравляю, но что же?

— Я стоял за этой скамьей. Она не ожидала меня видеть здесь, государь: за два часа пред сим я был с бородою.

Секретарь не мог утерпеть.

— Vivat! Vivat! — закричал он.

— А! Старый знакомый,— сказал Петр, ударив его по плечу. Потом, обратясь к собравшимся: — Продолжайте веселиться,— сказал он,— а мы разберем эту загадку.

Государь сел возле Ольги, посадил с другой стороны секретаря, поставил против себя Ермолая и требовал подробного объяснения.

Когда каждый в свою очередь рассказал все, когда Ермолай признался, что любовь и ревность заставили его исполнить искусное предначертание секретаря и что слышанный им разговор Ольги с секретарем на этой самой скамье уничтожил минутное его подозрение,— тогда Петр встал.

— Спасибо вам, спасибо и тебе,— сказал он Ермолаю, ударив его по плечу.— Бороду бросил ты не из ревности ко мне, а от ревности к невесте, но все равно я доволен. Ты этим сделал мне приятное, а себе несомненную пользу.

— Государь! — сказал секретарь.— Он не себе только желает быть полезен...

— Весьма рад, жалую тебя солдатом в Преображенский полк, надеюсь скоро видеть капитаном.

— Государь! Я не заслужил твоей милости...

— Заслужишь, я уверен. Женись на Ольге Ивановне, будь верен нам обоим, а если кто из нас изменит, то бороду всегда успеешь отрастить. Ну! Прошу же веселиться. Покажите ему наши ассамблеи.

Ласково поклонясь, Петр отошел. Ермолай был вне себя от восторга.

В одиннадцатом часу с луга взвилась блестящая ракета и, лопнув, рассыпалась яркими звездочками над садом. Тогда лучшая публика наполнила галереи, остальные гости вышли на набережную.

На Неве на плоскодонных судах, известных под названием прамов, сожгли великолепный и разнообразный фейерверк, продолжавшийся более получаса.

Сим окончилось празднество тезоименитства Петра I. За полночь сад опустел совершенно. Вскоре движение пешеходов и экипажей на улицах, а лодок на Неве прекратилось, и город заснул. Только слышались мерные шаги полицейских патрулей и оклики караульщиков и десятских, да изредка раздавался стук рогатки, отодвигаемой на конце улицы для запоздалого гостя ассамблеи.

1834

Н. В. Кукольник

АВДОТЬЯ ПЕТРОВНА ЛИХОНЧИХА

I

— А что, Волчок, воротился Тихон Никитич от государя? — спросил князь Петр Иванович Прозоровский у круглого карлика, который лежал на окне, как кот, и, прищурясь, грелся на солнышке.

— Ох-ох-ох! Петруша! — отвечал карлик.— Такое безвременье! Ночи не спим; пишем да пишем; государь сто раз на день спрашивает; а тут еще в монастыре так тесно! В одной келье и боярин, и я думаем, и дьяки пишут, и допросы чиним, а обедать изволь в трапезу, а отец Сильвестр такой скупой: вчера был пяток, и рыбы не дал, как будто мы монахи с Андрюшкой; я еще, чай, проживу, а уж дьяк Андрюшка не выдержит. Уж когда Успение было! Отец Сильвестр и на осень не глядит, печек не топит; видишь, у него на монастыре лето, а за оградой мороз.

— Полно, Волчок, стерпится-слюбится; к Рождеству, даст Бог, в Москву переедем,— сказал князь, улыбаясь.

— К Рождеству, Петруша? — завопил карлик.— Умру, ей-богу, умру,— и заплакал.

Вошло несколько человек, и князь оставил карлика, который полежал, позевал, да с горя и заснул.

— А, генерал, давно ли из Москвы?

— Счас с места,— отвечал Гордон.

— Были у государя?

— Был.

— Ну, что в Москве?

— Очень смешно, князь.

— Как смешно? То есть весело, хотели вы сказать?

— Нет, нет! Никакая ошибка не есть! Очень смешно: царевна велит стрельцам на поход, а стрельцы плакают, ломают руки, ходят в церкви; бояры делают один

другому визит день и ночь и ни на какое дело решиться не могут. Я получил указ и пошел кланяться к Василию Василичу Голицыну. Старший человек в Москве и от государя еще абшид имеет! Он меня посылал кланяться к Софье Алексеевне и к Ивану Алексеевичу. Я отвечал: имейте милость, князь, меня извинить, я не могу, в указе не есть сказано. И я прямо от вас к солдатам, а потом в Троицкий монастырь. Адьё!

Вошел боярин Борис Алексеевич Голицын. За ним толпа разного рода сановников, стрелецкий полковник Циклер и другие.

— Что, не возвращался Тихон Никитич? — спросил боярин.

— Нет еще.

— Плохо, плохо. Чем все это кончится? — сказал боярин, ходя по узкой комнате, где едва давали ему дорогу присутствовавшие, прижимаясь к стенкам.

— Что, плохо, боярин? — спросил князь.

— Плохо, плохо. Миру не будет. Беда, как человек в осьмнадцать лет, а ум в сорок!

— Да отчего ж беда?

— Упрямится! Миру не бывать. Слушать ничего не хочет! Судит всех, да и только, всех судит по отцову закону нещадно: и сестру-царевну, и князь Василья Васильича Голицына, и князь Алексея Васильича Голицына, и Леонтья Романовича Неплюева, всех, всех! Удивил! Просто удивил! Патриарха хотел судить, да Иоаким покаялся и, что царевна говорила, все выдал. Плохо, плохо!

— Да отчего же плохо?

— Да оттого плохо, князь, что я за Василия больно боюсь.

— Свой своему поневоле друг; оно так, Борис Алексеевич, да не бойся: князь Василий на честной службе вырос, ума ему не занимать, грешного совета не подаст.

— То-то и беда, что советовал царевне в Польшу бежать.

— В Польшу! — закричали все.

— Ну, нечего сказать! — с грустью сказал князь.— Опростоволосился. Да верно ли это?

— Патриарх выдал. А как патриарх сказал, так и Татьяна Михайловна, и Марфа, и Марья Алексеевны повинились, что слышали. Вся надежда на Тихона Никитича: судить-то придется ему.

— Вестимо, ему. Да только Тихон Никитич, как

сам знаешь, не милостивец: что он, что уложенье, все равно.

— Авось уломаем. Только помогите.

Двери отворились, и все замолчали. Вошел боярин Тихон Никитич Стрешнев. Величие и доброта, смешанные с глубокою грустью, осеняли окладистое красивое лицо боярина. Дьяки несли за ним бумаги. Волчок вскочил с окна и подбежал к нему. Стрешнев, гладя его по голове, с приветною, но принужденною улыбкою сказал предстоявшим:

— Здравствуйте, добро пожаловать! Не я, неволя задержала. Бог милостив,— и уселся в большое кресло, которое с трудом дотащил до него Волчок, приговаривая:

— Ну кресло! Знать, его за труд старцы таскают.

— Полковник! — сказал Стрешнев грозно, и Циклер побледнел. (Хотя он по суду и остался оправданным, но верность его была сомнительна, и последствия оправдали сомнения.) — Знаю, все знаю, да хорошо, что повинился. Грех велик, так ступай, да Богу молись, да гляди, чтоб опять не поскользнуться. Видит Бог, подымать не стану. А за Лихонцев если не суду, так Богу ответишь. Всего трое из целого полку. Не досмотрел. Где глаза были? Андрюшка, роспись!

Дьяк подал большую книгу, где вписаны были имена преступников, преданных суду под председательством боярина Стрешнева.

— Много крови, много! Да авось последний раз. Приложи руку, Циклер, смотри, чтобы не отрубили, коли по сыску не то сыщем. Ступай.

Циклер расписался в справедливости своих показаний и ушел. За ним отпустил боярин почти всех гостей. Остались боярин Голицын, князь Прозоровский и генерал Гордон.

— Князь Петр Иванович! — сказал Стрешнев, обращаясь к Прозоровскому.— Тебе есть наряд в Москву. Поезжай и возьми Шакловитого.

— Да как же я возьму? Он в палатах у царевны. Слышно, спрятан, не выдаст.

— Ты уж только поезжай. А не выдаст — хуже будет. Его на суд зовут, так и скажи. А что по суду окажется, Бог знает, неведомо. Князь Петр Иванович, подымайся, время не терпит.

— Да разве государь указал?

— Не мне же тебе указывать! Возьми ратных людей

у генерала, а стрельцам верить нельзя. Да поклонись от меня Голицыну и скажи, что Бог милостив. Пусть прихворнет па время, когда совсем отстать старику не приходится. Только, чтобы греха берегся, а то уж никто не поможет. А на мой суд пускай не идет: слягу в постель, а друга не помилую.

После такого откровенного разговора Борису Алексеевичу Голицыну, дальнему родственнику князя Василья Васильевича, нечего было делать у Стрешнева, и он ушел, потупив голову, вместе с Прозоровским. Остался один только Гордон.

— Генерал, что, ты снял уже начало?

— Имел счастье.

— К палатам царским государь стражи указать не изволил, так ты, пожалуй, поставь своих надежных, знаешь, так, где-нибудь поблизости от палат, да чтобы мне они с царского порога глаз не спускали. Понимаешь ли?

— Я понимаю,— отвечал Гордон.

— Он ничего не боится, а мне, старику, от страха за него так и сна нет. А не то я сам буду торчать на пороге.

— Мы с капитанами будем не отходить.

— Ладно, ладно, генерал. Да, вот, сегодня привезли злодеев: сдадут тебе по этому списку. Держи их покрепче.

— Они уже есть у капитана фон Энке. Там и три Лихонца. Матушка их просила меня, чтобы говорить с государем и с вами об них.

— Да что тут говорить! Надо колесовать, да и только. Таких злодеев может миловать государь, а наше дело — закон. Пускай бьет челом государю. Да где она?

— Здесь.

— Что ты, генерал, хочешь ей доброе дело сделать? Так пропусти на монастырь, в твоей власти, да пусть и сторожит государя завтра у собора перед обедней. Авось помилует!

— Я буду ей это сказать.

— Скажи, скажи... Бог милостив... Прощай!

Гордон ушел, а Тихон Никитич погрузился в чтение бумаг. Безмолвно и недвижно торчали за его креслом два дьяка, а Волчок спал на солнышке.

II

Троицко-Сергиевский монастырь со всеми посадами и окрестностями в половине сентября 1689 года походил более на шумную и многолюдную столицу нежели на тихую обитель иноков. Не праздник был у Троицы, не молельщики стеклись со всех пределов Руси к нетленным мощам чудотворца, нет, решалось государственное дело; больше: решалась судьба России. В зданиях на монастыре проживали Петр Алексеевич с государыней родительницей, тетка государева, Татьяна Михайловна, с двумя сестрами Петра, патриарх и некоторые важнейшие сановники. Архимандрит Сильвестр с братиею переселился в служебные избы, очистив гостям свои кельи; на посадах жили бояре и разного рода чиновные люди; стрелецкие полки в поле простирались станом вплоть до Хатькова монастыря. Там, в монастырской гостинице, теснилась разнородная толпа приходящих. Кто ни шел, ни ехал, сворачивал к Хатькову, желая сначала тайком осведомиться о троицких делах. Даже после царевны Софии Бутурлин и князь Троекуров, не получив согласия Петра на свидание с царевной, возвращались тем же путем. Но, к огорчению, не могли набрать добрых слухов, напротив, они с трудом пробирались и по большой московской дороге, покрытой поездами и пешеходами. Их везде встречали и провожали насмешками. Народ ведал, что царевна кается, и, вместе с Петром, не верил ее искренности. Акт обвинения торжественно и всенародно был прочитан в присутствии государя с крыльца троицких царских палат. Орудия казни давно уже были выставлены в поле неподалеку от монастырской ограды и наводили трепет на любопытных. Но такова зверская природа человека: назавтра любопытные снова теснились около страшных орудий и снова с трепетом расходились. Со дня на день ожидали трагического представления, узнавали о времени. Каждый произвольно назначал день и час. Но казнь не могла совершиться без Шакловитого, начальника стрелецкого приказа и главного орудия честолюбивой Софии, и толкам не было конца.

Одна только женщина не любопытствовала, не входила в толки. Поздно за полночь пришла она к воротам Троицкого монастыря, и все надежды ее рушились. В ворота пропускали только тех, которые были лично знакомы немецким капитанам или старшим сановникам.

Опасениям и расспросам усердных немцев не было конца: они входили во все подробности домашней жизни, во все отношения и связи, даже в генеалогию приходящих. Многие молельщики, случайно попавшие в троицкое дело из усердия немцев, сидели под крепкой стражей, а ночью подвергались подозрительным допросам. На одних женщин не падали их сомнения, и вот почему Авдотья Петровна Лихончиха могла просидеть у Троицких ворот всю ночь и утро. Немало бояр, окольничих, думных дьяков прошло с посадов на монастырь. Каждый затыкал уши, когда Авдотья Петровна просила покровительства, и это не риторическая фигура, нет, просто затыкал уши и, пробегая в ворота, кричал: «Не слышу, не слышу!» Имя трех Лихонцев наводило этот ужас. Они вместе с начальником стрелецкого приказа Шакловитым, вместе с Резановым, Гладкими, Петровым и Чермным ездили в Преображенское на страшный подвиг, разрушенный верностью двух стрельцов, Феоктистова и Мельнова, которые уведомили князя Бориса Голицына о преступном умысле. Розыскное дело было уже прочитано, сомнений не оставалось, казнь была неизбежна. Приехал из Москвы генерал Гордон, и Лихончиха бросилась ему в ноги.

— Я буду сказать,— отвечал генерал,— Тихону Никитичу, а его величеству не смею, не мое дело. Я сожалею тебя, но помочь не могу. Поди на гостиницу, вот тебе один рубль, там и ожидай, я буду за тобой прислать, если Тихон Никитич будет позволять с ним видеться.

— Благодетель ты мой, ангел ты мой, дай Бог тебе... дай Бог всякого счастия... благополучия!.. Дай Бог тебе... не иметь детей!..— в слезах вопила Лихончиха. Гордон был уже далеко. Авдотья Петровна все еще его благословляла, целуя рубль и обещая положить его на руку чудотворца, если поможет преклонить сердце царево на милость.

III

К вечеру много людей собралось у монастырской гостиницы, всегда тихого пристанища смиренных молельщиков, а теперь шумного веча бесчисленных толков, надежд, сказок и предсказаний. Вече шумело на площадке перед гостиницей, потому что в комнатах

жили придворные. Авдотья Петровна грела старые кости на заходящем солнышке; то молилась, то глядела на дорогу к монастырским воротам. Люди скоро заметили и старушку, и душевную ее тоску и больше из любопытства, нежели из сострадания, спросили:

— Кого ты поджидаешь, матушка?

— Немецкого боярина; обещал прислать за мной.

— Мало ему и без тебя дела? Да и за тобой-то посылать ему какая нужда! Нынче в монастырь и стариц не пускают, а уж такую старуху!

Люди смеялись.

— Без дела и бояр не пускают, а с делом и нищего к государю пропустят.

— За делом? За каким делом?

Лихончиха сказала, и люди разбежались.

Старуха качала им вослед седою головой, но в то же время увидела Гордона, с трудом встала и молча, с невыразимым страхом, ожидала генерала. В смущенном сердце думала она: «А что, если не за тобой, Авдотья?»

— Ну! — сказал генерал,— Тихон Никитич никакую надежду не имеет. (Старуха упала на колени и, воздев руки к небу, дослушала речь Гордона.) — А мы будем делать так. Завтра, перед обедней, приходи к собору и жди на крыльце государя. Я прикажу пустить тебя пройти. Проси государя иметь милость.

И старуха без слов повалилась наземь. Гордон ушел от благодарности, но вскоре явился немецкий солдат, отвел Авдотью Петровну в сторожевую избу на посаде, усадил на скамью, накормил чем Бог послал, и старушка, утомленная продолжительною дорогою и душевною бурею, уснула в первый раз после трехдневной бессонницы.

IV

Колокола гудели. Благочестивые со всех сторон стремились к разным вратам монастыря, но неумолимые немцы отсылали их в церкви на посадах. Немногие, пользуясь или знакомством, или покровительством сильных, успели пройти на монастырь, но и от этих немногих было тесно и душно не только в соборном храме, но и вдоль по всей площадке от дворца до собора. Ожидали государя. Архимандрит Сильвестр в полном облачении приготовился встретить юного царя. Народ жаж-

дал увидеть обожаемую надежду великих дел: тогда еще не видно было ни одного облачка, которое бы обещало страшную и благодетельную бурю, которая потрясла и освежила дряхлую Россию. Не ведали, какими путями вознесется Петр на престол величия, но верили, что юноша царь есть предназначенный строитель России; верили, не условясь, верили, глядя на красоту государя, на орлиные очи, на разум редкий, на волю железной твердости. Безмолвно, с обнаженными головами ожидали люди. Вдруг в толпе раздался крик:

— К самому государю! — Толпа невольно раздвинулась, и Авдотья Петровна остановилась у паперти.

— Отойди, старушка, тут стоять не приходится,— сказал послушник.

Лихончиха не повиновалась.

— Пошла прочь, баба! — закричал потешный и замахнулся тростью.

— Убей, убей! — отвечала она,— видит Бог, спасибо скажу, только тебе же, радость ты моя, и хоронить меня придется.

— Ну, ступай с Богом! — примолвил потешный, смягчая голос.

— Имейте милость оставить ее,— сказал Гордон, подходя к потешному,— она вам и никому не делает никакое беспокойство.

Раздался трезвон, толпа повалилась на колени с громкими и продолжительными «ура!». Петр Алексеевич без шапки шел скорыми шагами один-одинехонек, кланяясь приветливо на обе стороны. Архимандрит Сильвестр с духовенством и боярами появился на паперти и, воздев руки, хотел начать приветственную речь. Вдруг из толпы поднялась дряхлая высокая женщина. Слезы в два ручья лились по лицу, изрытому морщинами, губы, посинев, дрожали. Протянув руки к государю, она величественно, тихо сделала три шага вперед и рухнула к ногам Петра без слов, без стона.

Государь отступил. На лице его было написано недоумение, он оглянулся... возле никого не было.

— Что тебе надо, бабушка? — спросил он, собственными царскими руками поднимая несчастную. Один Гордон, сбежав с паперти, осмелился помочь государю.

— Помилуй! — могла только простонать Лихончиха и снова повалилась к ногам государя.

Странно. Государь стоял неподвижно, не стараясь освободиться от докучливой старухи, с совершенным

спокойствием, и, спустя несколько мгновений, спросил ласково:

— Ну что, бабушка, горе маленько отлегло, как поплакала? Говори же теперь, что надо?

— Помилуй детей моих, солнышко наше, государь православный, ненаглядный ты наш! Не оставь старуху сиротой беспомощной! Помилуй детей моих!

— Да кто твои дети?

— Лихонцы, батюшка-государь!

Царь нахмурился, по лицу пробежало судорожное движение. Он отступил и, сказав отрывисто «не властен, не властен!», пошел вперед.

Речь архимандрита была очень коротка, и государь с духовенством и боярами вступил в храм.

— Царю Небесный! — кричала старуха, не вставая с колен во время речи Сильвестровой и обратив глаза и руки к собору.

— Царю Небесный! Ущедри сердце царя нашего милостью, да помилует детей моих, яко ты помиловал врагов своих!

В это время подходили к собору государыня родительница, Татьяна Михайловна, Марья и Марфа Алексеевны, и некоторые сановники. Нельзя было идти дальше. Старуха на тесной мощеной дорожке, по которой только и можно было пройти свободно, продолжала громко молиться. Вдохновенная горем, она походила на юродивую. Народ со страхом глядел на нее. Глубокая печаль и сумасшествие — соседи, и часто, не лишаясь рассудка, человек в глубокой печали говорит несвязно. Старушка уселась на мощеной дорожке, глаза осушило сердечное пламя. Она поглядела на толпу и улыбнулась. Улыбнулась, и все отворотились. Стало страшно.

— Пошли молиться! — сказала Лихончиха, обращаясь к толпе.— Чего зеваете? Пошли молиться, а не то и вам придется на старости сидеть на голой плите и плакаться за детей ваших! И я ли не молилась? Сергей Радонежский, чудотворец и заступник наш,— возвысив голос, кричала старуха,— поведай государю, как я каждый раз, что подаст мне Бог сына, приходила пешком из Москвы к честным мощам твоим и каждый раз от достатка все, что можно было, все несла к тебе. И о чем я молилась, ты знаешь, чудотворец! Скажи государю!

В это время немецкая стража подошла к несчастной и тащила ее с дорожки.

— Не тронь, немец! Спроси у меня, каково сердцу, когда от него детей отрывают. А государь не отец, что ли?

— Да пропусти государыню! — толковал ей капитан.

Лихончиха не понимала и страшно вопила:

— Не тронь, не тронь! Государю нажалуюсь.

— Оставьте ее! — сказал государь, выходя с Гордоном из собора.— Скажи мне, что могу тебе я сделать доброго, и отпусти меня к обедне.

— Отдай детей, государь!

— Не могу! Они — злодеи. По мне, пожалуй! Я и так простил их и за них же пришел молиться, да отпустит им Господь грехи и не лишит Царствия Небесного. Не могу. Бог может все, а я не могу. И Бог меня поставил царем на то, чтобы в земном царстве Его жила справедливость. А от прихоти ни казнить, ни миловать не смею.

— Батюшка, государь, за милость Господь не казнит. Всех трех детей бояре осудили. Злодеи они, и жизни не хватит ни их, ни моей смертный грех выплакать и постом и молитвою очиститься перед Богом и перед людьми! Да взгляни, государь, на мою беспомощную старость! Много ли мне на этом свете маяться? Милостыни просить не умею, а погляди на руки: не до работы. А умирать придется, что собаке в мороз на чистом поле. Некому глаза закрыть, некому честной земле предать. Батюшка государь, помилуй!

Государь обнаруживал нетерпение. Наконец, приняв грозный вид, сказал:

— Слушай, старуха! Пеняй на себя. Когда бы измолоду детей в страхе Божием держала да добру учила, не дожила бы до стыда и горя.

Старуха до той поры сидела, не могла от слабости подняться, но упрек одушевил ее. Собрав последние силы, Лихончиха встала, подошла к государю и, сложив руки на груди, сказала тихо:

— Напраслина, государь! У меня на дому дурного слова дети не слыхали. Как умер отец, я их пуще глазу берегла ото всякого зла, в церковь водила, на дом дьячок ходил, грамоте учил, поученья из книг читал, и по всей слободе дети мои указкой были. Вырастила. Старшему по осьмнадцатому, младшему по шестнадцатому годку пошло. Полно баловать, сказала я, пора Богу и государю служить. Оделась, одела детей, да в то

же утро и повела их в приказ. Всех трех в стрельцы отдала. «Что ты, Авдотья Петровна, делаешь? — говорили соседи.— Таких добрых детей, да еще и всех трех, в стрельцы отдала!» На то я их добру учила, чтобы они на царскую службу были годны,— говорила я и Бога благодарила, что помог так детей поставить и государям угодить. Так не я уж виновата, что в стрельцах испортились, не у меня под началом души их грехом погубили. Отдай их, государь, матери, вместе каяться будем. Государь, помилуй!

И старуха упала и обвила руками ноги царские.

— Ну, что делать! — со вздохом сказал государь.— Господи, прости моему прегрешению! Всех не могу простить. Выбери себе одного, возьми и ступай с Богом. Гордон, отпусти с нею того сына, которого она выберет.

Государь возвратился в церковь. Старуха лежала без чувств. Немецкие ратники понесли ее к ограде, за ними задумчиво следовал Гордон.

V

— Что, Порох? — гремя цепями, сказал Семен Лихонец,— я маленько вздремнул. Звонили на достойную?

— Не мешай, Сова, дай «Верую» окончить,— отвечал Алексей, младший Лихонец, и молчание водворилось. Изредка возвышался шепот молитвы, и тот скоро затих.

— Надо быть, сегодня праздник какой, целый день служат. Так, знаешь, непокойно, когда другие молятся!

— Молись и ты, Сова.

— Легко сказать! Недаром совою прозвали: целую ночь не вздремнул, было время намолиться.

— И я тоже!

— И я тоже! — сказали другие два брата.

— Да и не так оно легко и заснуть, коли под ногами вода, а железо в бока лезет. Ох! Хоть бы выспаться перед смертью.

— Нет, Вьюн! По мне — так покушать, спать и без того выспишься. Жаль только, что врозь с головой.

— Далеко не отскочит, не стрелецкой рукой снимать будут,— отвечал Сергей, или, так прозванный стрельцами, Вьюн.

— А слышали, братцы,— сказал Алексей,— как дьяк заикался, когда читал поименный розыск?

— Как же не слышать! Да меня, знаешь, зависть брала: чай, этот дьяк перед тем быка проглотил, знай, облизывался.

— А уж правду сказать, мы-то им диво показали, на нас только и смотрели.

— Да чего трусить! А уж как розыск прочли и сказали, что Лихонцам только головы прочь, так я и рукой махнул и не удержался, громко сказал: «Ну, коли только, так спасибо»,— и набольшему боярину в пояс поклонился.

Изверги! Они смеялись, они шутили над смертью, когда уже пришли к ней на очную ставку и, может быть, одно мгновение осталось до последней улики. И для них бежала бедная старуха из Москвы в Троицу, боясь опоздать, расспрашивая в каждой деревушке: «Что? У Троицы еще ничего не было?» И за них она молила так настойчиво государя! Нет! Не за них, за детей родных молила Авдотья Петровна, в душе проклиная преступников и преступленье.

— Слыш, Порох, есть несут! Издали чую.

И в самом деле люди приближались к железной двери, ключ щелкнул, двери отворились.

— Не могу, не могу! Дай, боярин, схожу к государю, авось всех трех помилует.

Гордон улыбнулся и, качая головою, примолвил:

— Нет, больше никакая милость не есть, я и на это не имел никакую надежду. Пойдем. Время дорого.

— Постой! Постой! Не отворяй. Одного обрадую, двух убью. Дай с духом собраться.

— Точно, матушка, время нет.

Гордон сказал, махнул рукою, железные двери завизжали, и Авдотья Петровна уже висела на шее Алексея, он первый попался ей на пути. Злодеи, по невольному чувству, услышав голос матери, встали, смертная бледность покрыла их страшные лица. Слез не было, они давно уже разучились плакать.

Несколько времени продолжалась немая встреча. Отступив и держа сына за плечи, старуха старалась всмотреться в лицо и спросила едва слышно:

— Алексей, ты ли! — В ответ ни слова.— Семен! Семен! — и старуха обвила руки около старшого, и раздались рыдания, и полились слезы.— Сережа? — И третий изверг был в объятиях несчастной. Но они не

чувствовали сладости свидания, горечи раскаяния: один ужас вселяло в них присутствие грозного ангела, пришедшего казнить их небесным оружием. Они молчали.

Гордон был тронут, но свидание было слишком продолжительно, и Гордон, отворачиваясь, чтобы скрыть слезу, дурно украшающую воинственное лицо, сказал:

— Ну, матушка, надо кончить. Которого?

— Которого? — закричала она, опомнилась, и неописанный ужас разлился по старому челу.— Которого... Которого!.. (Вопрос как будто постепенно возрастал в душе несчастной старухи, с ним рос и ужас.) — Семена, Семена! — закричала она и снова бросилась обнимать его.— Первенец ты мой, отец в поход пошел, как ты родился, ты был мне все: и мужа тобой поминала, и Богу при тебе молилась, и сна не знала у твоей колыбели.

— Ну, так Семена! — сказал Гордон.

— Нет, нет, постойте! А Сережа? А Алеша? Чем виноваты, что не первенцы? А уж как я любила Сережу! И какой умница был! И лучше бы мне добрых людей послушать, в приказ отдать, чтобы дьяки письму учили. И он-то меня больше всех любил! Бывало, в церковь: те пойдут или нет, а Сережа всегда удосужится, на рынок тоже. К соседям кто проведет, кто за старухой придет? Сережа! Не было ни у кого в околице другого Сережи...

— Алешенька, голубчик ты мой! И отец тебя благословить не успел, за месяц до родов отошел, и уж плакала я с тобой и над тобой! Не отдам я тебя, Алешенька, будь покоен, ты мое последнее ненаглядное дитятко, уж вместе нам и умирать.

— Да решай же, старуха! — нетвердым голосом сказал Гордон.

— Боярин! Не могу, не могу, боярин, видит Бог, не могу. Пусти к государю, пусти к нашему солнышку. Что они ему! У него столько народу, пусть мне детей отдаст. Пусти...— И старуха рвалась к дверям.

— Нельзя! — сказал Гордон, оправясь. И старуха задрожала всем телом.— Одного, и скорей, а то я сам буду выбирать, и с делом конец!

— Одного! Одного!.. и скорей! А то и этого, пожалуй, отымут! Сеня мой, Сережа, Алеша!..

И старуха металась от одного к другому, обнимала, целовала, но решиться не могла. Любовь матери, как благодать, проникает в души самые черные, и Алексей не выдержал, глядя на свою старуху: долго боролся с сердцем, наконец громко заплакал, и как будто все условились: старуха, Гордон, немецкие ратники, Семен и Сережа разом зарыдали.

Услышав плач генерала, чуткая мать уже стояла перед ним на коленях и жалобно стонала:

— Умилосердись!

— Нет, я не могу, матушка. Если бы я был государем, ни одного бы не простил, милость велика, и я буду все кончить. Жребий!

Бросили жребий, три камня: Гордон сделал насечки на каждом, положил их в свою шляпу и, подавая старухе, сказал:

— Вынимай.

Старуха вынимала камень с выражением странной надежды, ей казалось, что Бог поможет ей вынуть всех трех. Вынула, вскрикнула: «Алексей!» — и упала без чувств.

— Уходи, Порох,— сказал Семен,— да мать возьми, не то очнется, опять ударится в слезы, чего доброго, умрет.

Гордон приказал вынести старуху на чистый воздух и не пускать в темницу. С Алексея между тем снимали цепи, распиливали кандалы на ногах. Мрачный, он молчал, не радовался, не глядел на братьев.

— Что, Порох? — сказал Семен,— веселое дело — воля?

— Поменяемся, Сова. Ей! Даром волю уступлю!

— Спасибо. Приходи на лобное проститься.

— Ох, кабы не матушка... Божья страха ради... иду. Знаешь, как ее голос заслышал, так морозом по коже повело. Что мне без вас на воле? Да ей нужно: старость пришла, а умрет, на себя же руки наложу.

— Брат!.. а брат! — сказал Сергей,— а что матушка говорила, как мы дома-то еще были?

— То-то и мне на ум пришло...

— Обмолвился, братцы! Простите! Стану без вас горе мыкать, пока самого не уходят.

— Ну, прощай, Порох! До свиданья!

— Как бы поскорее!..

Обнялись, и Алексей вышел на монастырь.

VI

Погода была осенняя, пасмурная, мелкий дождик сыпался густой сеткой, кругом грязь, только по дорожкам, мощенным камнями, кое-как можно было пробираться. Гордон велел нести старуху подальше от темницы. Алексей не говорил ни слова, только оглядывался, не зовут ли братья, не хотят ли какого завета дать. Вдруг старуха очнулась, стала на ноги. Опомнясь, она снова принялась плакать и просить Гордона о допущении к царю. Неумолимый отвечал по-прежнему и торопил идти старуху дальше. Достигли ворот. Авдотья Петровна еле ноги передвигала, Алексей поддерживал старушку.

— Пропускай! — сказал Гордон потешному, стоявшему у ворот на страже.

— Митька! — заревел нечеловечьим голосом Алексей, и старуха чуть не повалилась, так быстро он вырвал руку, которою поддерживал мать, и стал шарить около себя. По движениям было заметно, что он искал оружия. Злоба, ярость пылали во всех чертах злодея, зубы стучали.— Нарядили чучелу! — кричал он.— Я те сведу со света!

Ни Гордон, ни старуха не могли понять причины его бешенства. Но потешный был Дмитрий Мельнов, стрелец, который вместе с Феоктистовым уведомили государя о намерениях Шакловитого. Царь, кроме других наград, перевел обоих в потешную роту.

— Что с тобою, Алеша? — заботливо спросила Авдотья Петровна, и Алексей кинулся к ней и стал ее обшаривать, говоря:

— Нет ли, матушка, у тебя?.. Нет! Так я и без ножа слажу.— И бросился на Мельнова. Ноги изменили злодею на влажной мостовой, он опрокинулся, голова ударилась об острый камень, и дух вон.

Все остолбенели. Никто, даже старуха, не хотели подать помощи мертвому, не потому, что уже было поздно, нет, другое чувство говорило во всех свидетелях этого страшного случая. Несчастная мать, как будто свыше пораженная неописанным ужасом, выпрямилась и бодро, без слез, безмолвная, долго стояла над мертвецом. Медленно рука ее отделилась

от груди и остановилась, как будто указуя на труп злодея.

Первый начал говорить Гордон.

— Погоди, старушка! Дело очень трудно. Я пойду и буду докладывать его величеству. Ты не виновата. Государь, верно, будет тебе прощать другого сына.

— Не надо! — с величественною простотою сказала Авдотья Петровна.

— Как, не надо?

— Окаянная грешница! — продолжала она совершенно покойно, покачивая головою.— На старость веры не хватило! Вздумала мешаться в дела Господние! Понимаешь ли, боярин...— прибавила она, показывая на небо,— дети мои осуждены уже и там! Разумеешь ли? Этот суд Божий.

— Чего же ты хочешь, матушка?

— Ничего, добрый боярин, ровно ничего! Нет, есть просьба! Позволь мне взять тело сына. Да что я? Ведь оно и так мое.— И бросилась подымать Алексея. Но Гордон не допустил: приказал нести тело своим ратникам в гостиницу, дал старухе три серебряные рубля на похороны и пошел к палатам царским. Ворота отворились, начался вынос. Дождь ударил ливьмя, и скоро кровь преступника неведомо куда понесли быстрые волны удалой Кончуры.

VII

Государь с государыней родительницей, теткой Татьяной Михайловной, сестрами и боярином Тихоном Никитичем Стрешневым сидели за обеденным столом. Не было веселия и в царской беседе. Государь был пасмурен, и на всех отпечатывалась тень тоски государевой.

— Не хвали меня, Тихон Никитич! — сказал Петр.— Не подумал. Старуха разжалобила. Мне все как-то неловко. Такой вины я отпустить не мог, не должен. Лихонцы преступники *не раскаянные*. И на допросах, как разбойники, остались нечувствительными, и с духовником были неискренни. И прощенный умножит только зло, ему добром не жить.

Государь не успел кончить, вбежал любимец его Иван Михайлович Голицын, тогда еще нежный юноша,

от которого перешла к потомству повесть, нами описанная.

— Что с тобой, Ваня? — спросил государь с беспокойством.

Бледный, дрожа всем телом, Голицын ничего не мог сказать, слова путались.

— Я видел... головой о камень... умер на месте...

Государь встал. Вошел Гордон и объяснил дело. Петр упал на колени перед образом Спасителя, и все, невольно встав, крестились. После краткой молитвы государь сказал:

— Наука! Но горе вам, *нераскаянные злодеи!* Ведайте, яко справедливость, доверенную мне Господом, сохраню строго до конца жизни. Помози, Господи! Позовите старуху! Умница!.. и добрая мать! Она исполнила свой долг, надо ее утешить.— Но старухи нигде не отыскали, не знали даже, в какую сторону она отправилась. Из гостиницы она уехала на подводе с трупом сына, но куда, неведомо.

VIII

Гордон ходил по комнате скорыми шагами. Надо было идти на казнь, быть спокойным свидетелем картины ужасной. Вошел капитан и доложил, что какая-то старуха хочет его видеть.

— Пустить! — сказал отрывисто генерал, и вошла Авдотья Петровна Лихончиха.

Неприятное свидание! Она знала, куда собирается немецкий боярин.

— Что надо? — спросил он, скрывая смущение.

— Сегодня детей моих казнят.

— Да, казнят...

— Отдай мне, боярин, тела их.

— Изволь! Хорошо! Прощай. Мне некогда,— торопливо отвечал генерал и почти бегом пустился в путь от горькой благодарности горькой матери.

IX

Прошло около месяца. В Москве царствовали Иоанн и Петр, порядок и спокойствие. Народ отдохнул от смут, всем казалось, что время бурное миновалось без

возврата, но в келье Новодевичьего монастыря новопостриженная монахиня Сусанна еще сохраняла мирские надежды, еще обдумывала пути возвращения к земному величию. Петр считал вместе с народом, что все кончилось, и спокойно предавался обучению нового войска. Тринадцатого октября в поле под Алексеевским государь назначил собраться потешным и стрельцам для выбору людей из старых полков в новые регименты. Утро встало как будто с умыслом такое ясное, румяное, свежее, с легкой изморозью. На валах и на улицах от Красного крыльца до заставы волновались пестрые толпы народа, ожидая царского поезда. После ранней обедни у Спаса за золотой решеткой государь выехал верхом в сопровождении Ромодановского, Гордона, Лефорта, Головина, Прозоровского и многих других. Миновали заставу, ехали леском, как вдруг навстречу страшная старуха: мочалой в виде обруча обвязана голова, седые с желтизной волосы бросало ветром, босые ноги бодро несли дряхлую бабу. Она опиралась не на клюку, но на целую березку с ветками только без листьев, старые плечи были без покрова. Она шла скоро, размахивая рукой, иногда пощелкивая пальцами, и громко говорила сама с собою.

Государь и спутники остановились. Старуха приметила их, узнала царя и пала ниц.

— Бог помощь, матушка! Куда и откуда? Вставай, полно чиниться,— сказал государь.

— Домой с могилы, надежа-государь,— отвечала старуха.

— С какой могилы?

— Да у деток была!

— А кто твои дети?

— Лихонцы, батюшка государь!

— Да где же они?

— В сырой земле, ненаглядный ты мой. Вот уж, надо быть, четвертая неделя пошла. Стара стала, батюшка, и память плоха, да у меня на косяке зарублено. Каждый день, как пойду, и зарублю.

— Зачем же ты к ним ходишь?

— Что ты это, батюшка государь! Да кто же за них молиться будет? А тебе ведомо, какие они злодеи? Так уж если я их у Бога не вымолю, то наверное с ними на том свете не увижусь.

— Чем же ты живешь сама?

— Щепки по улицам собираю да бедным ношу, кому на дрова денег не хватает.

— А где живешь сама?

— Дом свой, батюшка государь, мужнин дом. Вчера я была в приходе и попу сказала: как умру, так возьми, батюшка, дом наш на церковь да молись за души грешников Лихонцев.

— Послушай, старуха, мне жаль тебя, я хочу тебя пристроить!

— Бог пристроит, надежа-государь, а тебе деньги понужнее нашего. А за милость твою царскую благодарствую. Позволь ножку поцеловать.

И, не ожидая дозволения, старуха почтительно коснулась устами царского сапога и отступила с глубоким благоговением.

— Как хочешь, матушка, а я к тебе буду! — сказал государь и тронулся в путь.

— Милости просим, солнышко мое! Милости просим!.. На похороны! — сказала старуха вослед государю и пошла своей дорогой.

X

Поздно ввечеру, когда совсем смеркалось, к дому Лихончихи подкатилась новая царская одноколка, впоследствии единственный любимый экипаж Петра Великого. В доме все двери были отперты, пронзительный холод и сырость обдали гостей. Соседи, приметив, что государь вошел в дом Лихончихи, где с некоторого времени вовсе не видали огня, поспешили кто со свечой, кто с фонарем к старой Авдотье. Но ее уже не было ни дома, ни вне дома. Она переселилась в лучшую обитель.

— Примерная мать! — сказал государь.— Генерал, Бог лишил ее детей, заступим их место!

— Я буду с этим заниматься, ваше величество! Позвольте мне принимать похороны на мой кошт!

— Пополам, генерал! — отвечал государь, крепко сжав руку верного своего слуги.— Мы и проводим ее на могилу детей и первые бросим землю на гроб доброй матери.

1840

СЕРЖАНТ ИВАН ИВАНОВИЧ ИВАНОВ, ИЛИ ВСЕ ЗАОДНО

Исторический рассказ

I

ВСТУПЛЕНИЕ

Недалеко от провинциального города Костромы, почти по соседству с Татарскою слободою, на небольшой возвышенности, стоял барский двор вдовы Ландышевой; несколько повозок и привязанные к ним лошади не оставляли никакого сомнения, что у Варвары Сергеевны гости, а по опрятному виду и лошадей, и повозок, и сбруи можно было заключить безошибочно, что гости из города высокого ранга, потому что между разного рода рыдванами была и карета! В Костроме — карета! И когда? В начале XVIII столетия! Неудивительно, что у самых ворот стояла толпа зевак обоего пола из большой соседней вотчины Варвары Сергеевны да из Татарской слободы.

— Знать, Ерема, сам воевода в этой избе приехал,— сказал Иван, высокий и статный парень в дешевом, но опрятном кафтане.

— Видишь,— отвечал Ерема, указывая на карету,— и окна в избе поотворяли, стало быть, проветривают.

— Вестимо, проветривают! А что, Ерема, когда бы нам с Домной в воскресенье да к венцу на таком диве поехать!

— Видишь, выдумал! Воевода — полковник, так ему и по чину в такой повозке ездить. А ты и в санях доедешь!

— Лишь бы только доехать. Что-то барыня скажет? Вот мы и теперь с Домной пришли позволенья просить. Ан тут гостей нанесло из города! Станет она с холопьями толковать.

— Ну, так завтра!

— Не ровен час, Ерема. Как барич дома, да не спит, так к барыне приступу нет. Надо так упоровить, чтобы барич с татарами псов гонял по полю, али чтобы по Волге дичь стрелял с дядькой, али чтобы, где ни есть, к девушкам приставал. А так еще, чего доброго, наткнешься на беду.

— Да, шутник барич, нечего сказать.

— Хорош шутник! Третью невесту от Андрюшки во двор оттягал. Дитя, говорит барыня; борони Бог от такого дитяти!

В это самое время на небольшом коне подъехал молодой человек лет осемнадцати. Он был одет в короткий полушубок тонкого синего сукна с бобровой опушкой, на голове — соболья шапочка с кутасиком, как тогда носили дворянские дети. За ним на огромном донкихотовском Россинанте во весь галоп скакал Ефремыч, дядька Ландышева. И руки, и ноги, болтаясь, показывали, как он спешил за дорогим питомцем. Наконец несколько человек *верховых* (так и назывались) заключали поезд. Володя наскакал на толпу и кричал, размахивая плетью: «Раздавлю, раздайся!» Бедные зрители разбежались, один только Иван, схватив за руку дорогую свою Домну, посторонился с дороги и не бежал от наездника дальше. Володя грозно посмотрел на смелого холопа, на Домну и вскрикнул:

— Тьфу ты, черт, какая хорошенькая!

В одно мгновение соскочил с лошади, подал уздцы Ивану и сказал, не глядя на него:

— Держи, болван! Из чьей ты волости, красавица?

— А вон из Кудиновки,— отвечала девушка, покраснев по уши.

— Из нашей волости! Да как же я про тебя ничего не знал? Видишь ты, старый черт! Чтó ты, верно, для себя ее прятал?!

Это обращение относилось к Ефремычу. С трудом удержав сухопарого, вислоухого своего коня, Ефремыч отвечал почтительно:

— Володимер Степаныч, а Володимер Степаныч! Того... Ведь всех не усмотришь!

— Знаю я тебя, старый кот! Сам ты лакомка. Мало тебе, что ли, после барина остается? Как тебя зовут, душка? — спросил он девушку.

— Домной,— отвечала она и заплакала.

— Ну, так поцелуй меня,— сказал Володя, схватив ее за обе руки.

— Не замай! — закричал Иван вне себя от ревности и гнева и оттолкнул Володю так небрежно, что тот не устоял на ногах и покатился под ноги Россинанту. Ужас сделался общим. Ефремыч и верховые спешились и бросились на Ивана. Несчастный понял свое преступление и молча позволил связать себя.

— Ведите его на конюшню, озорника! Вот я его! Домну, Ефремыч, в чулочницы! Слышь, сейчас в чулочницы. Я с нею управлюсь по-своему!

Пока Ефремыч приводил в исполнение приказание Володи, из ворот высыпало более ста слуг разного рода и звания, все кричали хором:

— Володимер Степаныч, маменька кличет.

— Скажи: некогда,— отвечал грубо Володя,— а коли нужно, пускай придет на конюшню. У меня свое дело!

Слуги безмолвно стояли, не решаясь противоречить Володе. Один только шут домовой, карлик Кирилло, осмелился подойти к нему и жалобно доложить:

— Дитятко наше ненаглядное! Ступай к маменьке! Воевода тебе из провинции гостинца привез!

— Какой воевода?

— Полковник, сам полковник Любим Александрович, как его матушка кличет.

— Грибоедов, что ли? Да он с нами незнаком.

— Видишь, у них, у воевод, такой глупый норов: со всеми знакомы, с кем только им вздумается. А гостинец важный, говорит воевода. Матушка его допрашивала — не признается, толкует: обождем Володимера Степаныча.

— Ефремыч! — закричал обрадованный Володя,— ты свое дело делай. Я на конюшне ужо позабавлюсь, а Домну в чулочницы, на задний двор, в старые хоромы!

И опрометью бросился в свои покои.

II

ПОЛКОВНИК СТАРЫХ ВРЕМЕН

Домы наших допетровских дворян были весьма оригинального и, признательно сказать, глупого устройства. Жилой дом состоял из большой палаты, соединявшей в себе наши гостиную, зал и столовую, из сеней, бестолково разделявших большую палату от двух, редко трех комнат, где была спальня, образная и нарядная или уборная комната, род кладовой. Наверху светлица или, лучше сказать, бесполезный мезонин, домашняя гостиная для коротких гостей. Иногда надстраивались терема для большой семьи. Но чаще дети мужского пола жили в особых домах на том же дворе,

подобным же образом расположенных. Нередко случалось, что на одном дворе стояло два или три жилых дома, да столько же для разного рода дворни и челяди, да амбары, да то, да се. Словом, барский двор походил более на городок и кругом почти всегда обносился бревенчатым или дощатым высоким забором с огромными с двух сторон воротами и многими калитками.

Когда Володя вошел в большую палату, глазам его представилась великолепная картина, какую он видывал (и всегда с особым удовольствием) только по высокоторжественным дням именин его да матушки. Как и в оные блаженные дни, на длинном и узком столе расставлено было многое множество разного рода мяс, рыб, закусок, соусов, холодных и разных блюд. Во флягах разного фасона покоились наливки, пиво, мед, а посредине, вытянувшись, торчала длинная бутылка заморского вина. Какое то было вино, ни Варваре Сергеевне, ни Владимиру Степанычу не было известно, потому что оно было подарено прадеду Владимира Степаныча с царского стола, когда он после какого-то похода был удостоин приглашением к обеду в Грановитую палату.

«Возьми, Ландыш,— сказал государь, посылая бутылку,— пей на здоровье!» — «Стану я пить!» — подумал Ландыш. Карманы в то время были нарочито просторные, поджарая заморская бутылка и с пробкой спряталась под жалованным с плеча царского кафтаном. Во все время стола, продолжавшегося до глубокой ночи, и после стола Ландыш и ходил, и сидел, подбоченясь левою рукою, чтобы в тесноте подарка ему не раздавили. Когда он воротился в уезд, всю бутылку залили смолой, уложили в ящик с серебряными скобками, заперли большим замком ради безопасности, поставили не в погреб, а в уборную и покрыли запасными перинами. Из этого тайного убежища ящик выходил на свет Божий только в самых высокоторжественных случаях. Его ставили на стол, хозяин рассказывал историю бутылки, представлял ее на всеобщее благоусмотрение... только усмотрение, потому что тотчас опять ее прятал, запирал и клал ключ в карман с соответственною такой важной церемонии гордостью. Уважение к заморскому этому вину достигло до такой степени, что ему приписывали целебные, даже магические качества. Когда отец Владимира Степаныча был на одре смерти, общим собором родственников

Степана Владимировича предложено было вскрыть тайную бутылку и дать больному десять капель заветного вина. Но пока дошло до окончательного решения, Степан Владимирович *совсем* умер. Какая же могла быть причина, что Варвара Сергеевна решилась нарушить завет отцов и откупорить бутылку?.. Какие же могли быть гости, для которых приносилась такая жертва?? Все эти гости состояли в одной-единственной персоне, и эта персона был костромской воевода, полковник Любим Александрович Грибоедов. Напрасно отнекивался он ото всех предложений Варвары Сергеевны.

— Балычка, батюшка Любим Александрович!

— Не хочу.

— Так вот стерляди! Право, мой Володя сам сегодня на Волге изловил.

— Не ем.

— Так позволь уже хоть зайца кусочек. Володя, ономнясь, с татарами затравил его под самой провинцией.

— Заяц — кошка!

— Так хоть горошку прикушай, сам Володя с Палашкой подсахаривал.

— Что я, корова, что ли? Стану я всякую зелень есть.

— Ахти, Господи, да я не в обиду твоему сиятельству.

— Высокоблагородию!

— Прости, виновата, я и не знала, что у тебя такая высокая ранга.

— 6-го класса.

— Слушаю, батюшка, покорнейше благодарствуй за просвещение. А уж какие грузди, сам Володя с девками и собирал, и солил. Милости твоей позволь доложить, он такой у меня хозяин, что, право, в околодке и старика такого не сыщешь. И людей в страхе Божием держит; духу боятся. А ребенок, сам изволишь ведать, совсем дитя. И лета какие? Вот, после Богоявления — девятнадцатый годок только пойдет.

— Пора на службу.

— Что ты, батюшка! Где-таки ребенку служить! До вечера не выдержит.

— Не бось, не околеет!

— Прости, Господи, ведь Володя хоть и ребенок, а все-таки человек.

— А коли человек, так подай его на службу,— сказал полковник сурово.— Я уж скольких за ним присылал, а ты их, кого опоишь, кого окормишь, кого всяким соблазном испортишь, а государевой службе ущерб. Так я вот сам за ним со всею воеводской канцелярией приехал!

— Батюшка, государь, высокоблагородие,— завопила Варвара Сергеевна, заливаясь слезами,— на богадельню дам 50 крестовиков, государю двух солдат подарю, только не тронь моего Володи! Ну дворянское ли дело наряду с холопьями ходить? Вот, когда я была в провинции, петербурхские полки проходили, сама видела, батюшка, сына моей золовки Анны Алексеевны. В солдатском мундире, ногами на площадь так и выбрасывает вместе с холопскими детьми... И сукно одно, и какое сукно — душу намозолит! И ружье такое же, словно пушка; моего Володю в три погибели согнет, изломлет, видит Бог, изломлет ребенка. Право, двух солдат да 50 крестовиков возьми.

— Врешь! Дашь больше!

— Дам, батюшка, как не дать! Ведь тебя недаром государь и полковником, и воеводой поставил! Вот, право, государь, дай Бог ему многия лета, какой он приметливой! Сразу угадал, кому какое дело с руки. И нас милует да жалует по-отцовски. Дай ему, Господи, всякого благоденствия! Мы прежде подушного по 80 копеек платили, а нынче, видно, на войне денег Бог ему послал, указал брать по 74 копейки; 6 копеек, кажется, ничего, а трое бедных на них месяц проживут. Вот что значит милосердие! Вот и в нашу Кострому такого же милосердого воеводу поставил! А уж, батюшка, признательно сказать, разум у тебя косыми саженями надо мерить. Тотчас смекнул, что я только торг начинаю.

— Какой тут торг. Четырех солдат до 100 рублев на богадельню.

— Возьми трех. У нас работ много, руки нужны.

— Четырех!

— Ну, так и быть по-твоему! Да тебе, милостивцу и разумнику такому, 50 крестовиков.

— Взятки! — закричал полковник.— Не хочу ничего! Давай сына.

— Обмолвилась, батюшка, ваше высокоблагородие, убей меня Бог, обмолвилась! Не буду!

— Видишь, какая, выдумала! Наш фискал Василий

Иванович Пазухин, как собака, чуток, тотчас донесет в губернию, а от Москвы и до государя недалеко! Так не умничай! Бабий волос длинен, а ум короток!

— Так пущай же будет по старому уговору, да за здравие государя заветного заморского винца прикушай! Ты, я чай, слышал, какое у нас вино хранится.

И Варвара Сергеевна рассказала историю своего домашнего сокровища, да как рассказала! Так красноречиво, так увлекательно, что римская твердость Грибоедова поколебалась, он соблазнился, и Варвара Сергеевна собственноручно откупорила бутылку, налила бокал и, подав вино Грибоедову, с напряженным вниманием и любопытством следовала за всеми движениями его физиономии.

«Что-то с ним будет, как отведает? — думала она.— Чай так ахнет, что в провинции слышно будет!»

Любим Александрович с наружною грубостью солдата соединял многие-премногие добродетели. Бескорыстие у него было дело необходимое, но прикладное. Он с детства носил его, как шпагу, как мундир, как неотъемлемую свою принадлежность. Он никогда и не разговаривал об этом предмете, но зато воздержанием любил хвалиться, и всему полку, и провинции было известно, сколько во всю жизнь свою выпил он рюмок вина и водки. Странный феномен в XVIII столетии! Вот почему неудивительно, что Любим Александрович не осушил бокала вдруг, как постановлено *неписаным* военным артикулом, а прихлебнул, как купчиха. Прихлебнул и выплюнул. Вы можете представить ужас Варвары Сергеевны. Разинув рот, она присела на пол и не могла вымолвить ни слова. Грибоедов, глядя на нее, улыбнулся в первый раз если не во всю свою жизнь, то по крайней мере в тот год, и сказал с прежнею суровостью:

— Еще бы вы, дурачье, заморское вино под перинами держали. Прогоркло! Уксус! Заплеснело!

В это самое время вошел Володя.

— Что это, матушка, ты в мой дом приказных напустила! — сказал Володя, не глядя на воеводу. Напрасно Варвара Сергеевна знаками молчать наказывала.

— Да полно коверкаться,— отвечал недоросль,— сломали мне заморскую удочку. Воняет водкой хуже кабака, что в слободе. Мало. Один к Палашке пристал, да так, что не подоспей я с палкой, беды бы бедная

Палашка не миновала. Да и зачем они сюда приехали? Я не люблю с приказными возиться.

— А затем, болван! — сказал по-своему полковник,— чтобы тебя, недоросля, в солдаты взять, дурь артикулом из костей выколотить, да готовым рекрутом в Питербурх поставить!

— В солдаты! Да что я, холоп, что ли!

— Ты не холоп, потому-то тебе государь и честь делает, в гвардию берет!

— Да ему какое до меня дело?

— Государю?

— Да хоть бы и государю!

— Ах ты нехристь! Как тебе в голову такое лезет!

— Да из чего ты ко мне привязался?

— Жаль мне твоей матери, а то бы я тебя собственною моею полковничьею тростью отдул на обе корки, безбожника.

— А я как кликну дворню, так тебе ребра пересчитают. Не поглядят, что ты воевода! Видишь, в моем доме да хозяйничает!

— Ах ты недоросль!

— Слышь, не ругайся! Это вот она тебе все наболтала. Недоросль да недоросль! Ведь я ей давно уже говорю, перестань глупости молоть! А она, как зарядила: недоросль да недоросль, так уж, право, невмочь!

— Постой же, я тебя уйму,— сказал полковник, схватив Володю за шиворот,— лоб!

В это самое время в дверях большой палаты показались воеводские чиновники. Ужасное слово имело магическое действие и на мать, и на сына. Володя побледнел и стал нем. Варвара Сергеевна вышла из оцепенения, бросилась к воеводе в ноги, и все возможные заклинания и жалобы звонко полились из уст несчастной матери. Как сказано, Грибоедов был не зверь, он сжалился над Варварой Сергеевной, потребовал, чтобы условие было свято завтра же исполнено.

— Черт вас возьми,— заключил он,— не одумается твой недоросль, так я его уйму, власть всегда при мне, а тут казенный интерес. Четырех молодцов за одного негодяя, да 100 рублев на богадельню! Слышь, до завтра, не то я весь мой полк сюда пригоню, изловлю твоего сынка и на веревке в Питербурх пешком отправлю. Я крут. Все меня знают. Господин асессор, прикажи закладывать воеводскую карету.

Уехали. Варвара Сергеевна бросилась в образную и, упав пред иконами на колени, слезно благодарила святых угодников и заступников за спасение Володи от службы. А Володя — поминай как звали, набекренил меховую шапочку да на конюшню. Управляющий, дворецкий, дядька, буфетчик, старший конюх, ключник и многие другие дворовые чины с разных сторон опрометью бежали на конюшню на случай могущих последовать приказаний от лица Володимера Степаныча. На прилавке лежал связанный Иван и разговаривал с конюхами.

— Фомич! — сказал Володя управляющему,— где у нас нынче острог?

— А в старом амбаре. Там в окно не пролезешь.

— А кто из конюхов вчера приставал к Палашке, когда я спал после обеда?

— Ерема! — отвечал Фомич.

— Вяжи его!

Связали.

— А кто стучал ономнясь в окно к пряхам, когда я там был с Ефремычем?

— Сергей, истопник!

— Вяжи его! А кто еще на неделе провинился?

— Да Андрюшка, что на псарне, украл в Татарской слободе молодого кобеля для твоей милости. Татаре приходили жаловаться Варваре Сергеевне. Барыня сказала, что без твоей милости она не порешит такого большого дела!

— Много она смыслит. Поди-ка, Фомич, свяжи Андрюшку: зачем не украл он и чалой суки? А я ему еще три раза наказывал: кобеля и суку. Поди же, Фомич, всех свяжи, да в острог, а завтра всех четырех отвези в Кострому прямо в воеводскую канцелярию. Завтра в провинции некрутов принимают.

— В солдаты! — завопил Иван, рванувшись так, что чуть было веревки не разлетелись.

— В солдаты! — сказал со смехом Володя.— Завтра ты уже не мой, так сегодня рассчитаемся. Эй, ты, конюх, плетей!

— Не бей его, Володимер Степаныч,— сказал Фомич тихо Володе,— не бей, а то неравно его в. провинции не примут.

— Ну, будь по-твоему! — сказал Володя, отходя с досадой.— А жаль! Сам было хотел силы попробо-

вать, руку приложить, на водку ему прикинуть. А где Домна, Ефремыч?

— Как указать изволил — в чулочницах! — отвечал Ефремыч, и все отправились на задний двор.

III
ЗАДНИЙ ДВОР

Задний двор был истинный содом в древнем, допетровском быту дворян наших. Здесь развращалось молодое дворянство с издетства, без особенного усилия, так, неприметно, исподволь. Здесь почерпались те предрассудки, которых доныне еще вполне не могли искоренить воля *Петра Великого* и просвещение. Развратная от совместного сожительства дворовая челядь на перерыв старалась угождать всем наклонностям своих молодых господ, будущих властителей, творила в них новые и грязные вожделения, зарождала суеверия и холопские предрассудки, воспитывала, пестовала порок по глупому невежеству, не из расчета, потому что из тех же наклонностей образовалась домашняя тирания, какую едва ли представляет история. Из этих, так сказать, частных недостатков общественной жизни на старой Руси рождались те огромные политические пороки, с которыми трудно было ладить самим, великим духом и силою, государям нашим. Только внимательно рассматривая общественный быт средних времен нашего отечества, мы можем объяснить себе характер и существо боярских смут в истории нашей, тогда только мы можем уразуметь важность, сложность и действительность боярских происков и некоторым образом измерить величие и мудрость государей, разрушивших эту новую гидру. Во время, нами описываемое, домашний быт дворян наших был разбит, разрушен, но только в столице да указах. Москва, эта огромная *губерния,* как тогда ее и называли, боролась с *новым порядком.* Провинции, то есть главные города и уезды, с смущенным сердцем слышали об *нем,* как о зловещей комете, обещающей горе и несчастие. Сравнивали нововведения с нашествием татар, повиновались указам, как татарским вооруженным сборщикам податей, время свое называли *черным годом* и веровали, что этот черный год минет скоро и *прежний порядок* восстановится.

И задний двор в уездах оставался фламандской копией с сералей восточных богачей. На огромной кухне в больших котлах повара числом шесть варили кушанья для стола господского и многочисленной челяди. Весело было на кухне! Беспрестанно гости: то пряха, то швея, то чулочница, то постельная, то ткачиха, то прачка, то конюх, то псарь, то комнатный, то верховой слуга, уж кто-нибудь, а верно есть гость на кухне. Двенадцать судомоек от нечего делать шептались с парнями у дверей кухни. Наконец, садовник с учениками и работниками, окончив вечерние работы, вышел из сада; сторожа ударили палками в деревянные доски, и, откуда ни возьмись, кухня наполнилась псарями, конюхами, сокольничими и всякого рода и звания дворовыми людьми Варвары Сергеевны. Последней вошла новопоступившая в придворный штат чулочница Домна. Никто на нее не обращал никакого внимания. Определения стали так часты во дворе Варвары Сергеевны с тех пор, как Владимир Степанович разлюбил горничную девушку Парашку, что почти не проходило недели без умножения девичьего штата новым субъектом. В кухне и поварне едва разместилась дворня и, захватив деревянные ложки и ломти хлеба, стала хлебать щи, расставленные во многих местах в муравленых мисах.

— Что ты это, Доня, не ешь! — сказал старый конюх.— Ведь это не поможет. Себя только истомишь понапрасну. Барин дело повершил. Другого конца не будет.

— Не хочется, старик,— отвечала Домна, подперлась локотком и пригорюнилась.— Что-то мой Иван теперь делает? — подумала Домна вслух, и Палашка, швея, обрадовалась, раскраснелась и засмеялась:

— Что делает? Крыс в старом амбаре ловит. Бедный! Ей-то знатно будет спать, а ему-то каково.

— Да,— сказал старый конюх,— ты это знаешь, Палашка, ты ведь швея, а с чулочницами спишь!

— От иного подальше, от другого поближе,— отвечала Палашка с нахальным смехом и ударила ложкой по лбу старого конюха.— И такие дураки мимо наших окон не ходи! Да и спишь вволю. Барыня в наши хоромы не смей носа показать.

— Уж и не смей!

— Вестимо, не смей! Барыня было раз с бессонницы пошла с Парашей по двору бродить. Видно, Па-

рашка со злости на нас навела. Барыня на крыльцо, а барин из своего окна как прикрикнет: «Куды ты! Тебе что за дело, иди спать, а я за людьми и сам досмотрю».

— И что ж барыня?

— Да что барыня. Говорит: «Спасибо тебе, Володя, что ты за хозяйством так смотришь!»

— Скажет она ему завтра «спасибо»,— прервал конюх, поглаживая седую бороду,— как узнает, что он лучших трех парней да Ивана из Кудиновки в солдаты отдал.

— В солдаты! — закричала Домна, как полоумная.

— Смирно! — закричал поварчук.— Барин идет!

Люди поднялись из-за стола, и в сопровождении первых чинов своего двора вошел Володя.

— Домна! Поди-тка сюда,— сказал Володя, остановясь в дверях.

— А на что тебе?

— Поди, узнаешь.

— Не пойду.

— Так поведут.

Домна встала так решительно, так непринужденно, что все изумились, и вышла на небольшой грязный дворик за Володей.

— Ну, Доня! Я тебя велел в комнаты взять. Видишь, какой я добрый! Ну, поцелуй же меня.

Домна оттолкнула его и пустилась бежать к главным хоромам. Володя гнался за нею. Напрасно. Она вбежала в спальню, где с полдюжины девок раздевали Варвару Сергеевну.

— Воры! Разбойники! — закричала она и схватила подушку.

— Твой сын вор! Твой сын разбойник! — кричала Домна, упав перед постелью Варвары Сергеевны.— Помилуй! Матушка барыня! Не выдавай моего Ивана в солдаты, жениха моего, жизнь мою! Руки на себя наложу, вот-те Христос, а сыну твоему не дамся!

— Что ты там городишь, бестия! — закричала Варвара Сергеевна, оправясь и швырнув в Домну подушкой.

— Ну что, Володя съел тебя, что ли? Ну, говори, что он с тобою сделал?

— Да, что сделал? Целоваться лез!

— Велика беда! Да что он, взрослый, что ли? Уж и девушки поцаловать не может, и пошутить ребенку

нельзя! Так на что он и барин, и помещик, коли уж и своих тронуть неволя! Экая развратница! Чай, при любовнике пристал! Видишь, откуда стыду научилась, мерзавка! В солдаты его, в солдаты, благо нужно. Дам я ему на дворе у меня развратничать!

Вбежал Володя. Варвара Сергеевна еще больше разгорячилась:

— Чего же ты это смотришь, Володя! И ночью от этих беспутных покою нет. Тьфу ты, нечисть какая! Вон ее, со двора долой, а любовника в солдаты! Слышишь, Володя, в солдаты! Завтра же пошли в провинцию. Прочь, с глаз долой, негодная!

Домна встала. Через двери поклонилась образам, сказала с каким-то неопределенным чувством:

— Прости и заступи, Господи! — и бросилась из комнаты.

— Лови ее! Лови! — закричал Володя и побежал за нею в погоню.

Рано поутру на другой день рекруты были сданы, сто рублей на богадельню заплачены. Управляющий воротился из провинции, но Володя не возвращался. Он отправился с Ефремычем и со всеми верховыми в погоню за Домной. Едва к ночи приехал он, и то с пустыми руками. Утомленный, он бросился на постель, разослав всех слуг искать Домну. Перед утром на дворе под окнами Володи кто-то сказал: «Нашли!»

Вся дворня забегала, Володя выскочил из спальни, Варвара Сергеевна тоже, псари держали на веревках Домну, тихую и покойную.

— Где вы нашли ее? — спросил Володя.

— У отца и матери, спала, мы сонную с постели стащили.

— Где же была она все это время?

— В городе, а у кого, не говорит.

— Ну, что же нам с нею делать? — спросила Варвара Сергеевна.

— Это уж не твое дело! — отвечал Володя.— Фомич! Возьми ее в судомойки, пусть работает на кухне без смены.

— Что за умница у меня этот Володя! — воскликнула Варвара Сергеевна, и все улеглись и заснули.

IV
ЕЩЕ ГОСТИ

Варвара Сергеевна только что изволила воротиться из *мыльной*. За нею плелись две карлицы и карлик Кирилло. Парашка несла душегрею и туфли, несколько девок чинно провожали барыню в уборную. Уселась Варвара Сергеевна перед небольшим зеркалом, оправленным в серебро и покоящимся на серебряных же ножках. Наступила весьма важная церемония; день был воскресный, Ландышева собиралась к обедне в Кудиновку, куда уже послан был давно верховой с приказанием священнику обождать с обедней. Вот почему Варвара Сергеевна решилась маленько принарядиться, а без того в будние дни посторонний и не смекнул бы, что это барыня, помещица, да еще и богатая, у которой мужниных крестьян было тысячи с две, да своих не меньше. Распустили девки косу, да и давай чесать.

— Осторожней! — закричала Варвара Сергеевна.— Ты, Парашка, чего зеваешь? Тузи их! Видишь, косу дерут!

Парашка хлестко исполнила приказание Варвары Сергеевны.

— А вы чего молчите, чертенята! — сказала Ландышева, обращаясь к карлам.

— Еще бы, ты все сама болтала,— отвечал Кирилло.— Ведь наши все три голоса, как нитку в иголку, через твой проденешь. Слава тебе, Господи! Недаром вчера один приказный про тебя говорил: «Какая здобная барыня!..»

— А говорил это приказный?

— Говорил, знаешь, так масленно и облизывался. Да, может быть, после пирога.

— Вот уж и после пирога! А собой-то он каков? Чай, дрянной такой, а?

— Да, невзрачный, нечего сказать, на новую версту похож, что на дороге недавно поставили.

— Нужны очень эти версты. И без того все знали, что до Костромы пятнадцать верст. И вымерили, чтоб им добра не было! Прежде было пятнадцать, а теперь двадцать три из них сделали. А все ради пошлины. Лишь бы народ притеснять! Черт знает, чего не навыдумывали! Бывало, прежде до Москвы крестьяне наши возят, а теперь почта да почтари. Не приведи Бог, что делается! Парашка, хлестни-ка Авдотью, опять заце-

пила. А может быть, этот приказный и добрый человек. Как ты думаешь, Кирюшка?

— Не приказано, барыня, думать, так я и не думаю.

— А кто ж тебе не приказал?

— Да твой недоросль.

— А что ж, и вправду! Ты сыт, одет, зачем же тебе думать?

— Вот и я то же говорю Домне: «Дура! Чего ты думаешь?» А она говорит: «А если не уймется, до ножа ль, до воды доберусь, на себя руки подыму».

— До ножа! До ножа! — заревела Варвара Сергеевна, вырвалась из рук девок, выскочила простоволосая на крыльцо, но в это самое время в сопровождении шести казаков на двор вкатилась одноколка. Изумленная и новостью экипажа, и неожиданностью в такое время посещения, Ландышева оторопела и забыла о своем костюме. Из одноколки вышел высокий, сухощавый человек лет пятидесяти.

— Варвара Сергеевна дома? — спросил он сухо.

— А тебе какое дело?

— Есть небольшое!

— Да ты что за чучело?

— Провинциял-фискал, Василий Пазухин.

Варвара Сергеевна хотя и была весьма крепкого сложения и обширного объема, но, вспомнив, что это чучело пугает самого воеводу, пришла в ужас и стала кричать во все горло:

— Володя! Володя! Уходи! Возьми верхового жеребца, что из Москвы привели... Спасайся! Эй, Парашка, Фомич, Кирюшка! — и прочая. Она прокричала почти целый календарь. Пазухин молча стоял перед нею и даже не улыбнулся. Но когда поток имен истощился, Пазухин сказал ей сухо:

— Перестань, сударыня, кричать. Не поможет! Я тебе скажу коротко и ясно. Воевода оплошал. Когда бы узнал государь — быть ему в ответе. Людей твоих в будущий прием рекрутами зачтут, а ты сына подай. Он у меня на росписи. Любим Александрович добр, хоть и суров, а я строг, хотя с виду и ласков.

— Ну, ласков! — сказала Ландышева дрожащим голосом.

— Да как же не ласков! Следовало бы твоего сына с казаками в губернию отослать, а я не хочу. Каков он ни есть, а все-таки дворянин.

— Да как же не дворянин...

— Не перебивай! Я лучше твоего знаю. Ему служить по указу в гвардии. Так изволь его в Питер отправить через три дня, в середу, не позже десяти часов утра, а не то в одиннадцать с казаками поедет. А если уйдет, то я отыщу, и пойдет он в полевые полки на всю жизнь рядовым. Милосердия не будет! А чтобы он вернее отъехал и дорогу знал, мой казак Яким тут останется и сынка твоего на твой счет до Питера проводит. Все, матушка Варвара Сергеевна! Прощай. Яким! Как сказано, оставайся.

Одноколка и пять казаков ускакали. Яким спешился и повел своего коня на конюшню.

V

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЪЕЗД

На Адмиралтейскую сторону по Московской дороге или, лучше сказать, по новой просеке, составляющей ныне Гороховый проспект, тянулась вереница крытых и некрытых саней. Лошади были все рослые, заводские, но сбруя и одежда кучеров и седоков представляли самый странный маскарад. У которой девки была меховая шапка, у другой платок, иная сидела в заячьей шубе, иная куталась в одеяло, на ином кучере была большая шапка с смушками, а на руках рукавицы, а у другого руки были в онучьях, а на голове оборвыш картуз.

— Вот тебе и резиденция! — сказала Варвара Сергеевна, приподымая войлочный полог на крытых санях своих.— Черт знает, что такое! Лес, а не улица!

И в самом деле, весьма в немногих местах по ту сторону Фонтанки торчали жилые дома: только одни палаты Шереметева да Аничкова слобода с одной, а Калинкина с другой стороны несколько оживляли дикость берегов знаменитой речки.

— И куда ехать! Тут, я думаю, и постоялого двора нигде не отыщешь. Вот глушь! Господи прости! Архип, кликни казака Якима, на то его фискал приставил, чтобы дорогу указывал. Ну, указывай же, куда ехать,— прибавила Ландышева, обращаясь к казаку.

— А я почем знаю? До Питера, чай, еще далеко, а тут река, спросить некого, вон там что-то торчит, может быть, и Питер, ступай на спуск.

— Да какой же ты проводник, когда дороги не знаешь.

— Да я в Питере не бывал отродясь.

— А мне какое дело? Указывай, да и полно!

— По мне, пожалуй, ступай на спуск!

Поехали. По сю сторону Фонтанки виды изменились. Во многих местах из-за деревьев, составлявших перспективу, или, по-нашему, проспект, показывались красивые домики голландской архитектуры, многие и в два жилья. Навстречу приезжим гостям попадались беспрерывно разного рода мастеровые; чем ближе подъезжали к Адмиралтейству, тем больше встречали людей и саней. А у немецких слобод, что ныне Морские улицы, Варвара Сергеевна с удивлением увидела три или четыре кареты, запряженные цугом; кучера в красных, желтых и голубых кафтанах и треугольных шляпах хлопали бичами; по всему лугу перед Адмиралтейством раскинуто было множество палаток, в которых торговцы продавали всякого рода напитки и съестное.

— Ну, теперь, кажись, приехали,— сказал казак.

— Да куда же мы приехали! — неистово закричала Варвара Сергеевна.— Ведь ты разве не видишь, что тут ярмонка стоит под крепостью, а Питербурх-то где? Ты, может быть, нас в Свейское государство привез. Ни одного человеческого лица не видно. Все немцы.

— А я почем знаю. Может быть, и немцы.

Варвара Сергеевна не выдержала, отстегнула фартук, прикинула на спящего Володю подушки, чтобы не простудился, и выскочила из саней.

— И спросить-то некого! — сказала Варвара Сергеевна, оглядываясь.— Тут, я чай, и русского языка не слыхивали!

— Пироги горячие! — закричал разносчик возле.

— Ах ты, Господи! Хоть одного земляка-то встретила... и тот холоп, дворянке с ним и говорить не приходится. Слышь ты, Архип, спроси-ка, далеко ли до Питербурха.

— Эй, малый! — закричал кучер.— Далеко ли до Питера?

— Да какого тебе еще Питера надо? А это разве не Питер?

— Ну, слава тебе, Господи! Архип, спроси, где тут постоялый двор.

Архип повторил вопрос.

— Почтовый двор!

— Постоялый, Архип, слышишь, постоялый. Уж эти почты — смерть моя!

— Постоялый, говорят тебе...

— Ищи сам, а мы не знаем.

— Грубиян! Вот как тут в резиденции за людьми смотрят! Не хочется будить Володю, а то бы он его из детских ручек да тросточкой. А энто, Архип, что торчит такое направо?

— Не знаю.

— Дурак! Ты ничего не знаешь! Из ума и памяти выжил! Ефремыч, ты чего сидишь да в кулаки дуешь! Твое дело расспрашивать.

— Энто что такое? — спросил Ефремыч у разносчика дрожащим голосом.

— Морская академия!

— Сам ты морской тюлень! — сказала Варвара Сергеевна, плюнув.— Видишь какой! Вздумал меня дурачить! Скажи ему, Ефремыч, пусть говорит толком, а шуток я не люблю.

— Да кого тебе, сударыня, надо? — спросил человек пожилых лет в доброй шубе. Народ более и более скоплялся, гости возбудили любопытство почти всей площади.

— Как, кого надо! Постоялого двора, батюшка! Где же пристать? Слава Богу, мы, будет, тысячи две верст проехали, двадцать ночей ночевали, месяц в дороге. Дитя у меня совсем истомилось, спит без просыпу! А еще резиденция! Что это, право! На смех дворян поднимают! Поезжай да поезжай. Ну вот, мы и приехали! Что в том толку? И пристать некуда?

— Помилуй, сударыня, да у нас есть и почтовый двор, и австерии.

— Нет уж, батюшка, лучше умру на морозе, а в немецкий дом ни ногой.

— Есть у нас и постоялые дворы, да для простого народа.

— Вот то-то и есть! Правду слух говорит: заморить хотят.

— Ну, а если не нравится, пристань, сударыня, на вольной квартире.

— Это еще что за немецкая выдумка! Нет дворов, подай мне дом, построй, коли нет.

— Есть у нас и дома! Вот, примером сказать, я и свой внаймы отпущу. Чай, поместитесь!

— А что возьмешь в год?

— Сотни три!

— Дворянке торговаться не приходится! Садись, батюшка, с кучером да дорогу указывай.

— Пожалуй, да пусть только вот государь проедет с масками. Эй ты, кучер, повороти к сторонке.

— Что ты городишь, батюшка? Сам государь? И с кем?

— С масками.

— А это что такое?

— Сама увидишь.

Не успел он сказать этого, как четыре непомерной толщины скорохода, медленно и с натугой передвигая ноги, показались из-за угла Морской академии. Народ оставил маскарадный поезд Варвары Сергеевны и бросился к адмиралтейской аллее, расположенной вдоль всего вала от Кикинских палат или Морской академии до Исакиевской площади. За этими оригинальными скороходами показались одна за другою санные *линеи*, то есть сани с таким сиденьем, на которых помещалось от десяти до пятнадцати персон в ряд. В первых санях сидел жених в полном кардинальском костюме. Народ замахал шапками и закричал в неистовом восторге:

— Князь-Папа! Князь-Папа!

За ним кесарь Ромодановский в царедавыдовском костюме! Затем линея за линеей: государыня, обе царицы и царевна, крон-принцесса, принцессы, статс и гоф-дамы в разных костюмах, потом все придворные и государственные чины, иностранные послы, офицеры, доктора, секретари, дьяки и многие другие... Все были в разных костюмах, как-то: в китайских, венецких, скороходских, арцибискупских, турецких, американских, рыцарских, докторских красных, матросских, венгерских, польских, норвежских, калмыцких, китоловов, шкиперских, армянских, японских, прусских почтальонов, егерских, никонских, тунгусских, тиремарских, гондулярских, македонских, бернардинских и т. п. Некоторые были одеты в золото, в терлики, в охобни, просто в шубы, наконец, в шубы навыворот. Дамы держали в руках красные дудочки, мужчины разно: барабаны, рыле (игра), дудочки, палки скороходов, удочки, рога, тарелки медные, цитры, скрыпицы, флейты, соловьев, урны, вилы, верхи от флейт, гудки, книги, трещотки, тулумбасы, набаты, сковороды, варганы, балалайки, тазы, перепелочные дудочки, пикульки, собачьи свист-

ки, почтовые и пастушьи рожки, *габои,* трубы, колокольчики, *ложки с колокольчиками,* свирели, пузыри с горохом, *хивинские горшки, сиповки,* волынки, органные трубы, литавры и проч. На всех этих инструментах производилась музыка, и если в этом поезде был хотя один музыкант, то, без сомнения, в тот день потерял верную интонацию и навсегда оставил ремесло свое. Шум, стук и звон, какого ни с чем сравнить невозможно. По милости скороходов поезд двигался чрезвычайно медленно. Варвара Сергеевна совершенно забылась, крестилась, отплевывалась, закрывала то глаза, то уши, читала молитвы, словом, не знала, что делать, куда деваться. На беду свадебная музыка, хотя и не вдруг, однако же разбудила Володю.

— Что там за чертовщина? — закричал он, разбрасывая подушки.

— Ничего, Володя, право, ничего, спи спокойно, это так в ушах звенит.

Но увещания Варвары Сергеевны были напрасны, Володя уже выскочил из саней и помирал со смеху, глядя на личины. В то же время перед очами публики, стеснившейся в исходе перспективы, тогда в виде аллеи доходившей до адмиралтейской дороги, медленно передвигались сани или линеи поезжан также в маскарадных платьях. Государь был одет матросом и, вероятно из любопытства, ехал стоя. Возле саней верхом ехал Антон Самойлович Дивиер, генерал-полицмейстер, со многими нижними полицейскими чинами и казаками.

— Вот и государь,— сказал новый знакомец Ландышевой.

— Где, где? На лошади?

— Нет, на санях, что стоит и народу кланяется.

Варвара Сергеевна, схватив за руку Володю, упала наземь. Государь тотчас приметил это и сказал Дивиеру:

— Поди, Антон, скажи там приезжим, чтобы указу держались. Когда я их отучу от холопства!

Дивиер протеснился с казаками и приветствовал Варвару Сергеевну весьма грубо:

— Эй, ты, баба! Чего ты в снег повалилась? Государь приказал, *чтобы народ ради его в грязи не валялся!* Вставай!

— Ну, времечко! — сказала Варвара Сергеевна.—

На все про все неволя. И государю нельзя поклониться. Да где же ему и кланяться, коли не на улице!

— Исполняй его волю,— сказал Дивиер,— самый лучший поклон, а ты наземь повалилась, а в душонке-то что.

— Да что, ты разве пророк? — оторопев, сказала Варвара Сергеевна.

— Все вы на одну стать, а кто ты, по одежде да по дворне узнал. Здравствуй, Алексей Степаныч,— продолжал Дивиер, обратясь к новому знакомцу Ландышевой.— Почему это ваше высокородие не в поезде?

— Не было наряду, ваше высокопревосходительство. Видно, государь забыл.

— Так пожалуй, ваше высокородие, ко второму часу в Апраксинские палаты к обеденному столу. А то мне государь голову за тебя намоет.

— Да я не так-то здоров.

— И хорошо! У меня претекст будет, почему ты не в явке. Прощай, ваше высокородие.

— Вашему высокопревосходительству всякого веселия.

Этот короткий разговор Дивиера с Алексеем Степановичем привел в новое недоумение и замешательство Варвару Сергеевну. Как же она так оплошала и не узнала, что этот человек такой высокой ранги и, по всему заключая, приближенный к государю. Да еще его и на козлы с кучером сажала! Непростительно! И обычным потоком полились извинения.

— Батюшка, государь, не взыщи! — заключила Варвара Сергеевна.— Ведь у тебя на лбу не написано, кто ты. С рожи я тебя приняла за купца аль богатого мещанина, а ты Бог знает кто!

— Перестань, сударыня! У меня товар, у тебя деньги, вот и все тут. А церемонии не наше дело. Мы люди служилые, занятые, сами ото всего этого сторонимся. Садись, матушка, в сани, а я по привычке пешком пойду, вот уже десятый год езжу только на лодке, а теперь зима, везде путь. Поезжайте за мною.

VI

СВАТОВСТВО

Дом Алексея Степановича Зыбина стоял на Васильевском острове недалеко от Французской слободы. Построенный по новому образцу в два этажа на ка-

менном фундаменте с двумя флигелями (из коих в одном жил холостой хозяин), он заключал в себе все удобства городской жизни. Несмотря на то, что по отстройке он стоял еще впусте, заботливый Зыбин тщательно его отапливал, и Варвара Сергеевна бегала из комнаты в комнату с особенным удовольствием, распределяя, где быть большой палате, где спальне, где образной и уборной, где Володе, где Ефремычу, где комнатным девкам. Кухня со всеми принадлежностями была во флигеле. Между тем Володя ходил из комнаты в комнату и делал также распределение покоям *по-своему*. Из этого, как обыкновенно случалось, возник спор, и, как обыкновенно, Володя остался победителем. Между тем до позднего вечера девки и лакеи выгружали из саней всякую домашнюю рухлядь и расставливали по указаниям барыни и перестанавливали по приказаниям барина, который прежде всего повелел выгрузить погребец, копченые и соленые предметы и принялся обедать на живую нитку. Когда Володя порядочно подкрепился сухим и влажным, по старой привычке пошел на двор маленько пошалить: отпустил несколько ударов запасною дорожною плетью всем кучерам и поварам и добрался до судомоек. Во временном дорожном штате их было только двое: наша Домна да Палашка, разжалованная в сей постыдный чин вследствие какой-то посторонней интриги. Палашка искала всеми мерами возвратить прежнюю благосклонность Володи, а Домна так и слыла по всей дворне дурой, упрямицей. Никакие побои, обещания, упреки, ласки не помогали. Исхудала бедная Домна, а все еще плакала по Ваньке, как называла его вся челядь. Несмотря на всю дерзость и страсть Володи, он как-то побаивался Домны, и если бил ее, что случалось нередко, то всегда, однако же, после обеда, завтрака или ужина. Но как в этот день он обедал, как сказано, на живую нитку, то обошелся ласковее обыкновенного и ударил Домну только трижды. Это была, как оказалось, только прелиминарная ласка, потому что Володя уселся на кухонной скамье и держал речь следующего содержания:

— Ну, Доня! Я тебя помилую! Хочешь, я тебя барынею сделаю. Право, черт возьми, уходился молодец, пора жениться. Вот того гляди и служить придется, так все-таки лучше женатому. Да и бить жену как-то сподручнее. К жене люди жалости не имеют. А уж я

тебя, увидишь, как буду жаловать! Не попрекнешь, что не люблю. Матушке от покойного столько не доставалось, сколько от меня на твою долю придется. Ты ей не верь! Она и теперь скучает, что бить ее некому. Под вечер частенько так призадумается, что смешно смотреть на нее, да и говорит: «Уж разве за того приказного замуж выйти». Да и вышла бы, кабы я позволил. Уже было и в провинцию посылала узнать, крут он или нет. Да, слава Богу, люди сказали: «Куда! Он такой трус. Сторож в канцелярии почасту его бьет!» Ну, так она и охоту потеряла. Ну, а я не такой. Весь в отца! Что, Доня? А покуда свадьба... мы бы с тобой женихами любовь повели.

— У меня один жених, барин! Одному перед Богом отдалась...

Вместо запятой последовал удар плеткой.

— Умру невестой!

Вторая запятая.

— А если мочи не станет... говорят, тут есть река бездонная.

Точки... Удары посыпались. Домна не вытерпела, стала кричать. На кухню вошел Зыбин, а вслед за ним и сама Варвара Сергеевна.

— Что за шум? — спросил Алексей Степаныч.

— Это мой Володя по хозяйству управляется,— отвечала за сына сама Ландышева.

— Не изволь, батюшка, гневаться! У нас такие люди, что Господи не приведи!

— Зачем же ты их, сударыня, в Питербурх притащила? У нас, слава Богу, сколько хочешь слуг, только нанимай.

— Что ты это, батюшка! Шутишь, верно! Где-таки дворянам наемных слуг держать! На то Бог и крепость устроил, чтобы дворянам честная услуга была! Что ты с наемного возьмешь? Ни в солдаты, ни в свинопасы отдать нельзя, а уж на конюшню не посылай — ослушается, да еще, чего доброго, не ровен час... Да у нас, между добрых дворян, такого заводу и не слыхивали. А если нам своих людей во двор не брать, так куда, батюшка, с приплодом деваться! Не дарить же, не выбрасывать; мы, батюшка, и щенят от своих сук кормим. Слава Богу, на век наш хватит достатка!

— Не мое дело, сударыня, управляйся, как знаешь, только об одном объявить я тебе повинен: чтобы на дворе моем шуму никакого не было.

— В комнатах, батюшка, в комнатах все дела вершить буду. И сосед не услышит.

— Это одно. А другое: полиция пришла, спрашивает, кто, откуда и зачем приехал?

— Да ей какое дело?

— Указ, матушка.

— Да много ли у вас, батюшка, этих указов? Что ни шаг, то указ.

— Земля велика, нужд много, так по нуждам и указов столько.

— Да какая нужда знать, кто в резиденцию приехал. Ведь мы не беглые какие, дворяне, не из-за моря, из своего собственного уезда приехали!

— Государь знать хочет.

— Сам государь! Ахти, Господи, какая честь! Да как же он узнал? Видно, ты, батюшка, обмолвился.

— Не я, матушка, а порядок.

Варвара Сергеевна приуныла. Страшное слово *порядок* смутило ее сердце.

— Извести хотят,— со слезами сказала она жалобно, глядя на сына.— Всех старых дворян! Уже по всем уездам нас переписали, а теперь в болото сгоняют! Чуяло мое сердце, а соседи еще толковали: «Не езди, Варвара Сергеевна, отправь одного». Хороша бы я была!

— А разве ты по указу приехала?

— Да как же не по указу! Проклятый фискал и день, и час назначил: «Вези сына в полк»,— и кончено.

— Так правду соседи толковали. Понапрасну трудилась. Порядок простой.

— Опять порядок!

— Да как же не порядок. Как твое прозвище?

— А на что тебе? Ты, может, также фискал?

— Только не простой, а обер-фискал, матушка, С.-Петербургской губернии.

— Попалась же я! Батюшка, Алексей Степаныч, не взыщи! Я отродясь с придурью. На меня, часом, находит такое... Право, я тихая, только по смерти моего покойника иногда с тоски завираюсь.

— Слышишь, Доня,— сказал Володя.

— Так как же твое прозвище?

— Дворянка, батюшка, право, дворянка, кажись, уже в пятнадцатом колене. Имя мне при крещении Варвара, по отцу Сергеевна, по мужу Ландышева, вдо-

ва, 36 лет от рождения, помещица. Вот, дай Бог памяти, я тебе и все вотчины перечту!

— Не трудись. А детей сколько?

— Один, батюшка, единородный сын Володя, по отцу Степаныч, девятнадцати лет, до указу был в недорослях. Фискал его со злобы в взрослые пожаловал.

— А из какой провинции?

— Из Костромского уезда, что под самой провинцией!

— А, так это Василий Иваныч тебя на добрый путь наставил?

— Василий Иваныч Пазухин! Экая память у тебя, батюшка! Ведь выбирает же государь таких достойных людей! Знает, что в далекой провинции, за две тысячи верст, делается. Что это за государь, право! Дай Бог ему всякого благоденствия! А Василий Иваныч такой добрый, ласковый! Право, что за люди везде достойные!

— Конечно, добрый, потому что если б ты еще одним деньком опоздала, так сынка твоего на всю жизнь в полевые полки рядовым бы назначили за ослушание царского указа. И так, дай-то Бог, чтобы в гвардию взяли. Кажется, по 1-е января всех приняли, а чего до комплекту из дворян не хватило, из даточных взяли. Так, изволишь видеть, есть у нас прибавочные сроки, завтра последний, не зевай. Отошли сынка завтра же в Военную Коллегию в часу в пятом или шестом поутру.

— А где она живет?

— Это место, а не баба. Мой Лаврентий сынку твоему укажет.

— Я сама поведу его, батюшка. Разве я не мать, что ли? Оставлю я на чужие руки ребенка!

— Пожалуй! — сказал Зыбин.— И я завтра в Коллегии буду.

VII

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛУЖБУ

В мазанковых небольших домиках близ Троицкой церкви на Петербургской стороне помещались не только Коллегии, но и самый Сенат. Здание 12-ти Коллегий на Васильевском едва еще поднялось с фундамента. Фонари горели у каждого подъезда, множество саней означало, что присутствие давно уже началось,

хотя был только седьмой час утра. Как тени переходили люди из одной мазанки в другую.

— Сани его светлости! — закричал сторож на подъезде Военной Коллегии, и огромные сани, запряженные шестью лошадьми цугом с верховыми кучерами в коротких полушубках, покрытых малиновым бархатом и обшитых бобром и золотыми галунами, в шапках медвежьих, в лосином исподнем платье и коротких лощеных сапогах со шпорами, подкатились к крыльцу. Два лакея, одетые с такою же роскошью, откинули на санях великолепного медведя, украшенного дорогими кистями и золотыми лапами. Сторожа вытянулись в струнку, ждали светлейшего. В узкой прихожей князь Меншиков в присутствии важнейших чиновников надевал дорогую шубу. Он был в высоком белом парике, в мундире и в Андреевской ленте. Вице-президент Ласси, члены Коллегии князь Трубецкой, Карл Гохмут, полковник Игнатьев и прокурор Пашков провожали президента. Он кивнул им головой и уехал.

— В Зимний дом! — гаркнули кайдуки, и сани покатились на Неву. Вице-президент с членами воротились в присутствие. Канцелярия снова принялась за дело. Вошел Зыбин, потребовал коллегиального фискала и занялся справками, какие ему по сей Коллегии учинить надлежало. Не прошло и получаса, вошла в канцелярию Ландышева с сыном.

— Господин секретарь,— сказал Зыбин,— кончился прием в гвардию?

— Вчерашнего числа, ваше высокородие!

— Так что же будет теперь с теми, которые записаться опоздали?

— По указу, ваше высокородие, в солдаты в полевые полки без выслуги.

— И уж никакого помилования не указано?

— Господин президент, его светлость, решить вчера соблаговолил, что если будут в явке какие из дворян, то принимать их в Ингерманландский его светлости полк, как сказано о гвардии.

— Значит, с выслугой?

— Точно так, ваше высокородие!

— Так запишите солдатом в этот полк дворянина Ландышева из недорослей.

— Надо его в присутствие представить, ваше высокородие! Годен ли еще на службу или нет? Может быть, забракуют.

— Уж коли ты годен, батюшка,— осерчав, сказала Варвара Сергеевна,— так уж, верно, моего Володю не забракуют. Пойдем, где твое присутствие?

— Уймись, Варвара Сергеевна! Тут перед лицом государя не шутят! В ответе будешь!

— Пожалуй сюда,— сказал обер-секретарь, отворив двери присутствия.

— Недоросль Ландышев!

Варвара Сергеевна хотела идти за сыном, но сторож удержал ее. Она хотела было приступить к приличной разделке, но в присутствии послышались голоса: «Годен, годен!»

Обер-секретарь вывел Володю из присутствия и сказал:

— Годен! Написать указ в Ингерманландский полк! А тебе, Ландышев, явиться в полковую канцелярию с этим самым указом скорости ради. До зари успеешь.

В одно мгновение указ был написан, переписан и подписан, и Ландышев отправился с Варварой Сергеевной в полковую канцелярию. Адъютант прочел указ, позвал вестового и приказал проводить нового рекрута к сержанту Ефимову. Варвара Сергеевна последовала за сыном.

Сержант Ефимов был из старых дворян, но служба уничтожила в нем в немногие годы всю излишнюю спесь. Что он был дворянин, это можно было заметить только из речей его, отличавшихся, особенно в то время, крайним учтивством и хорошим штилем. Взглянув на матушку и на сынка и прочитав указ, он угадал всю историю Ландышевых и поспешил расторгнуть союз невежества противу службы.

— Молодец! — сказал Ефимов, глядя на Володю.

— Дай Бог тебе при будущем баллотировании моего места. Только мешкать нечего. Сегодня же мы тебя в строй поставим. Ты не даточный. Ты дворянин. Раз поглядишь и смекнешь делом. Ступай в артель! А ты, матушка, ступай с Богом домой да молись, чтобы сынок скорее ранги офицерской дослужился. Годок, другой пусть поживет солдатом. Чудо, матушка, житье наше солдатское! И кости, и душа выпрямятся. И больно, да весело, и голодно и холодно, да погрустить некогда. Благо еще, что в пехоту попал, а в драгунах двух скотин на шею тебе навяжут, самого себя да лошадь. Возись! Прощенья просим, сударыня, изволь

идти домой. Нам, служивым людям, и поговорить нельзя. Выправкой надо заняться.

— Как домой? А Володя?

— Володимер в роте останется.

— А я на ваши руки, что ли, его оставлю?

— Да хоть и на мою руку. Тяжела маленько, да пусть беды не накликает. Обойдется без побоев.

— Побои! Да чтобы я позволила моего ребенка бить! А когти-то на что.

— Э, матушка! У нас взятки-гладки! Коли добром идти домой не хочешь, так мы и поневолим. Кликни, Еремей, Иванова да проведи барыню до саней. А мне некогда. Сбор бьют. Пойдем, Ландышев.

И, взяв за руку Володю, Ефимов вышел. Его сменили конюх Ерема да Иван из Кудиновки. Ландышева не узнала своих людей, но они узнали добрую барыню и на обоих нашел какой-то столбняк. Ни туда, ни сюда.

— Вперед, Ерема!

— Ступай ты, Иван!

— Бери барыню!

— Не смею!

— Да и я не смею!

— А как ее того, с сердцов, да по-старому, на конюшню пошлет!

— Будь что будет, слушай указа! — И, перекрестясь, Ерема схватил барыню за руку и потащил к дверям. Но Иван стоял неподвижно, опустив глаза, и не мог выговорить слова.

— Ах вы, холопские хари! — кричала Варвара Сергеевна.— Да я на вас моему хозяину пожалуюсь, а он, вы знаете, обер-фискал Питербурхской губернии, а не то в Сенат пойду, во дворец, к государю.

— Не слушай никаких угроз. Тащи ее вон! — раздался из другой избы голос учтивого Ефимова. И Иван как будто проснулся, перекрестился и помог Ереме вытолкать Ландышеву.

Оба солдата воротились с почетными знаками кровопролитного сражения. У Еремы был оцарапан нос, у Ивана на правой щеке приметны были следы пяти пальцев. Варвара Сергеевна бегала вокруг избы, стучала в окна, изливала проклятия и заклинания, надломала двери, и этот последний подвиг был причиною, что офицер по докладу сержанта должен был выслать противу Ландышевой, осадившей артельную избу Ин-

германландского полка, отряд войска с ружьями. В этой экспедиции участвовал и наш Иван. По данной инструкции военные операции сего отряда имели целью проводить Ландышеву до дому, объявить о ее поведении полиции и обязать ее подпиской не являться без зова на территорию Ингерманландского полка. Вся дворня высыпала навстречу Варваре Сергеевне, подходившей к дому, как пушка, под конвоем. Сам обер-фискал взялся исполнить долг полиции и, приведя Варвару Сергеевну в гостиную, требовал означенной подписки.

— Батюшка Алексей Степаныч! Вороти мне сына! Пусть лучше умрет, да на моих руках! Я его никогда не увижу! Это ведь не полк, батюшка, это просто волчья яма, западня на дворян! Приколют его, Володю моего, али как ни есть изведут! Видела я их всех! По рожам видно, что разбойники!

— Не изволь поносить добрых и верных слуг царских! В ответе будешь, в суд позовут! Я сам по должности донесу на тебя государю. Лучше вот садись да расписку подай.

— Что ты, батюшка! За кого ты меня это принимаешь! Что я, не дворянка, что ли? Бездомная какая? Дьякова жена! Не обижай, ваше высокородие! Не доводи до стыда! Целый уезд смеяться будет.

— И поделом! Пусть посмеется, а ты расписку подай.

— Да ты, батюшка, в толк возьми, что я дворянка! Как же я писать-то буду.

— Так и пиши: такая-то дворянка Ландышева.

— Да я писать не умею, понимаешь ли, потому что я дворянка. Вели крикнуть Ефремыча, на то же я его, болвана, и держу, чтобы за меня и за Володю отписывался. А без того стала бы я на дворе кормить такого пьяницу.

— Ну, коли так,— сказал Зыбин,— так я за тебя расписку дам, а ты руку приложи.

Зыбин написал что-то, перевернул перо, обмакнул в чернила, вымарал руку Варваре Сергеевне и прижал руку к бумаге.

— Вот так! — сказал Зыбин.— Это у нас лучше клятвы. Не исполнишь, в чем руку приложила, рука отсохнет.— И ушел с бумагой.

— Стыд! Срам! Позор! Поношение! — кричала Варвара Сергеевна.

— Эй, Ефремыч, Палашка, Кирюшка... и проч.— Но никто не являлся, все были на улице. Там происходила сцена совершенно другого рода. На шее Ивана Иванова висела Домна. Вся дворня несмотря на черствую уничиженную свою натуру плакала, глядя на обрадованную Домну. Солдаты, облокотясь на ружья, любовно и завистливо глядели на счастливца, потому что Домна и в худобе своей была такова, что каждому в нос кинется. Иван онемел от радости, но службы не забывал и, хотя без особенных усилий, все, однако же, будто отталкивал Домну. В это время вышел оберфискал и спросил:

— А кто у вас старший?

— Я,— решительно сказал Иван и оттолкнул Домну.

Несчастная упала наземь и залилась горькими слезами.

— Что это значит? — спросил Зыбин.

Иван вытянулся и в виде рапорта доложил обо всем его высокородию.

— Всякий человек — человек,— заключил Иван,— да я все-таки не мог к ней по-старому ласкаться, а люблю ее пуще прежнего.

— Почему же ты не приласкался к ней, когда она такая добрая и прикладная девушка?

— А потому, ваше высокородие, что я дал присягу его царскому величеству быть добрым и прикладным солдатом. Служба в мундире, а сердце под мундиром. Что сверху, то и впереди. А вот как командир скажет «вольно», я и отпрошусь... Тогда Доня за мною ласкаться не поспеет!

— Добрый и верный раб! — сказал Зыбин.— Над многими тя государь поставит! А теперь отнеси при рапорте кому будет следовать эту расписку. Ступай с Богом! Я тебя не забуду.

VIII

АРТЕЛЬ

После толиких превратностей, обид и злоключений натура Варвары Сергеевны спешила. Ландышева возлегла на одре болезни. Нигде и ни в ком сострадания или помощи. Люди всегда были неисправны; обер-фискал привозил ей доктора, но он был из немцев. В пер-

вый раз она чуть не умерла от ужаса, во второй приезд (видно, ей было полегче) выбранила и Зыбина, и лекаря. Но когда Зыбин прибежал к обыкновенному своему средству и пугнул судом за ослушание, Варвара Сергеевна согласилась исполнить приказания доктора. Первая банка микстуры разбилась об нечесаное чело Парашки, которая и была наказана за то, что разбила банку с заморской отравой. Вторая банка была влита в горло домашней собаки, и как несчастное животное от того околело, тогда Ландышева пришла в неистовство, и Зыбин поневоле должен был отречься от обязанностей человеколюбия. Володя приходил только по воскресеньям, но он не приносил больной ни малейшего утешения; требовал денег, всякий раз получал их и уходил почти опрометью. Служба весьма понравилась ему, потому что за болезнию Ефимова должность сержанта по старшинству исправлял солдат Коницын, из дворян, такой же недоросль, такой же матушкин сынок, как и Володя, с большею только опытностию в разврате. В артели завелись игра, пьянство и другие шалости. Дворяне не якшались с даточными, а те служили да служили. Чудное дело! Несмотря на свою эмансипацию, Иван уважал в Володе прежнего барина, служил ему как крепостной, чистил ему амуницию, одевал, исправлял должность буфетчика и маркитанта, терпел от него ругательства, даже побои. Однажды ввечеру, когда дворяне со всего Ингерманландского полка от непомерного употребления наливок, сосланных со всех концов России заботливыми матушками, пришли в экстаз и стали хвалиться своими любовными похождениями, Ландышев с важностью стал рассказывать о своих подвигах.

— Чего! — продолжал он.— Да у меня и в Питербурхе есть малая толика красного товара.

— Полно хвастать! — сказал кто-то из товарищей.

— Хвастать! Эй, Ванька, сходи-ка домой да приведи сюда Домну!

— Домну! — спросил Иван, оторопев.

— Ну да, болван, Домну, что в судомойках.

— Да ей нельзя, барин!

— Отчего нельзя! Да разве и она расписку давала не ходить в Ингерманландский полк?

— Нет, да ей не приходится.

— Я-те дам, не приходится! Пошел, приведи!

Иван не знал, на что решиться, как вдруг вошел

кто-то из сослуживцев и сказал печальным голосом:

— Господа, Ефимов умер.

— Туда ему и дорога! — закричали многие.

— Так. Да кто-то будет сержантом.

— Да кому же быть, как не Коницыну. Ведь он старший.

— Что еще мячики скажут? Завтра будут баллотировать. Я стоял на вестях в канцелярии. Адъютант писарю указ сказывал, чтобы завтра со всего полка сержантов собрать к нам нового сержанта выбирать.

Это обстоятельство разрушило общее веселие; как в кардинальском конклаве, все бросились задабривать избирателей. Артель в минуту опустела. Остался только Иван да Ерема, и, как было поздно, помоляся, оба легли спать. Ерема скоро заснул. Иван еще лежа молился о спасении Домны от греха и позора.

Рано поутру барабанный бой возвестил Ингерманландскому полку сбор. В походной церкви собрались штаб и обер-офицеры и сержанты того полка. По окончании литургии сержанты вышли вперед, на небольшом налое покоилось Евангелие. Полковой священник читал с печатной бумаги присягу, сержанты, подняв персты, громко за ним повторяли: «Я, нижеименованный, обещаюся и клянуся Всемогущим Богом, что по его царского величества указу определенное ныне баллотирование в произвождении представленных чинить мне ни для какой страсти, свойства, дружбы или вражды, но по самой истине, как я пред Богом и страшным Его судом в том ответ дать могу и как суще мне Господь Бог да поможет, аминь».

После церемонии весь штаб и сержанты при полном сборе полка отправились в полковую канцелярию. Адъютант поставил на большой стол ящик с занавесками и тремя раскрашенными трубами. На особом блюде лежали суконные мячи числом двадцать три.

— Вот видите! — сказал полковник сержантам.— Клялись вы Богу и государю избрать по совести сержанта во вторую роту из той же роты солдат. Вам прочтут список рядовым по старшинству поступления на службу. Когда вам прочтут имя, вы возьмете эти мячи, протянете руку под занавеску и бросите мяч, каждый особо, чтобы другой не видал, направо, налево или в середину. По правую, видите, белая труба: если туда бросишь мяч, значит, признаешь того солдата достойным сержантской ранги; по левую — черная труба:

туда бросай на недостойных, а ежели заподлинно чего не ведаешь, а сомнительство на того солдата имеешь или считаешь другого той ранги достойнейшим, пускай мяч в середину, в зеленую трубу. Благослови, Господи! Читай!

Сержанты перекрестились. Адъютант прочел:

— Авдей Коницын, в службе с 708-го года, из дворян.

Сержанты по очереди подходили к ящику и бросали мячи. Открыли ящик сомнительных — 15, недостойных — 18.

Операция сия повторилась несколько раз. Адъютант отмечал число баллов и продолжал перекличку:

— Иван Иванов сын Иванов, в службе с 713-го. Из даточных.

Все двадцать три мяча очутились в белой трубе. Дальнейшая баллотировка утвердила только преимущество Ивана пред прочими товарищами. Полковник приказал его кликнуть и, собственноручно отдав ему сержантскую трость, приказал не медля вступить в должность, не ожидая указа из Коллегии.

Можно себе представить, в какую досаду приведена была вся артель. Многие плакали. Но Володя был совершенно счастлив.

«То-то мне пойдет житье! — думал он: — оно правда, Коницын из дворян, да все-таки не покормишь, не напоишь — серчает. А Ванька у меня — держи ухо востро! Свой человек. Знатно!»

И на радости осушил последнюю флягу смородиновки. В это самое время вошел Иван.

— Смирно! — сказал он тихим, робким голосом. Все засмеялись. Иван смутился, взглянул на икону, перекрестился и сказал с какою-то торжественностью:

— Богу и царю присягал я! Вы мне не указ! Смирно, говорю вам!

— Тише, Ванька! — закричал кто-то из солдат.— Мы тебя уймем.

— Вот я тебя уйму,— отвечал Иван, и палка обновилась и распространила ужас на всю артель.

— В пятом часу на экзерцир-плац, на учение! — сказал Иван и ушел. Все пристали к Володе и просили его протекции. С нахальным смехом, лежа вверх брюхом, отвечал Володя: кому «хорошо», кому — «посмотрим», кому — «что дашь?», и заснул в чаду своего величия. Наступил и пятый час. Солдаты уходили на

назначенное место, артель пустела. Последний собрался на учение Коницын, взял ружье и стал будить Володю.

— Не замай,— закричал Володя,— спать хочу.

— Пора на учение!

— Так ступай, а за меня пусть Ванька ружьем артикул выбрасывает.

Перевернулся и заснул. Коницын ушел один. Не прошло и пяти минут, Ерема разбудил Володю.

— Ступай, Володимер Степаныч, сержант зовет.

— Ах ты, лошадиная харя! Видно, я мало тебя в конюхах бил. Пошел!

Еремей ушел и воротился.

— Володимер Степаныч, вставай! Сержант сердится.

— Смотри, чтоб я не рассердился.

— Да он наказывал, чтобы я тебя волей-неволей на учение привел.

— Поди и скажи Ваньке, что я спать хочу.

— Барин! Худо будет, как сержант сам придет!

— Пускай попытается! Я ему рыло намозолю. Вон!

Пришел и сержант и с ним Ерема да еще солдат.

— Володимер Степаныч! Служба не воля! Ступай!

— Ах ты, холоп окаянный! С кем ты разговариваешь?

— С тобою, барин! Прошу тебя, не доводи меня по артикулу поступить.

— Я тебе такой артикул задам, что за ушами затрещит.

— Видит Бог, я не Иван, а сержант государев. По присяге пойду. Палкой подниму.

— Палкой! — Володя вскочил и размахнулся по старой привычке весьма ловко, но сержантская трость — волшебный жезл! — так и пошла гулять по нежным косточкам Володи. Сержант сам зажмурился, а все бьет, да тузит, да приговаривает:

— Не могу, Володимер Степаныч, видит Бог, присягал! Не сердись, барин! Не я бью, служба бьет.

И трость продолжала ревностно нести службу. Стыд, унижение, а паче физическая боль одолела. Володя выскочил из артели и опрометью бросился бежать.

Варвара Сергеевна только что оздоровела и после продолжительной болезни в первый раз вечеряла или

полудничала, не знаю как правильно назвать трапезу между обедом и ужином. Перед нею стояло большое блюдо оладий и кувшин квасу. Откусив лучшую по усмотрению часть оладьи, остатки подавала она то карлицам, то собачонке в очередь. Кошка сидела возле Варвары Сергеевны и весьма искусно лапой приближала к себе какую-то отсталую оладью. Варвара Сергеевна забавлялась. Вдруг вбежал в покой Володя без верхнего платья, даже без помочей, весь избитый, в слезах, с растрепанными волосами. Оладья выпала из рук Ландышевой; стол, кошка, собачонка, карлицы — все было опрокинуто.

— Что с тобой, Володя! — закричала она.— Видно, морить уже стали! Рассказывай, рассказывай!

— Да зачем ты меня сюда привезла! Всему ты виновата. Не могла ты меня где ни есть спрятать? А еще мать! И не вступишься! Ванька, наш холоп, меня бьет, а ты сидишь да оладьи убираешь. Коли ты ему глаз не выцарапаешь али на конюшне не отдерешь, так я не сын тебе, слышишь, не сын! Я тебя из дому выгоню! Все мое! Отцовское! Мне твоего не нужно!

— Да как же это посмел Ванька?

— Да уж не умничай! Прибил! Погляди, синяки по всему телу...

— Что ты, что ты, Володя? Красно маленько, да и полно... Да все-таки, как он это на душу такой грех взял, ведь ему поп на духу не отпустит!

— Да полно врать! Поди, жалуйся!

— Да кому я стану жаловаться? Видишь, тут *все заодно.* Разве к государю?

— Ступай к государю, куда хочешь, только мне Ваньку уйми!

— Быть по-твоему! Пойду к государю. Палашка, одеваться.

Происшествие, нами описанное, случилось на Вербной неделе Великого поста. Государя не было в резиденции. Ожидали к Страстной неделе. Затаив злобу, убежденная, что все действуют заодно противу ее Володи, и потому скрывая свое намерение, Варвара Сергеевна приказала Ефремычу написать рапорт в полк, что Володя болен и потому остается у нее до выздоровления. Но присланный для освидетельствования полковой лекарь нашел больного весьма здоровым и к службе годным и настоятельно требовал явки немед-

ленно в полк, угрожая судом и следствием. Нечего делать. Ландышева отпустила сына со слезами, приговаривая:

— Что будешь делать с этими разбойниками? Потерпи, Володя, до Страстной, только гляди, чтобы нехристи тебе как ни есть синяков не заговорили, а то и государю показать будет нечего.

IX

АУДИЕННЦИЯ

Государь приехал. Скоро распространилась весть о его прибытии. Варвара Сергеевна с утра еще забралась на набережную нового Зимнего дома и глядела пристально на второе с угла окно, где была рабочая его величества. Кто-то поглядел в окошко, Ландышева отвесила земной поклон, привстала, никого не было. Опять кто-то показался ей у окна, и опять поклон. Кланялась Ландышева, кланялась, да и выкланялась. Кто-то подошел к ней сзади и, ударив по плечу, сказал ей ласково:

— Что тебе нужно? Я здесь.

То был сам государь. Он возвращался пешком из Адмиралтейства. Ландышева оторопела и бормотала несвязно:

— Ванька, государь, того, Володю, изводит... дворянин...

— Успокойся,— сказал государь,— и расскажи толком.

— Батюшка, надежа-государь! — взвыла Ландышева.— Не вели обижать моего Володю; мой же холоп его бьет; я же тебе его на службу подарила, а он своего вотчинника до полусмерти убил.

— Да за что!

— Как за что, батюшка надежа-государь! А за то, что его, холопа, сержантом сделали.

— А сын твой кто?

— Солдатом в Гермалайском полку, так фискалы указали.

— А как зовут твоего сына?

— Володей, батюшка надежа-государь, Володей.

— Фамилия?

— Не знаю, батюшка надежа-государь, не знаю.

— Прозвище?

— Ландышев.

— Знаю,— сказал государь, нахмурясь.— Это на него девка крепостная Пазухину жаловалась.

— Жаловалась? Ах она, бестия! Да как же она на своего господина жаловаться посмела? Дам же я ей, только дай мне с окаянным сержантом управу.

— Дам, дам! — сказал государь.— Ступай за мной.

Ободренная ласкою государя, Варвара Сергеевна шла бодро позади и говорила без умолку о нанесенной ей обиде. Государь вошел на крыльцо и оглянулся.

— Погода что-то хмурится,— сказал царь.

— Хмурится, надежа-государь. Дождик будет, да, чай, к празднику разгуляется. Еще неделя с днем, много воды уйдет, время будто на лыжах, не успеешь каравай испечь, а уж и к заутрени звонят. Так на свете все, надежа-государь.

Государь вошел в сени. Ландышева за ним.

— Обожди здесь! — сказал государь и пошел наверх по дубовой лестнице. В сенях швейцар его величества указал ей на скамью, но Ландышева отвечала:

— Ничего, батюшка, постоим, ноги у меня свои, лишь бы Ваньку мне позволил государь на конюшне отодрать, а Домне за донос будет масляница. Она, окаянная, этого Пазухина наслала. Постой, погоди. В субботу, перед самым праздником, разделаюсь.

Долго прождала Варвара Сергеевна в сенях царских. Кого она тут ни видала. И генералы, и штатс- и гоф-дамы, и царицы, и принцессы, как тени, мелькали пред обаянною Ландышевой... Наконец и ноги, и внимание Варвары Сергеевны утомились.

— Послушай,— сказала она швейцару,— не знаю, как тебя величать, генералом или полковником. Видно, государь про меня забыл. Сходи-ка да напомни. Стоять прискучилось.

Швейцар в ответ протянул табакерку и сказал:

— Пожалуй, понюхай! Новой выделки табак.

Варвара Сергеевна перекрестилась, отплюнулась и так громко чихнула, что швейцар сказал ей:

— Этак ты сама про себя докладываешь.

«Все заодно»,— подумала Ландышева и невольно приуныла. Вдруг двери со двора отворились и вошли в полной форме сержант Иванов и солдат Ландышев. С лестницы сбежал денщик и позвал всех троих к государю. Кабинет его величества был весь из дуба; стол, полки, оконные рамы, пол, двери — все было ду-

бовое. На полках много книг и бумаг, на столе глобус и также книги и бумаги. Государь стоял у окна и читал какое-то письмо. Когда вошли наши знакомые, государь тотчас к ним обратился и сказал ласково:

— А! Это ты, Иванов? За что ты изволил бить этого Володю?

— За ослушание твоего указа!

— Какого?

Сержант рассказал все дело слово от слова. Простосердечие, доброта и уважение к службе весьма понравились Петру.

— Как же ты бил его? — спросил государь.

— Как ты указал, государь...

— Да как же это, я что-то не помню! — сказал государь, улыбаясь, и кивнул Ивану рукой.

— Да вот ни дать ни взять так, ваше величество,— отвечал сметливый сержант, и палка возобновила свои похождения по спине Володимера Степановича. Государь рассмеялся и сказал:

— А что же ты бил, да не приговаривал?

— Приговаривал, ваше величество,— и снова принялся бить Володю, приговаривая:

— Не ослушайся, Володимер Степаныч! Прости, барин, не я бью, служба бьет. Вот так я бил его, государь!

Володя в ужасе пятился, но Варвара Сергеевна завизжала на сто голосов.

— *Видишь, старуха!* — сказал государь.— *Какой Ванька-то твой озорник: в моем присутствии не унимается. Я советую тебе поскорее отойти, дабы и тебе чего от него не досталось. За непослушание везде бьют.*

Государь ушел во внутренние покои. Ландышева схватила сына и потащила вон из кабинета.

— Все, все заодно! — с плачем говорила она, спускаясь с лестницы. Иван почтительно шел сзади, и когда все трое очутились на улице, Иван подошел к Ландышевой и, поклонясь низко, сказал:

— Матушка барыня, госпожа моя милостивая, заставь вечно Богу за себя молить, отдай Домну.

— А не будешь бить Володю?

— Буду, матушка. Не я бью, служба бьет!

— Так не видать же тебе Домны; до смерти засеку. Не будешь бить Володи.

— Буду, матушка. Не могу не бить. Он лентяй, пьяница, игрок и ослушник. Буду бить, пока не ис-

правлю. Богу и государю присягал. Прости, матушка, худо будет на том свете нам повстречаться...— сказав это, Иванов пошел своей дорогой.

— Ах он, холоп! — сказала Ландышева, всплеснув руками,— как будто и его на тот свет пустят. Видишь, в сержанты попал, так уж и в дворяне лезет! Постой же, за все про все вымещу на Домне.

Варвара Сергеевна застала у себя гостя. Алексей Степанович Зыбин ожидал ее с царским указом. Отвел хозяйку в образную, сказал ей что-то, вышел оттуда с бумагой, кликнул Домну и сказал ей сухо:

— Вот тебе вольная! Живи у меня, пока Иван все к свадьбе исправит!

Домна бросилась благодарить барыню, но Варвара Сергеевна собственноручно вытолкала ее за двери, приговаривая:

— Вон, негодная! Не хочу держать тебя, развратница, язык у тебя отсохнет, сплетница! Ты моего сына в солдаты отдала! Вон! Вон! Знаю вас! *Все вы заодно!*

1841

К. П. Масальский

БЫЛЬ 1703 ГОДА

I

Если с берега Большой Невки войдете, для прогулки, в Императорский ботанический сад, то пройдете по длинной аллее, которая подле садовой решетки тянется к той стороне, где сад граничит с набережною речки Карповки, и отыщите там извивающуюся между деревьями дорожку. Она приведет вас к десяти старым липам, которые, как великаны, возвышаются над всеми прочими деревьями. Девять из этих великанов стоят тесным строем, а один — несколько в стороне, как будто начальник отряда. Вы невольно снимете шляпу, если захотите, подойдя к ним, взглянуть на их вершины, а потом по доброй воле не наденете шляпы, если, глядя на эти деревья, вспомните, что их садил Петр Великий; что перед вами стоят живые еще современники великого государя, живые свидетели славного его царствования. Много уже поколений пережили эти липы, много видели они на своем веку. Если вы поэт, берите лиру, постарайтесь звуком золотых струн вызвать дриад, живущих внутри этих старых дерев. Сколько бы любопытного могли нам рассказать вызванные дриады, эти лесные нимфы, все еще прекрасные, несмотря на то, что они ровесницы липам, что им уже гораздо более ста лет от роду. Берите лиру... но вы, кажется, берете перо и бумагу? Ах, не трудитесь понапрасну! Дриады не послушаются нынешних, романтических стихов. Чтобы их вызвать, нужен поэт греческий, древний, а не нынешний; с лирой, а не с пером в руках.

Вместо десяти дриад, которых уж нынче не вызовешь ни стихами, ни прозой, мы вытащим из шкафа десять старинных книг и рукописей и передадим читателям рассказ этих бумажных нимф о происшествии,

которое случилось давно, очень давно на берегах той речки, где стоят древние липы.

В 1703 году еще не было ни лип, ни ботанического сада, ни даже всего Петербурга. Бумажные наши дриады рассказывают, что там, где теперь Петербург, зеленел только густой лес, в котором по местам проглядывали болота. На берегу реки Охты, впадающей в Неву, стояла шведская крепость Ниеншанц, которую тогдашние русские называли Канцами. По тогдашнему Петербургу не ходили еще львы в модных прическах и желтых перчатках, а прогуливались настоящие медведи да бегали волки. На месте нынешнего Екатерингофа стояла финская деревня, которую русские впоследствии назвали Калинкиною, да по Неве и рукавам ее мелькали изредка посреди сосен и елей рыбачьи хижины. Пустынная, дикая была сторона!

На безымянном острове, который впоследствии назвали Аптекарским, выглядывали, как будто со страхом и осторожностию, из густого леса на текущую мимо Карповку две маленькие избы, отличавшиеся резко одна от другой своим наружным видом. Одна из них была шведской постройки, другая же — русской. Кто и когда их построил, да еще в такой глуши? А вот спросим наших бумажных дриад: они нам расскажут.

В апреле 1703 года у окошка одной из этих избушек сидел седой старик с длинною бородою. Глубокие морщины на лбу, бледный цвет лица, нависшие брови над впалыми черными глазами, сгорбившийся стан — все показывало, что этот старик много перенес горя в жизни. Против него сидел молодой человек лет двадцати, приятной наружности, с небольшими русыми усиками, которые недавно начали расти, с голубыми глазами, исполненными огня и отваги. Он держал в руках ружье, а через плечо висела у него охотничья сумка. У ног его лежала собака и, глядя на него пристально, махала хвостом.

— Эх, Вася, Вася! — сказал старик со вздохом.— Плохой ты охотник! Потерял выстрел и возвратился с пустыми руками. Придется нам голодать с тобою сегодня! Разве у тебя нет больше пороху?

— Нет, весь вышел. И на выстрел-то насилу набрал.

— Что ж ты это! Надобно пороху достать.

— Да где достанешь! В деревне, что на взморье, ни у кого нет; ни за какие деньги теперь не купишь.

В Ниеншанце есть у солдат, да не дадут. Говорят, что скоро приедет купец из Выборга с разными товарами; он, конечно, и пороху привезет.

— Привезет! Приедет! Да когда он приедет? А мы между тем умрем с голоду!

— И! что ты, батюшка! А рыба-то что? Нельзя дичи стрелять, так рыбу ловить стану.

— Рыбу! А чем ее ловить станешь? У нас нет ни сетей, ни даже удочки.

— У соседей есть, кажется, уда. Да вот идет за водой соседка. Спрошу ее.

Молодой человек растворил окно и начал кликать девушку, одетую шведской крестьянкой, которая с коромыслом на плечах шла из соседней хижины к речке. Она поставила ведра с коромыслом на землю, подошла к окну и, опершись на него своими белыми, кругленькими локтями, вставила в окно, как в рамку, свою хорошенькую головку.

— Что тебе надобно, Василий Ильич? Ты меня кликал? — спросила девушка по-русски, хотя по произношению ее и можно было догадаться, что она иностранка.

— Да, Христина Карловна, я хотел спросить тебя: нет ли у вас лишней удочки или какой-нибудь сети?

— Была уда у брата, Густава, да на прошлой неделе какая-то большая рыба оторвала крючок.

— Ахти беда какая! А сети нет?

— Какая у нас сеть!

— Ну так нет ли у твоего братца пороху? Как бы он одолжил мне хоть на десяток выстрелов.

— Да у него самого осталось только с десяток патронов. Как выйдут, так не знаем, что нам будет делать. Да вот брат, я думаю, скоро вернется из лесу. Я скажу ему о твоей нужде. Авось он тебе патронов пяток и даст взаймы.

Девушка отошла от окошка, взяла ведра, спустилась на плот, наполнила их водою и ушла в свою хижину.

Во все время этого разговора старик сидел с опущенною на грудь головою. Наконец он поднял глаза, взглянул на сына и глубоко вздохнул.

— Вот Бог привел жить на старости в какой нужде! — сказал он.— Эх, Вася, Вася! Меня за грехи мои Господь наказывает, а ты за что терпишь!

— Не надо, батюшка, отчаиваться. Бог милостив!

Вот живем уже здесь двадцать лет с лишком, а не умерли с голоду. Случалась ведь и прежде нужда в порохе. Авось опять соседи одолжат.

— Да ты ведь слышал, что у них самих только с десяток патронов, и сам ты говоришь, что и в деревне пороху ни у кого нет. Даст ли теперь сосед! И полпатрона не выпросишь. Придется — о Боже мой! — милостыни просить у солдат в Ниеншанце или у чухонцев в деревне, которые, я чаю, теперь и сами все голодают. Взморье недавно вскрылось ото льда, зимний запас рыбы, верно, у них истощился, а новый если и наловят, так самим нужна. Да нет ли у нас где какой-нибудь проволоки? Поищи хорошенько да смастери уду.

— Какая у нас проволока! Откуда ей взяться?

Старик махнул рукой, вздохнул и снова опустил на грудь голову. В это время другой старик вошел в избу, сказал нечистым русским языком: «Здравствуй, любезный сосед!» — и сел, кряхтя, к столу против хозяина. Голова гостя была до самой макуши лысая. Длинные седые волосы на висках и затылке падали на его плеча. Серые глаза его были выразительны и приятны, нос орлиный, рот с тонкими, сжатыми губами. Заметно было, что у гостя не много осталось уже зубов. Он часто делал ртом движение, как будто жевал что-то. Это движение усиливалось каждый раз, когда старик сбирался что-нибудь сказать или когда он чем-нибудь был взволнован.

— Я слышал,— сказал он, пожевавши довольно долго,— что у вас, сосед любезный, весь порох вышел?

— Да, Карл Карлович, весь вышел,— отвечал хозяин.

— Ведь это нехорошо! Как ты думаешь об этом, сосед любезный?

— Что тут думать? Беда, да и только.

Хозяин вздохнул, а гость начал жевать.

— Что же ты думаешь делать? — спросил опять гость после некоторого молчания.

— И сам не знаю что! Ума не приложу.

— Ну, рыбы можно наловить.

— Да чем!

— Удой, сосед любезный, удой.

— А если уды взять негде.

— Взять негде? — повторил гость и потом, пожевавши несколько в раздумье, промолвил: — Если уды

взять тебе негде, то это очень худо и даже, можно сказать, нехорошо.

— Уж так худо и нехорошо, что и не приведи Бог! Мы с сыном не знаем, что и делать.

— А ты веришь ли, любезный сосед, что я люблю тебя? — спросил старик и, вынув из кармана берестяную тавлинку, понюхал хладнокровно табаку.

— Верю, сосед, как не верить! Вот уж двенадцать лет живем с тобой рядом, а никогда еще не ссорились.

— Да, это правда, никогда еще не ссорились! — повторил гость и зажевал сильнее обыкновенного.— Это правда, не ссорились никогда. Ведь это хорошо, и очень хорошо! Как ты о том думаешь?

— Что и говорить, Карл Карлович! В ссорах не много проку. Жить-то нам обоим немного осталось, так авось доживем до смерти в любви и дружбе. А вот с голоду скоро умру, так не поминай лихом и пожалей соседа.

— С голоду умру? — повторил старик и стал так сильно жевать, как будто ел самое вкусное кушанье, а глаза его заблистали каким-то удовольствием. Заметно было, что он приготовляется сказать что-то необыкновенное, поразительное.— Как «с голоду умру»! — продолжал он.— Умереть с голоду, любезный сосед, ужасно и даже, можно сказать, очень неприятно. Сохрани Бог всякого человека от голодной смерти!

— Да что станешь делать! Сил уж нет у самого, как прежде, промышлять хлеб насущный, а у сына силы есть, да нет ни зерна пороху, ни сети, ни даже удочки. Голыми руками ни птицы, ни рыбы не изловишь.

— Да, это правда, не изловишь,— сказал гость,— ни птицы, ни рыбы не изловишь! Так тебе очень нужна удочка? — продолжал он и устремил на хозяина глаза, в которых ярко выражалось удовольствие. Потом он начал сильно жевать, запустил дрожащую от дряхлости руку в свой карман, долго шарил там и наконец с торжествующим видом вытащил оттуда крючок для уды, на коротеньком волоске.

— А это что? — сказал он, улыбаясь и показывая крючок хозяину.— Дочь рассказала мне о вашей беде. Я начал рыться в моем сундуке и нашел два крючка. И вот один я дарю тебе, любезный сосед! Ведь помочь соседу в нужде очень хорошо и даже, можно сказать, весьма приятно. Возьми удочку и не горюй. Сын твой

как раз поедет на реку Ниен, наловит рыбы, и ты не умрешь с голоду. Как ты об этом думаешь?

Слеза благодарности сверкнула на бледной щеке старика хозяина. Он встал и обнял гостя. Старики дружески поцеловались.

— Добрый ты человек, Карл Карлович! — сказал тронутый Василий.— Сейчас же сяду в лодку, поплыву на Неву, наловлю рыбы и половину добычи отдам тебе.

— Нет, мне не нужно половины,— возразил гость,— у нас есть тетерев, которого вчера мой Густав застрелил. Поезжай в лодке и лови рыбу для себя. Только зачем ты говоришь, что поедешь на Неву? Что за Нева такая! Сколько раз я говорил тебе, что нашу реку зовут не Нева, а Ниен.

— Виноват! Забыл.

— Забыл! Забывать нехорошо и даже, можно сказать, непохвально.

— Конечно, непохвально. Прощай, батюшка, прощай, Карл Карлович! Сейчас же улажу удочку и поплыву на реку Ниен.

Молодой человек, взяв со стола подаренный крючок, вышел из хижины, а старики остались дома и начали толковать о любимом предмете всех стариков: о своей молодости.

Но незавидна была их молодость. Оба рано лишились родителей и выросли в бедности: Илья Сергеевич родился в окрестностях Москвы, а Карл Карлович в Стокгольме. Первый служил в царском войске московским дворянином, был в крымском походе, дрался храбро с татарами, но потом, увлеченный коварными советами приятелей, принял участие в одном из стрелецких бунтов. Он был тогда уже вдов. Один семилетний сын Василий составлял все его семейство. Как участнику бунта, ему грозил смертный приговор, и он с младенцем-сыном бежал за границу. Близ Выборга встретился он с Карлом Карловичем, который в то время, спасаясь от преследований сильного врага, имевшего с ним тяжбу, принужден был бежать из Стокгольма с женою, сыном и дочерью. Карла Карловича, который был шведским зажиточным арендатором, враг лишил имения и даже успел до такой степени оклеветать, запутать в своих сетях простодушного, что суд приговорил Карла Карловича к ссылке в Далекарлийские рудники. По совету друзей и при их пособии он достал вид на чужое имя, переехал из Стокгольма морем в

Финляндию и добрался до Выборга. Живя несколько времени за городом в гостинице, он познакомился там с Ильей Сергеевичем, который, понравясь содержательнице гостиницы, исправлял уже несколько лет должность ее помощника и успел уже научиться довольно хорошо говорить по-шведски. Они сблизились и жили довольно спокойно; но однажды прибыл в Выборг какой-то стокгольмский чиновник, а вскоре за ним московский пристав. Испуганные приятели решили вместе убраться подалее от Выборга. Со страху они забрались в леса Ингерманландии, выбрали близ Невы, на речке, на той самой речке, на которой стоят ныне десять древних лип, уединенное, глухое место, построили две хижины и там поселились в ожидании времен лучших. Между тем жена Карла Карловича умерла. Горька ему была эта потеря. Он похоронил свою подругу на берегу речки и потому не хотел уже расстаться со своим бедным жилищем. Илья Сергеевич и Карл Карлович ходили в лес на охоту, ловили на Неве рыбу, и оба семейства питались ежедневною добычею. Карл Карлович занимался усердно воспитанием своих детей. Сын Ильи Сергеевича вместе с ними рос и учился. Годы неприметно текли, дети выросли, приятели состарились и, не имея уже ни сил, ни средств куда-либо переселиться и улучшить свое состояние, жили да жили по-прежнему в своих хижинах и наконец уже перестали даже ожидать времен лучших. Начальнику крепости Ниеншанц Карл Карлович известен был под чужой фамилией, выставленной в том паспорте, с которым он бежал из Стокгольма, а Илью Сергеевича тот же начальник привел, как русского перебежчика, к присяге на верность шведскому королю. Никто их не беспокоил, и они никого не беспокоили; очень редко ходили в Ниеншанц, еще реже в финскую деревню, которая стояла на взморье. Вот и вся их биография до того примечательного дня, в который Карл Карлович подарил Илье Сергеевичу удочку.

II

Старики истощили уже в разговоре все свои воспоминания о молодости, пересказали друг другу как будто какую новость разные примечательные случаи своей жизни, которые они уже по крайней мере раз

триста один другому пересказывали, и наконец замолчали. Карл Карлович начал жевать, а Илья Сергеевич по своей привычке глубоко вздохнул и опустил на грудь голову.

— Что ты так, любезный сосед, задумался? — спросил после довольно продолжительного молчания Карл Карлович.— Грустить и задумываться нехорошо и даже, можно сказать, очень вредно. Что у тебя такое на сердце?

— А вот что, сосед! Мы одни: так я тебе могу высказать все откровенно. Не говори, пожалуйста, детям, чтоб их не огорчать заранее.

— Зачем говорить и огорчать! Огорчать никого не должно ни в каком случае и даже, можно сказать, весьма грешно. Но что такое?

— Да то, что нам, может быть, придется скоро расстаться с тобою.

— Как расстаться? Что ты, любезный сосед? Для чего расстаться? Разве я тебе надоел, разве дети мои чем-нибудь тебя обеспокоили? Если так, то я их побраню. Бранить детей необходимо и даже, можно сказать, иногда весьма полезно.

— Нет, сосед! Все не то. Ты, я думаю, не слыхал еще, что в прошлом году царь Петр Алексеевич в октябре месяце взял крепость Орешек, знаешь, ту, которая стоит на острове, при истоке Невы из озера.

— Какой Орешек и что за Нева такая! Ты, конечно, хочешь сказать о нашей шведской крепости Нётебурге и о нашей реке Ниене.

— Ну да, да. Вы так их называете по-вашему. Только Нётебург-то не шведская уже нынче крепость, а русская, и зовут уж ее нынче Шлиссельбургом, Шлюсенбургом или Шлюшином, как-то так.

Карл Карлович начал сильно жевать.

— Я полагаю, любезный сосед,— сказал он после некоторого размышления,— что все это одни слухи и что даже, можно сказать, все это неправда?

— Как неправда, Карл Карлович? Это так же верно, как то, что ты теперь сидишь против меня, в моей избушке. Я сам долго не верил, но вышло на поверку, что все это так.

— Это жаль, очень жаль! — сказал Карл Карлович.— Я слышал, что Нётебург весьма хорошая крепость. Ну что ж делать! Если ее и в самом деле отняли

у нас русские, так Бог с ней. У нашего короля крепостей много и без Нётебурга.

— Еще слышал я, сосед, что царь Петр Алексеевич добирается и до Ниеншанца и что он хочет всю эту сторону до самого взморья завоевать. Но я этому и сам не верю.

— Не верь, любезный сосед, не верь! Все это неосновательные слухи и даже, можно сказать, пустяки.

— Ну а если эти слухи сбудутся, то мне уже здесь тогда не житье. Тогда придется с тобою проститься, Карл Карлович, бросить мою избушку и бежать с сыном куда глаза глядят.

— Бежать! Для чего бежать? Это, любезный сосед, по моему мнению, совсем не нужно и даже, можно сказать, совершенно неблагоразумно. Что же я тут один стану делать? Мне ведь будет без тебя очень скучно и даже, можно сказать, весьма грустно.

Карл Карлович сильно зажевал, и на глазах его навернулись слезы.

— Мне и самому грустно будет с тобою расстаться,— сказал Илья Сергеевич.— Да что станешь делать! Поплачу и расстанусь с тобою.

— О чем плакать! Плакать мужчине никогда не должно и даже, можно сказать, очень неприлично и стыдно.

Говоря это, Карл Карлович ладонью дрожащей руки стер слезу, покатившуюся по его носу.

— Ну, что будет, то будет! — сказал Илья Сергеевич, махнув рукой.— Только не говори, пожалуйста, сосед, ничего твоим детям. И никому не говори, хоть, правда, здесь и говорить-то некому. Сторона-то не очень людная.

— Это правда! — заметил Карл Карлович.— Совсем не людная и даже, можно сказать, совершенно пустынная. Ты да я, да наши дети, да иногда чухонец из деревни, да изредка солдат из крепости, да медведь из лесу.

Довольный своею остротою, Карл Карлович засмеялся медленным, стариковским смехом, потом зажевал и в заключение закашлялся.

— А вот и наши! — сказал между тем Илья Сергеевич, глядя в окно на речку.

Василий и Густав, первый с удой в руке, второй с ружьем, причалили к берегу и выпрыгнули из лодки. Густав был годами двумя старше Василья. Лицо его

было очень приятно и правильно. Белокурые вьющиеся волосы доставали до его плеч. Вскоре они вошли в избу. Василий поставил на пол небольшую кадочку с водою, в которой плавали несколько сигов и окуней, а Густав, вынув из охотничьей сумки трех рябчиков и тетерева, положил их на стол перед отцом своим.

— Вот это хорошо,— сказал, жуя, Карл Карлович, рассматривая застреленных птиц одну за другою...— Вот это очень хорошо! Теперь у нас есть рябчики и даже, можно сказать, у нас есть тетерев.

— А вот и я здесь! — сказала серебристым голосом Христина, прыгнув из дверей в избу.— Что ты, братец, настрелял? Посмотрим! — продолжала она, принявшись проворно перебирать дичь.— Немного же! Всего четыре штуки!

— Да! Немного! Ты бы сама пошла в лес с ружьем да настреляла бы побольше. Я заряжал вполпатрона: порох берег; и за четыре выстрела принес четыре штуки. Чего же еще тебе больше!

— Все-таки мало, мало! — сказала Христина, нарочно поддразнивая брата и подходя к кадочке, где плавали рыбы.

— Заладила одно — мало! Не убьешь ведь из ружья пяти штук разом. Случается иногда двух, но редко.

— Да уж не оправдывайся. Я тебе говорю, что мало. Молчи! А сколько тут рыбы наловлено?! Посмотрим. Вот два сига, вот еще сижок маленький, вот окуни. Сколько их? Раз, два, три, семь, девять, двенадцать... И не пересчитаешь!

— Тут всего восемь окуней,— заметил Василий.

— Нет не восемь, а больше. Молчи, Василий Ильич! Зачем ты себя обсчитываешь?

— Да я не обсчитываю.

— Обсчитываешь, обсчитываешь! Не надобно спорить со мной. Ведь ты это знаешь.

— Ах какая ты болтушка! — сказал Карл Карлович после достаточного жеванья.— Я тебя уже несколько раз увещевал, что спорить и обсчитывать очень неприлично и даже, можно сказать, глупо.

— Да я не обсчитываю, батюшка, я, напротив, прибавляю окуней трех или четырех лишних.

— Ну вот, лишних! Опять лишних! И лишнее нельзя похвалить ни в какой вещи. Во всякой вещи и недостаток нехорош, да и лишнее нехорошо. Всякая вещь

должна быть ни больше, ни меньше, как ей быть следует. А ты вот, ветреница, ничего не рассуждаешь.

— Да за что же вы меня браните, батюшка? Что я такое сделала? Я только сказала, что брат настрелял дичи мало, а Василий Ильич наловил рыбы хоть немного, однако ж довольно, то есть ни больше, ни меньше, как следует.

— Ну, ну, тебя не переспоришь. Ты известная болтушка. Поди-ка лучше, приготовляй обед.

Христина схватила дичь со стола и, словно птица, улетела из комнаты. Карл Карлович, поддерживаемый Густавом, побрел за нею следом, простясь с Ильей Сергеевичем и его сыном.

III

Наступила ночь. Небо обложилось дождевыми тучами. Месяц выглядывал по временам из-за них и опять прятался за черный их занавес. В одной из избушек светился еще огонь. Лучи его падали полосою на речку и слабо освещали на противоположном берегу кустарники и нижние ветви деревьев. Безмолвие леса было нарушаемо протяжным воем волков.

— Тьфу, как они развылись сегодня, окаянные! Видно, чуют войну и добычу,— сказал Илья Сергеевич своему сыну.— Ну так что же ты скажешь, Вася? Я тебе все открыл, покаялся я перед моим сыном во всем, что у меня лежит на совести. Теперь подумай хорошенько. Не лучше ли тебе здесь остаться? Тебе русских нечего бояться, коли они эту сторону завоюют: ты ни в чем не виноват. Что тебе со мной по белу свету без пристанища, как нищему, таскаться. Останься, Вася, а я уйду один.

— Нет, батюшка, ни за что! — воскликнул сын, вскочив в сильном волнении со скамейки.— Если придется тебе уйти отсюда, и я пойду с тобой. Ты уже стар. Кто тебя будет кормить без меня, кто будет ухаживать за тобой, если ты неравно занеможешь. Нет! нет! Не говори, не убеждай! Не останусь, ни за что не останусь!

Старик схватился за голову обеими руками, зарыдал и бросился обнимать сына. Слезы умиления, сладостные слезы, давно уже стариком забытые, полились из глаз его.

— Вижу, Господи,— говорил старик, всхлипывая и прижимая сына к груди своей,— что ты еще не оставил грешника. Благодарю Тебя, из глубины души благодарю, что Ты даровал мне такого сына. О! как я счастлив!

— Пусть придут сюда русские! — сказал с жаром Василий.— Неужели они так злопамятны, что вспомнят теперь то, что было с тобою в старые годы, и станут мстить тебе? Я уверен, что тебя оставят в покое. Неужели в русском царе нет милосердия? Пусть придут русские! И если бы они не постыдились тебя преследовать, то первому, кто на тебя наложит руку, я прострелю сердце.

— Не говори так, Вася! Грешно так говорить! Не забудь, что русские — наши земляки, наши единокровные. Меня осудили на казнь справедливо, за мое преступление. Русские не виноваты, Вася, что отец твой был преступник, что он беглец... изменник!..

Старик схватился за голову и начал быстро ходить по комнате.

— Что это, батюшка, такое? — воскликнул вдруг сын.— Чу! Слышишь ли? Слышишь ли, какая вдали пальба?

Старик подошел к окошку, раскрыл его и стал прислушиваться.

Пальба усиливалась. Гул пушечных выстрелов перекатывался отдаленным громом и смешивался с беглым ружейным огнем.

— А! это, верно, они! — сказал старик и сел на скамейку, отирая выступивший на лице холодный пот.

— Кто — они?

— Русские.

— Почему знать. Может быть, шведские корабли идут сюда и подают сигналы крепости.

— Нет, нет, это русские! Мне совесть сказала.

Через четверть часа постучались в дверь избы. Василий отворил ее. Вошел торопливо Густав, совсем одетый, с ружьем в руке. За ним явился следом Карл Карлович в колпаке и в холстяной фуфайке. Его вела дочь под руку. Старик совсем запыхался от торопливости и от переполоха. Он только что начал засыпать, как дети, услышав пушечные выстрелы, его разбудили.

— Слышите пальбу? — спросил Густав.

— Как не слыхать,— отвечал Василий.

— Что же бы это значило?

— Батюшка думает, что русские подступают.

— Как русские! — воскликнул Карл Карлович и снял колпак с головы от испуга.

— Не думаю,— сказал Густав,— однако же не мешало бы удостовериться.

— Да, да, не мешало бы! — повторил Карл Карлович, махая на себя колпаком, потому что его бросило в жар.

— Не хочешь ли ехать со мною в лодке? — спросил Густав.— Мы выехали бы на Неву и взглянули бы, что там делается.

— Что за Нева такая? — заметил Карл Карлович.— Сколько раз твержу я, что надобно говорить Ниен. Ах, как мне жарко!

— Ехать мне с ним? — спросил Василий отца своего, который сидел неподвижно у окна и в глубоком молчании слушал гремевшую вдали пальбу.

— Поезжай, мой сын, если хочешь,— ответил мрачно Илья Сергеевич.— Ах, если б это были не русские!

Василий взял ружье свое, зарядил его патроном, который дал ему Густав, и вышел с ним вместе. Они сели в лодку и поплыли.

— Братец, братец! — раздался голос Христины, которой головка появилась в растворенном окошке.— Батюшка велит тебе сказать, чтобы ты не ездил в такие места, где есть опасность. Слышишь ли?

— Слышу! — крикнул Густав в ответ и начал сильнее грести веслами. Они выплыли на Большую Неву и увидели вдали, что со стен и земляных валов Ниеншанца сверкали беспрерывно пушечные выстрелы. Прерывчатый блеск их освещал облака белого дыма, которые клубами громоздились над всею крепостью и ярко обрисовывались на небе, покрытом черными тучами.

— Что это значит? — воскликнул Густав.— Неужели в самом деле русские?

— Очень может быть! — сказал Василий.— Подплывем ближе к крепости и посмотрим.

— А ты не боишься? — спросил Густав.

— Чего же бояться? На реку даром стрелять не станут. Если нападают на крепость, то, конечно, с сухого пути.

Они поплыли далее. По мере движения лодки крепость все явственнее и явственнее обрисовывалась. Видно было, что ее окружили нападающие. Наши плов-

цы уже начали различать солдат, суетившихся на стенах, и канонеров, которые то прочищали орудия, то заряжали их, то наносили фитили на затравки. Пальба рокотала, как гром.

— Посмотри, посмотри! — вскричал Василий.— Что это за огненные змеи на небе? Видишь ли, как извиваются снизу, летят дугой и падают в крепость!

— Это, без сомнения, бомбы. Поплывем еще подалее и посмотрим: откуда они летают?

Они поравнялись наконец с батареей, на которой увидели преображенских солдат, и насчитали на ней двенадцать мортир. Из всех этих мортир стреляли залпами, и двенадцать огненных змей разом взвивались с батареи в воздух при оглушительном громе. Батарея стояла боком к Неве, почти на самом берегу. Вдруг несколько брандскугелей, брошенных из мортир, разлили ослепительный блеск на всю батарею. Стало светло, как днем, или, лучше сказать, как при неперестающей молнии. Густав и Василий ясно рассмотрели тогда капитана, который стоял на краю батареи, со шпагой в руке, и командовал солдатами. Подле него виден был другой офицер, который, почтительно выслушивая приказания капитана, подходил то к одной мортире, то к другой и потом опять возвращался к капитану. Оба они были высокого роста, но капитан был выше офицера. Черные волосы развевались из-под его невысокой треугольной шляпы. Того же цвета усы и густые брови придавали ему вид несколько суровый, но вместе с тем на всем лице его было разлито какое-то необыкновенное величие. Ни Василью, ни Густаву, конечно, не могло никак прийти в голову, что они видят капитана и поручика бомбардирской роты Преображенского полка: Петра Великого и Меншикова.

С неизобразимым любопытством и с тайным каким-то приятным страхом смотрели они на грозное и величественное зрелище. Кровь их сильно волновалась. Они совершенно забылись. С берега никто их не замечал, потому что глаза всех обращены были на крепость; да если б и заметил кто, то два человека, сидевшие неподвижно в лодке, не обратили бы на себя никакого внимания. Наконец довольно близко от них прожужжало ядро. Вслед за ним другое взбрызнуло высоким столбом вспененную воду саженях в четырех от их лодки.

— Не пора ли нам назад? — сказал Густав.

— Да кажется, что пора. Ведь перед нами не потешное сражение, а настоящий приступ.

Густав круто поворотил лодку, удалился к другому берегу и быстро поплыл вниз по Неве.

— Как бы желал я быть на той батарее,— сказал Василий,— под командой этого высокого офицера, который стоял на крае так спокойно, как будто бы из крепости стреляли холостыми зарядами. Он должен быть очень храбрый человек.

— А я очень желал бы быть теперь на стене Ниеншанца,— сказал Густав.

— Для чего так?

— Для того, чтобы отражать русских. Ах, если бы их порядком разбили!

— Ну посмотри, что они возьмут Ниеншанц!

— Не бывать этому!.. Сто чертей!..[1]

— А вот увидишь.

— Не спорь со мной, Василий! Мы поссоримся. Ты забыл, кажется, что во мне шведская кровь?.. Тысяча бочек чертей!..[2]

— А ты, Густав, забыл, что во мне русская?

— Ты подданный нашего короля.

— Не присягал я вашему королю!

— А отец твой?

Этот вопрос облил холодом сердце Василья. Разгоряченный зрелищем битвы, подавленный сильными впечатлениями, он позабыл все на свете, позабыл даже об участи, ожидающей его отца в случае победы русских. Он задумался. Молча приплыли они домой.

— Ну что? — спросили в один голос старики — отцы их и Христина, когда Густав и Василий вошли в комнату.

— Русские! — сказал Василий.

— Русские!.. Боже мой! — воскликнул Илья Сергеевич.

— Неужели русские в самом деле, Густав? — спросила Христина, устремив умоляющий взор на брата, как будто его упрашивая, чтобы он отвечал противное.

— Ну да, конечно, русские! Надеюсь, впрочем, что их отобьют. Из крепости пальба такая, что небу жарко.

---

[1] Шведское народное восклицание.

[2] Шведское же народное восклицание, следующее по порядку и по силе его вслед за первым, которое приведено выше.

— Да, да, жарко! — повторил расслышавший только последнее слово Карл Карлович, дрожа и махая на себя колпаком.— Мне очень жарко! Русские! Ах, боже мой! Да это ужасно и даже, можно сказать, чрезвычайно плохо! Сущая гибель и беда!

Всю ночь не смыкали они глаз, потому что пальба продолжалась до рассвета. В пятом часу утра (это было 1-го мая 1703 года) крепость Ниеншанц сдалась Петру Великому. По подписании капитуляции фельдмаршалом графом Шереметевым Преображенский полк занял город, а Семеновский введен был в контр-эскарп. Победителям достались восемьдесят две пушки, несколько мортир и множество разных военных припасов.

IV

Когда оба старика, утомленные тревожною, бессонною ночью, легли наконец и уснули, когда Христина, сидя у стола и протянув на нем свою белую ручку, прилегла на это мягкое изголовье разгоревшеюся от тревоги щекой и погрузилась в сон, Василий и Густав вышли тихонько на берег, снова сели в лодку и отправились по речке на Неву. Солнце уже поднялось из-за леса и осыпало рябевшую от утреннего ветерка речку дождем ослепительно блестящих искр. Воздух был напоен весеннею свежестию; птички громко пели в лесу, нисколько не заботясь, что война нагрянула на пустынную, спокойную сторону, где они вили свои гнезда.

— Позавидуешь птицам! — сказал Василий.— Вечно веселы, вечно поют. Не то что мы, бедные люди. Как бы эти певуньи могли понять, что у меня и у тебя теперь на сердце, то наверное перестали бы петь.

— Да, признаюсь! — сказал Густав.— В сердце у меня такая теперь тревога и тоска, что в воду готов прыгнуть. Что-то, отстояли ли Ниеншанц?

— А вот увидим,— продолжал Василий.— Не знаю, что делается со мною! Боюсь, чтобы русские не взяли крепости, и желаю, чтобы они ушли отсюда, а сердце вот так и дрожит от радости при мысли, что мы, может быть, увидим теперь на стенах Ниеншанца русское знамя.

Густав нахмурился и проворчал сквозь зубы:

— Будь спокоен, не увидим!

Они выехали на Неву и поплыли к Ниеншанцу, чтобы взглянуть, что там делается.

— Смотри, смотри, Густав! — вскричал вдруг Василий радостно.— Какой на крепости-то флаг? Ведь белый, с двуглавым орлом.

— Ты ошибаешься,— возразил тот, напрягая вдаль зрение.

— Да уж не ошибаюсь! Крепость взята! Ай да наши!

— Послушай! Ты лодку опрокинешь. Ну для чего ты вскочил? Я с тобой поссорюсь, если ты будешь так глупо радоваться, как будто помешанный.

— Ах, Густав, не сердись! Я в самом деле боюсь помешаться. Как подумаю о русском царе, о котором чудеса рассказывают; как подумаю, что я русский; как подумаю потом об отце, что он шведский подданный, то, признаюсь, сердце разрывается на части, и хоть стыдно, а вот так и хочется заплакать.

В это время, заметив, что их догоняют две шестивесельные лодки, они принялись грести из всех сил, но лодки, их преследовавшие, были гораздо быстрее на ходу. Вот они все ближе и ближе к ним, с каждою минутой! Василий и Густав рассмотрели в обоих лодках каких-то офицеров; вместо гребцов сидели на скамейках солдаты в зеленых мундирах, с красными воротниками и, положив подле себя ружья, дружно взмахивали веслами, а на корме каждой лодки стоял усач-капрал и правил рулем.

— Кажется, они прямо едут на нас? — сказал Василий.

— Кажется, так,— отвечал Густав.— Чего они хотят? Не взяться ли нам за ружья? Уйти от них, я вижу, невозможно.

— За ружья? Что ты! Можно ли нам двум защищаться от стольких.

В это время одна лодка обогнала их, перерезала им дорогу, и кто-то закричал по-шведски: «Стой! Причаливай сюда!»

Густав взял в руки ружье, а Василий, правя веслом, подъехал к лодке.

— Что вам угодно? — спросил он офицера, который рассматривал их внимательно.

— Ах, ты русский? — сказал офицер.

— Русский.

— И ты также? — продолжал офицер, обратясь к Густаву.

— Нет, я швед.

— Швед, а между тем говоришь так чисто на нашем языке.

— С детства все жил вместе с русскими, так и научился их языку.

— Что вы за люди?

— Здешние жители,— отвечал Василий.

— Давно ли вы в этой стороне живете?

— Я вырос в здешней стороне. Вероятно, дед мой или прадед был в числе тех русских, которые уступлены Швеции по Столбовскому миру.

— А зачем у вас ружья?

— Мы охотники.

— Вот что! Ну слушайте, любезные! Вы, конечно, очень хорошо знаете здешнюю сторону, все тропинки в лесах, все острова и островки, все реки и речки. Поэтому один из вас сядет ко мне в лодку, а другой — вот в ту, которая теперь подъезжает к нам. Нам нужно подробно осмотреть все здешние места. Вы будете нашими языками. Ну, перелезай же хоть ты, русский, ко мне. Вот, подполковник! — продолжал он, обращаясь к преображенскому офицеру, сидевшему в другой лодке,— я и нужных для нас языков достал. Бери к себе этого шведа.

— А если я не позволю, чтобы меня взяли,— сказал гордо Густав.

— Ну так тебя сейчас же убьют, любезный, если станешь противиться. Вы теперь оба мои пленные, так уж поневоле надо меня слушаться. Я шлюссельбургский губернатор Меншиков. Если исполните ваше дело хорошо и будете верными языками, то я через несколько дней отпущу вас. Если же как-нибудь измените, нас обманете или наведете на неприятельскую засаду, то сейчас же велю вас расстрелять. Впрочем, вы, кажется, оба добрые малые. Надеюсь, что мы с вами не поссоримся.

Василий весело прыгнул в лодку Меншикова, а Густав, надувшись, пересел в другую лодку, которою командовал преображенский подполковник Карпов, тот самый, который за полгода перед тем, бывши еще майором, отличился при взятии Шлюссельбурга и был тогда тяжело ранен. По приказанию Меншикова у Василья и Густава отобрали ружья и положили их в лодку, ко-

торую привязали к корме лодки Карпова. Поплыли. При истоке Большой Невки из Невы Меншиков и Карпов расстались. Первый продолжал путь прямо, а второй поворотил в Большую Невку. Перед подполковником лежала на маленьком низком столике доска с наклеенною на ней бумагою; тут же был компас, карандаш и несколько математических инструментов.

— Послушай, любезный! — сказал Карпов Густаву, чертя что-то карандашом на бумаге.— Какой это остров от нас влево?

— У него нет никакого имени. Остров, да и только...

— Смотри не лгать у меня!

— Я не лгу.

— Да что ты так надулся, приятель! Гляди повеселее. Не советую со мною ссориться. Не то из плена совсем не выпустят. Говори же правду: как название этого острова?

— Я вам сказал уже, что он безымянный.

— А велик ли он?

— Версты три с лишком в длину и более двух в ширину.

— Нам надобно его объехать кругом. Указывай гребцам, куда плыть.

У Густава лицо немного прояснилось. «Нам придется плыть мимо нашего дома,— подумал он,— без сомнения, увижу отца и сестру, успею сказать им несколько слов, чтобы их успокоить. Что-то с ними теперь делается?»

— Налево,— сказал он гребцам, когда они доплыли до того места, где вытекала из Большой Невки речка, на берегу которой стояло жилище Густава.

Между тем Христина, которая, как было сказано, уснула, сидя у стола, раскрыла глаза, осмотрелась, вспомнила всю ночную тревогу и вскочила с беспокойством. Карл Карлович еще спал. Девушка вышла из хижины, боязливо посмотрела во все стороны. Ни души! «Куда брат Густав девался? — подумала она, едва удерживая слезы.— Оставил нас одних, когда мы в такой опасности, когда, того и смотри, придут сюда русские».

— Брат! Брат! — закричала она.— Где ты? Поди сюда! Мне страшно.

Нет ответа. Везде глубокое молчание, только ворон каркал на ближней сосне. Сердце у нее сжалось от страха и печальных предчувствий. Ей казалось, что вот

сейчас же выскочат из-за деревьев русские солдаты и ее схватят. В это время Илья Сергеевич вышел из своей избы.

— Ах, Илья Сергеевич! — воскликнула девушка.— Как рада я, что вы вышли. Ищу брата. Ушел куда-то, бросил нас, и в какое время!

— И моего сына нет нигде. Куда это они в самом деле ушли? Ба! Да вот и лодки нашей нет. Верно, они уехали опять на Неву.

Голова Карла Карловича в колпаке высунулась из окошка.

— Доброе утро, сосед любезный! Ну что? Русских еще не видно? Помилуй, Господи, всех нас, грешных!

— Авось в такую глушь не скоро еще придут русские, если б даже и успели они взять Ниеншанц. Что-то там делается? Пальбы давно уж не слышно.

Карл Карлович, в синем немецком кафтане, с медными большими пуговицами и с зелеными заплатами на локтях, вышел из своей хижины.

— А где Густав? — спросил он у Христины.

— Не знаю, батюшка! — отвечала та печально.

— Как — не знаю! Ты должна знать, когда я тебя спрашиваю.

— Вероятно, наши сыновья поехали опять на Неву,— сказал Илья Сергеевич.

— Как на Неву! — воскликнул Карл Карлович и сильно зажевал от беспокойства.— Что им далась эта Нева! Такое ли теперь время, чтобы по ней кататься. Во-первых, надобно заметить, что Невы не существует, а есть река Ниен, как я говорил тысячу раз, а во-вторых, теперь на Ниене, когда там сражаются, это слишком опасно, смело, безумно и даже, можно сказать, глупо. Я скорее думаю, что мой Густав и твой сын ушли на охоту.

— А вот я, Карл Карлович, проберусь через остров, сквозь лес, до берега Невы, и взгляну сам, что там делается. Может быть, и встречу наших сыновей.

Он вошел в свою избу, надел через плечо кожаную перевязь со старою заржавевшею саблею, нахлобучил шляпу, сел в челнок, переправился на другой берег речки и скрылся в чаще леса.

— Батюшка, батюшка! — закричала вдруг Христина.— Сюда плывут в лодке солдаты. Убежим!

— Где, где они?

— Вот, вот, уж близко! Видите ли, выезжают за леса. Убежим, убежим скорее!

— Ты знаешь, любезная дочь, что я бегать не могу. Они уж близко, конечно, видели нас, и так я полагаю, что бежать уж поздно. Предадим себя на волю Провидения. Неужели ж эти русские не пощадят моих седин и твоей молодости, неужели убьют безоружного старика и невинную девушку. Не бойся, дочь моя, не бойся!

Говоря это, Карл Карлович сильно жевал и дрожал, обнял одной рукой дочь, нагнул ее голову к плечу своему и смотрел на приближающуюся лодку с солдатами.

— Батюшка! — вскрикнула Христина.— Ах, Боже мой! Брат в этой лодке! Верно, русские схватили его.

— Быть не может! Где ты видишь Густава?

— В лодке, в лодке! Видите ли, офицер с ним разговаривает.

— Да, да, это правда! Это Густав! Ах, бедный мой сын! Что будет с ним!

Лодка приблизилась и пристала к берегу. Подполковник Карпов и Густав вышли из лодки.

— Здравствуй, почтенный старик! — сказал Карпов, ударив слегка по плечу Карла Карловича.— Что ты дрожишь? Не бойся нас! Ведь русские не людоеды. Вот сын твой просил меня остановиться здесь на минутку, чтобы сказать тебе несколько слов и тебя успокоить. Видишь ли, ему поручено мною некоторое дело. Если он исполнит его честно и исправно, то через несколько дней я его отпущу к тебе. А это дочь твоя? Какая красавица!

Говоря это, Карпов взял Христину двумя пальцами за подбородок и поднял ее головку, которую она потупила.

— Да, господин офицер, это дочь моя.

— Да взгляни мне прямо в лицо, красавица! Опустила ресницы, уставила глаза в землю и стоит, как приговоренная к смерти. Не бойся нас. Мы народ добрый. Не обидим.

Христина подняла глаза и робко взглянула на подполковника. При всей быстроте взгляда она успела заметить, что подполковник был молод и статен, что у него лицо мужественно и очень приятно, что глаза у него голубые, зубы ровные, белые, а усы и волосы темно-русые.

— Ну, какие глаза! — продолжал Карпов.— Поздравляю, старик! У тебя дочь редкая красавица!

— Красота, господин офицер,— сказал Карл Карлович,— наружная красота без душевной есть непрочный, ничего не значащий цветок и даже, можно сказать, пустяк.

— Да разве у дочери твоей душа нехорошая? Я уверен, что она умница, добренькая, что она вообще душенька.

— Она, конечно, имеет очень доброе сердце, и можно сказать, что она довольно умна, хотя и бывает иногда ветрена, неосновательна и даже, можно сказать, глупа, как все молодые люди.

— Поэтому и я глуп?

— Я не говорю этого, господин офицер.

— Ну прощай, старик! Нам пора уж ехать. О сыне твоем не беспокойся. Только скажи ему, чтобы он исполнил хорошенько то, что поручено ему.

— Да, да, Густав,— сказал Карл Карлович.— Исполни все как можно лучше.

— А если, батюшка, это будет несогласно с присягой нашему королю?

— Как несогласно с присягой? Это пустое! Этого ты никогда не сделаешь!

— Да если велят, принудят.

— Ну, когда велят, особенно когда велят старшие, то приказание их должно непременно исполнить, но исполнить так, чтобы все это было присяге непротивно и даже с нею сообразно во всей точности. Ну прощай! Ступай с Богом!

Густав простился с отцом и сестрою, сел с Карповым в лодку, и они вскоре скрылись из вида.

— Послушай, любезный,— сказал Меншиков Василью.— Скажи ты мне, сколько здесь всех островов при устье Невы?

— Да Бог их знает! Я никогда их не считал.

— Ну так теперь сосчитай. Они, верно, все тебе известны.

Подумав немного, Василий сказал:

— Кажется, четырнадцать или пятнадцать, если считать, и все маленькие.

— Направо от нас все острова?

— Точно так.

— А налево?

— Налево — материк. А вот эта речка, которая вытекает из Невы, отделяет от материка большой остров.

Говоря это, Василий указал на Фонтанку.

— А как эта речка называется?

— Она безымянная.

— Куда течет?

— Также в залив, как и Нева. Близ ее устья стоит на взморье чухонская деревня.

— Налево, в речку! — скомандовал Меншиков гребцам.

Лодка вплыла в Фонтанку, которая тогда была совсем не похожа на нынешнюю. Она пробиралась к взморью между двумя необитаемыми, лесистыми берегами. По местам нагнувшиеся ивы купали в ней свои ветви.

У Меншикова, так же, как и у Карпова, был компас и другие математические инструменты. Плывя по Фонтанке, он чертил карандашом на бумаге ее направление. Наконец лодка выехала на взморье. Меншиков велел поворотить налево и вскоре увидел на берегу чухонскую деревню, о которой говорил Василий. Вышли на берег, на котором стояло несколько часовых, семеновских солдат, в известном расстоянии друг от друга. Они скрывались за деревьями, кустарниками. Из одной хижины вышел офицер со зрительною трубою в руке. Меншиков подозвал его к себе.

— Нет ли чего нового?

— А вот сейчас известил меня часовой, который поставлен там, у взморья, что вдали появились какие-то паруса.

— Пойдем вместе и посмотрим,— сказал Меншиков.

С офицером подошел он к месту, откуда видно было взморье, взял зрительную трубу и начал смотреть вдаль.

— Идет несколько кораблей,— сказал Меншиков,— без сомнения, шведских. Но они дойдут сюда еще не скоро, потому что ветер слишком слаб. Отправьте сейчас же к его величеству донесение.

— Я уже отправил.

— Сколько у вас здесь солдат?

— Три роты, которые оставлены здесь его величеством двадцать осьмого минувшего апреля, вечером.

— То есть тогда, когда мы приезжали сюда на лодках, с семью ротами, еще прежде взятия Ниеншанца?

— Точно так.

— Подтвердите приказание солдатам, чтобы они были как можно осторожнее и не показывались прежде времени приближающемуся неприятелю. Наблюдайте строго за жителями, чтобы кто-нибудь из них на лодке или челноке не передал известия на шведские корабли, что мы здесь и что Ниеншанц уже взят.

Довольно долго еще разговаривал Меншиков с офицером. Тем временем в деревне, где остались гребцы Меншикова и Василий, происходил такой разговор.

— Куда это пошел командир-то наш? — спросил один из гребцов, преображенский усач, другого.

— А вишь ты, он пошел туда с офицером, ко взморью,— отвечал другой.

— Это я сам вижу, без тебя. Я хотел сказать: для чего он пошел туда?

— Для чего? Вишь ты, скажи ему еще: для чего! А тебе что за дело?

— Ну, так. Неужто нельзя спросить: для чего?

— Можно, да не должно! — сказал третий солдат, разглаживая усы.

— А что так?

— Да то, что не наше солдатское дело рассуждать, для чего да почему. Про все то уж командиры знают. Они за все и отвечают. А нам что! Скомандуют: заряжай! — так заряди. Закричат: пали! — так и стреляй. Крикнут: вперед! — так и затягивай: ура! да ломи вперед, хотя бы сами черти перед тобой стояли с раскаленными рогатинами.

— Дело говоришь, дядя! — заметил четвертый солдат.— Был я под Нарвой. Вот этак же многие не слушали хорошенько команды, а, видно, смекали: для чего и почему,— так швед нам и задал такого трезвону, что и теперь еще затылок чешется.

— Вот тебе и «для чего»! — сказал второй солдат, ударив первого по плечу.— Вперед не спрашивай: для чего? Много будешь знать, скоро состареешься. Сам безграмотный, а хочешь есть пряники писаные!

Солдаты захохотали. Первый солдат надулся, оправил усы и сказал:

— Ну что ж вы расхохотались, словно русалки какие! Невелика беда, что я теперь спросил неладно. А вот посмотрим, как дойдет до баталии, увидим еще, кто кого перещеголяет. Не спрошу, не бойсь, тогда: для чего,— а так отличусь важно, что сами скажете: «Ну, Савельич, собачий сын, всех за пояс заткнул!»

— Не заткнешь! — возразил второй солдат.— Все не ударим в грязь лицом. Опростоволосился, так уж молчи, не виляй!

— Да я не виляю, дядя! Что ты льнешь ко мне, как сера горючая. Отстань!

Сказав это и желая отвратить от себя дальнейшие насмешки, солдат обратился вдруг к Василью и спросил его:

— Ну что ты, язык, не говоришь ничего? Смотришь только на нас да глазами похлопываешь.

— Что ж мне говорить? — сказал Василий.

— Как что? Ведь ты язык, а у языка только и службы, что говорить. За что же он казенную квартиру во рту занимает? Даром, что ли? Вон его, коли он службы своей не справляет!

Солдаты опять засмеялись. Товарищ их был рад, что отвел от себя на другого дождь насмешек.

— А кто ты, любезный? — продолжал солдат.— Русский или швед?

— Русский.

— Коли русский, то какими судьбами ты попал сюда, в шведскую сторону? Беглый, что ли?

— Нет, не беглый.

— Коли не беглый, так что ж ты за птица залетная?

— Тебе дела нет до этого.

— Вот что! Дела нет! Видно по всему, что ты птица-то не простая. Признайся, что ты какой-нибудь перебежчик или изменник. Впрочем, мне нет до тебя дела. Моя изба с краю, ничего не знаю.

Солдаты снова засмеялись. Насмешки их совершенно вывели Василья из себя. В это время возвратился Меншиков с офицером.

— Нет, я не изменник! — вскричал Василий.— Не изменник, а такой же русский, как и вы! Господин губернатор! — продолжал он, бросаясь к ногам Меншикова,— меня называют напрасно беглецом, изменником, а я, клянусь вам, не беглец, не изменник, а ничем не виноватый перед нашим царем. Возьмите меня в службу, прикажите дать мне ружье и тесак, и, когда придут шведы, я покажу всем: русский ли я.

Меншиков взял его ласково за руки и поднял.

— Кто называл тебя изменником?

— Они! — отвечал Василий, указывая на солдат.

— За что? — продолжал Меншиков.

— Никак нет, Александр Данилович! — отвечал

один из преображенцев,— мы не называли его вправду изменником, а так только болтали да трунили над ним.

— Не надобно никого напрасно обижать! — сказал Меншиков строго.— Грешно!

— Слушаем, отец наш Александр Данилович! — гаркнули солдаты.

— Послушай, любезный! — сказал Меншиков, отведя Василья в сторону.— Когда приходят сюда шведские корабли, то какие подают они сигналы крепости? Ты, наверное, заметил это, потому что давно уже живешь в здешней стороне.

— Когда корабли приходят сюда, на взморье,— отвечал Василий,— то они всегда стреляют два раза из пушки, и с крепости им отвечают также двумя выстрелами.

— Ты это наверное знаешь?

— Наверное.

Меншиков подошел к толстому пню, вынул из кармана листок бумаги и карандаш, записал то, что узнал от Василья, и велел офицеру запечатать и тотчас же отослать в Ниеншанц, к фельдмаршалу графу Шереметеву.

Ветер совсем стих. Меншиков увидел в зрительную трубу, что шведские корабли стали вдали на якорь. Поэтому он решился провести ночь в деревне и дождаться другого дня. Назавтра, второго мая, пользуясь поднявшимся, хотя и слабым ветром, корабли приблизились к невскому устью и остановились от него в полуверсте. Из-за кустарника Меншиков наблюдал за неприятелем. Вот с борта одного корабля сверкнула красная огненная струя; белый густой дым покатился клубами по морю, и эхо понесло вдаль выстрел. Когда дым, редея, начал подниматься и растягиваться в воздухе легким облачком, грянула вторая пушка. Вскоре затем раздались в отдалении два ответных выстрела со стены Ниеншанца, и тогда с адмиральского корабля послали бот в деревню, чтобы взять лоцманов для ввода прибывшей эскадры в Неву. Но едва бот успел пристать к берегу и едва вышли из него четверо шведских матросов, несколько семеновских солдат выскочили из-за кустарника, овладели ботом и одного матроса схватили. Товарищи его убежали. С эскадры этого ничего не видали, потому что деревню заслонял со стороны моря лесистый остров (нынешний Гутуевский). От схваченного матроса узнали, что эскадрою командует вице-адмирал

Нуммерс и что она прислана для защиты Ниеншанца. К вечеру два корабля отделились от эскадры и стали на якорь перед самым устьем Невы. В реку не вошли они, потому что стемнело. Между тем ветер снова стих совершенно. Эскадра простояла шесть дней на якоре со второго до седьмого мая в совершенном бездействии за безветрием.

В ночь с шестого на седьмое мая тридцать ботов, наполненных преображенскими и семеновскими солдатами, плыли по Неве от Ниеншанца. Половина из них отделилась и въехала в Фонтанку, другая поплыла далее и пристала к лесистому берегу Васильевского острова. Солдаты остались в ботах, а Меншиков и подполковник Карпов вышли на берег.

— Какая холодная ночь! — заметил Карпов.

— А вот скоро будет очень жарко,— сказал Меншиков.— Его величество, я думаю, уже проехал половину Фонтанки. Что бы нам не прозевать сигнальной ракеты! Надобно так рассчитать, чтобы мы могли в одно время напасть на шведские корабли: его величество от деревни, которая на взморье, а мы — отсюда.

— Не прикажете ли отпустить теперь наших двух языков? Теперь уж они, кажется, нам более не нужны. Все острова уже осмотрены и сняты на карту.

— Нет еще. Я до вашего приказания не велел их отпускать. Они теперь в одном из ботов, под надзором солдат.

— Отпустите их. Неужели их нам тащить с собою в сражение! Только мешать будут. Прикажите позвать их ко мне.

Вскоре Василий и Густав подошли к Меншикову.

— Ну, благодарю вас, друзья, за вашу службу,— сказал им Меншиков.— Теперь вы можете идти куда хотите. Все ли отдано вам, что было с вами, когда мы вас взяли в языки?

— Нет, ничего еще не отдано, ни лодки нашей, ни ружей,— отвечал Густав.

— Где же это все? — спросил Меншиков у Карпова.

— Лодка их привязана к моему катеру, и ружья сданы на сбережение капралу.

— Возвратить им все и отпустить. Ну, ступайте, любезные друзья! Благодарю за службу. При случае постараюсь и наградить вас чем-нибудь, а теперь некогда.

— Если вы были довольны моей службой, господин

губернатор, то можете наградить меня теперь же,— сказал Василий.

— Тебе уже сказано, любезный, что некогда. Теперь мне не до тебя. Ступай.

— Награда, о которой прошу, состоит в том, чтобы вы позволили мне сесть в бот вместе с солдатами, которые называли меня изменником, и ехать с ними на сражение.

— Ого, какой же ты храбрый! Нет, мой друг, это сделать мудрено.

— Сделайте милость, господин губернатор! Увидите сами, как я буду драться. Прикажите мне дать тесак, сумку с патронами да возвратить ружье мое.

— Нельзя, нельзя, друг мой.

— Сделайте милость! Окажите благодеяние!

Василий бросился к ногам Меншикова.

— Что с ним станешь делать! — сказал Меншиков, обратясь к Карпову.

— Позвольте ему, Александр Данилович! — сказал подполковник.— Что ж в самом деле. Один человек лишний солдатам не помешает. Притом сражение будет на воде, а не на сухом пути. И для солдат-то это новинка.

— Да почему ты так неотступно просишь? — спросил Меншиков Василья.

— После узнаете! Может быть, мне удастся заслужить от вас спасибо, может быть, я порадую этим отца моего, который... Не расспрашивайте теперь. Позвольте ехать, окажите благодеяние.

Говоря это, Василий обнимал ноги Меншикова.

— Ну, нечего с тобой делать! Вели, Карпов, дать ему из обоза тесак и сумку с патронами да возвратить его ружье.

Василий готов был запрыгать от радости. Он подошел к Густаву, обнял его и сказал вполголоса:

— Прощай, друг! Может быть, мы уж не увидимся больше!

Потом прибавил шепотом:

— Скажи моему отцу, что авось заслужу я ему царское прощение.

— Прощай, Василий,— сказал Густав, обнимая его.— Ты делаешь большую глупость! — прибавил он тихо.— Отцу не поможешь, а самого убьют. Мудрено разбить шведов. Их много приехало на кораблях.

— Нет, уж я решился! Прощай!

Густав удалился, а Василья посадил Карпов в бот к солдатам, у которых он был до того под надзором. Ему дали ружье, тесак и сумку.

— А! Да ты опять к нам, дружок! — сказал тот самый солдат, который насмешками рассердил Василья в деревне.— Разве ты пойдешь с нами в баталию?

— Да, пойду.

— А не боишься шведа? Ведь сердит окаянный!

— Не боюсь! Двух смертей не будет, а одной не миновать.

— Да ты, я вижу, молодец! А стрелять-то умеешь?

— В меткости тебе, я думаю, не уступлю.

— Ой ли!

— Увидишь.

— Да кто тебя к нам прикомандировал?

— Александр Данилович.

— А для чего?

— Опять ты, Савельич, спрашивать принялся: для чего? — сказал другой солдат.— Смотри! Опять опростоволосишься. Командир велел, так уж молчи, не раздобаривай.

— Забыл, дядя! И в самом деле, чтобы не того!..

— То-то!

— Смотри-ка, дядя, смотри! Вишь ли вон там, вдалеке, из-за лесу-то что поднялось? Никак, ракета?

— Кажись, ракета!

Меншиков и Карпов сели в передний бот, и вся флотилия в тишине двинулась к взморью. Вскоре стали уже видны два шведские корабля, обрисовавшиеся на воде едва освещенной занимавшейся зарею.

— Эк наш командир-то! — сказал Савельич товарищам.— Впереди всех летит.

— Не отставай, ребята! Греби сильнее! — крикнул капрал, стоявший на руле.— Поналягте, любезные, поналягте. Раз!.. Два!.. Раз!.. Два!.. Вот этак.

На шведских кораблях ударили тревогу. Паруса взвились, фитили закурились, на поверхности залива сверкнул красный блеск, как будто от зарницы, и первый залп грянул с борта ближайшего корабля.

— Вперед! На абордаж! — послышался громкий голос Меншикова.

— Эх, дядя! — сказал Савельич.— Никак, тебя до смерти убило? Ребята! Ведь Кузьмича-то убило! Вишь, лежит, сердечный, не шевельнется! А тебя, Сергеич, никак задело картечью?

— Оцарапало руку,— отвечал раненый солдат, морщась от боли.— Да ты на меня-то не зевай! Не твое дело! А смотри вперед да слушай команду.

— Глядите-ка, глядите-ка, ребята! — крикнул Савельич.— Кто с другой-то стороны к кораблям-то катит. Ведь, ей-богу, он!

— Кто? — спросил Василий.

— Да сам царь! Ах ты Господи!

— А что, ребята, уж не затягивать ли: ура? Или еще рано? — сказал третий солдат.

Грянул со шведских кораблей другой залп. Бот, которым правил Петр Великий, скрылся в белом облаке порохового дыма.

Окруженные два корабля, подняв все паруса, усиливались пробиться к эскадре и плыли к ней, беспрестанно отстреливаясь.

— Слышь ты! — сказал капрал того бота, где был Василий.— Командуют стрелять беглым огнем! Жарь шведов! За дело, ребята! Прикладывайся! Пли!

— Да ты и впрямь стрелять мастер! — заметил Савельич, взглянув на Василья: — Вишь как работает.

— Куда вы! — крикнул капрал на гребцов.— Вы к корме норовите! А то лезут под самые пушки! Как шарахнут шведы ядрами, так бот в щепы разлетится, а ведь надобно беречь его: казенный! Ну, голубчики, ну, друзья и однокашники, веселее! Веселее! Забрасывайте веревочную лестницу с крючьями! Чу! Слышь ты! Командуют! Гранаты берите в руки. А! прицепились к корме. Нет, матушка-сударыня шведская проклятая барка, теперь от нас не отцепишься! Вот так! Ладно! Наверх, любезные, наверх, богатыри! Живо!

Шведская эскадра не могла подать помощи двум окруженным кораблям. Ветер был противный, а лавировать было невозможно по узости фарватера. Со всей эскадры открыли сильную канонаду по русским ботам. Но наконец ее прекратили, когда дым покрыл и боты, и уходившие два корабля. В этом облаке раздавались взрывы лопающихся гранат, ружейный огонь, пушечные выстрелы. Вместе с другими Василий взобрался по веревочной лестнице куда-то вверх, на какую-то палубу. В дыму за два шага ничего не было видно. Гром начал постепенно стихать, дымное облако прочищаться, и вот опять явились они, два шведских корабля, сначала неясно, как два призрака, как две черные тени в тумане, потом обрисовались яснее, освещенные лу-

чами восходящего солнца. На корме одного корабля стоял уже Петр Великий, на корме другого Меншиков. Шведские флаги на обоих судах были спущены. Восторженное «ура», как непрерывный перекат грома, далеко разносилось по заливу.

V

— Да-да,— говорил сидевший у стола Карл Карлович Илье Сергеевичу, который ходил по избе, опустив голову,— я опять сегодня всю ночь не спал. Что за глупый обычай у этих русских производить пальбу ночью, и притом такую дьявольскую пальбу! Тысяча бочек чертей!.. Это чрезвычайно беспокойно и даже, можно сказать, неприятно. Я уже начинаю соглашаться с твоим мнением, что лучше нам всем уйти отсюда подальше.

— Тебе нечего уходить, Карл Карлович. Мне — дело другое. Да вот уж сколько дней все сына увидеть не удается. Сохранил ли его Бог при сражении? Хочется взглянуть на сына в последний раз, проститься с ним, благословить его. А потом и пойду я куда глаза глядят в какой-нибудь пустыне безлюдной, на чужой земле сложить свои старые кости.

— Нет, сосед любезный! Я опять возвращаюсь к прежнему своему мнению, что тебе уходить никак не следует. Зачем тебе искать пустыни? И здесь очень хорошая пустыня, довольно безлюдная. Пальба, правда, наносит некоторое беспокойство, но это еще не беда. Можно и при пальбе быть счастливым.

— Нет, батюшка! Я при пальбе очень несчастна! — сказала Христина.— Очень желала бы, чтобы шведы или русские скорее победили, только перестали бы стрелять.

— Вот хорошо! — воскликнул Густав.— Можно ли говорить так природной шведке!

— Да-да, природной шведке! — повторил Карл Карлович, покачав головою.

— Ведь уж от моих желаний и слов,— возразила Христина,— победа нисколько не зависит. Что Бог судил, то и будет. Но я очень была бы рада, если бы скорее война кончилась, и мы могли здесь жить по-прежнему, спокойно и весело. Ну, даже если бы и русские победили: нас не обидят. Я воображала их каки-

ми-то зверями, а они, напротив, такие добрые и ласковые.

— Без сомнения, ты судишь по одному подполковнику Карпову, который слишком что-то часто нас посещает,— сказал Густав, иронически улыбнувшись.

Христина покраснела.

— Да-да! — заметил Карл Карлович.— Ты судишь по одному подполковнику! Как можно судить по одному подполковнику! Это глупо, нелепо и даже, можно сказать, неосновательно!

— Что ж такое! — возразила Христина, взглянув с досадой на брата и нахмурив тоненькие брови.— Подполковник в самом деле очень добрый человек.

— Конечно, добрый, но русский, а ты шведка.

— Но русский, да, да! но русский! — повторил Карл Карлович, сильно зажевавши.— А ты шведка и даже, можно сказать, ветреница.

— Да за что же вы меня браните, батюшка? — сказала Христина, отошла к окну и начала смотреть на речку, тихонько отирая выступившие из глаз слезы.

— Чем-то кончилось сражение? — сказал Густав, вздохнувши.— Пальба давно уже замолкла.

— Давно уже замолкла, это правда! — заметил Карл Карлович.— Я очень рад! Теперь можно и уснуть. Целую ночь мы не спали, а в мои лета это очень нездорово и вредно.

Карл Карлович зевнул. В это время Василий вошел в избу.

— Сын! Любезный сын! — воскликнул Илья Сергеевич, в восторге бросился к вошедшему и заключил его в свои объятия. Долго обнимались они молча и плакали.

— Расскажи, расскажи, любезный сын, что было с тобою? — спросил наконец Илья Сергеевич, положив руки на плечи Василья и вглядываясь в него, как бы желая удостовериться, точно ли он видит перед собою сына.

— Ну что? Разбиты? — сказал Густав.

— Разбиты!

— Русские?

— Нет, Густав! Два шведских корабля взяты, а теперь их ведут к Ниеншанцу, а все прочие неприятельские суда подняли паруса и ушли в море.

— А что, Василий Ильич, я думаю, очень страшно

на сражении? — спросила живо Христина с блестящими от любопытства глазами.

— Нет, нисколько не страшно! Я себя не помнил. Правду сказать, дрогнуло сердце при первых выстрелах, а там как пошло, так уж и трава не расти! Крик, треск, дым! Я тогда опомнился, когда увидел, что я и солдаты на палубе, что царь стоит на корме, губернатор Меншиков на другой. Слышу, кричат все: «Ура!» Сердце от радости запрыгало, и я начал со всеми прочими кричать что было силы: «Ура!» Вскоре пленных шведов с обоих кораблей пересадили на боты и повезли в Ниеншанц. Потом пересели на боты и наши солдаты. Осталось их на кораблях немного, по выбору царя и губернатора Меншикова. Когда я подошел к веревочной лестнице, чтобы спуститься с корабля, Меншиков меня увидел и спросил капрала: «Ну что этот волонтер, каково вел себя в сражении?» Капрал сказал в ответ: «Похаять нельзя. От других не отставал». Тут губернатор Меншиков потрепал меня ласково по плечу. «А можно ли мне теперь,— спросил я его,— побывать дома и повидаться с родителем?» Губернатор усмехнулся и сказал: «Ступай, любезный, на все четыре стороны. Ты ведь не на службе». Да еще потрепал меня по плечу. Такой, право, добрый и ласковый! У меня слезы навернулись. Я ему поклон, да и спустился в бот. Когда мы поплыли, то царь и Меншиков начали на взятых кораблях командовать. Солдаты, которые там остались, мигом подняли паруса, музыканты заиграли, и корабли один за другим двинулись к устью Невы. Мы было сначала ушли от них вперед, но на Неве они нас обогнали. Все боты с солдатами плыли на веслах, которые справа, которые слева от кораблей. Вдруг царь с кормы крикнул солдатам: «Поздравляю, дети, с первою морскою викторией!» Господи Боже мой! Как услышали солдаты эти слова, то поднялся такой шум и крик, что и сказать нельзя! Все мигом вскочили, машут ружьями, веслами, флагами, тесаками; боты все качаются, словно пляшут на воде, а корабли по самой середине реки так и бороздят воду, так и рассыпают ее белым жемчугом. Вскоре они ушли далеко от нас. Вместе с солдатами и я кричал до того «ура», что горло заболело.

Во время этого рассказа по бледным щекам стоявшего неподвижно Ильи Сергеевича текли слезы. Он не отирал их. Они от времени до времени крупными кап-

лями падали на пол. Когда Василий, которого глаза блистали радостью, замолчал, то старик отец его схватился за голову обеими руками, горестно зарыдал и проговорил глухим, прерывающимся голосом:

— А я, старый грешник, а я, изменник, не могу, не смею радоваться победе русских! Боже мой, Боже мой!

Радость Василья вмиг исчезла при этих словах. Он побледнел; на лице его изобразилось глубокое страдание. Он взглянул на отца, заплакал и бросился ему на шею. Карл Карлович, не понимая чувств ни того, ни другого, смотрел с добродушным хладнокровием старости на эту сцену. Густав, скрестив на груди руки и нахмурясь, ходил большими шагами по горнице из угла в угол. Христина все еще стояла у окна и глядела на речку. Сначала лицо ее выражало досаду на брата, который несправедливо укорил ее в пристрастии к подполковнику Карпову. Услышав слова Ильи Сергеевича, она быстро оглянулась, и в тот же миг лицо ее переменило совершенно выражение. Другое чувство мелькнуло на нем. Она опять оборотила лицо к окну, и две слезинки досады, висевшие на ее ресницах, слились на щеках ее со слезами сострадания.

На другой день рано утром в хижину Карла Карловича вошли Илья Сергеевич и его сын с котомками за спиною.

— Доброе утро, сосед любезный! — сказал Карл Карлович.— Сегодня, слава Богу, мы спали спокойно: пальбы не было. Я, по крайней мере, никакого шума и грома не слыхал. Христина! Ведь не было пальбы сегодня ночью? Ты всегда первая слышишь и всегда меня будишь.

— Не было, батюшка.

— А где Густав?

— Он ушел на охоту,— отвечала Христина.

— А мы с сыном пришли с тобою проститься, сосед,— сказал Илья Сергеевич.

— Как — проститься? Разве поздороваться? Ведь теперь утро, кажется? Христина! Что теперь такое — вечер или утро? С этими русскими и с их несносною пальбою совсем собьешься с толку! Спишь днем, ночью встаешь, вообще ведешь жизнь самую неправильную и даже, можно сказать, самую глупую. Что же ты молчишь, Христина?

— Что вам угодно, батюшка?

— Я тебя спрашиваю: что теперь такое — вечер или утро?

— Конечно, утро. Солнце недавно взошло.

— Так ты, я вижу, любезный сосед, ошибся, сказавши, что пришел проститься. Ты хотел сказать: поздороваться.

— Нет, Карл Карлович, я не ошибся. Мы с сыном идем к Выборгу, а может быть, и дальше.

— Зачем к Выборгу? Зачем дальше? А скоро ли вы сюда вернетесь? — спросил Карл Карлович, сильно зажевав от беспокойства.

— Мы уж сюда никогда не вернемся, Карл Карлович.

— Никогда? — повторил старик и встал с своих деревянных кресел.— Как это можно — никогда? Это пустяки!

— Да, любезный сосед! Жили мы много лет вместе в дружбе и приязни. А теперь пришла пора нам расстаться. Простимся, обнимемся в последний раз.

— Нет! Не хочу в последний раз! Не хочу прощаться! Ты знаешь, что я тебя очень люблю.

Карл Карлович в сильном волнении сел опять в свои кресла, ворча что-то про себя.

— Избушку мою дарю я тебе, любезный сосед! Грустно, куда грустно мне самому расстаться с тобою и детьми твоими, да что делать! Уж, конечно, не нажить мне такого друга, как ты. Впрочем, и жить-то мне немного осталось. Умру где-нибудь в глуши, а ты помолись о душе моей. Прощай, Карл Карлович!

Илья Сергеевич со слезами на глазах обнял и поцеловал своего соседа. То же сделал Василий. Карл Карлович все сидел по-прежнему неподвижно в креслах и ворчал что-то вполголоса. Старик сердился, что сосед его не слушается и хочет уйти, оставить его одного доживать век на берегах пустынной речки, где они так долго и так дружно жили вместе. Илья Сергеевич и Василий подошли к Христине, чтобы и с нею проститься. Карл Карлович следовал за ними взором, насупив брови.

— Не прощайся с ними, Христина, не смей прощаться! — сказал он.— Я не хочу, чтобы они ушли.

Удивление, грусть и испуг выражались на лице девушки. Она ничего прежде не слыхала о намерении Ильи Сергеевича удалиться из этой стороны и не зна-

ла, чему приписать такую скорую и неожиданную его решимость.

— Будь счастлива, Христина Карловна! — сказал Илья Сергеевич с глубоким чувством.— Вспоминай иногда об нас. Я любил тебя как родную: видит Бог, как любил! Да хранит тебя Господь милосердный! Да пошлет Он тебе много счастия, много радостей в жизни!

Христина молча слушала Илью Сергеевича и все еще с удивлением глядела прямо ему в лицо. На ресницах ее сверкнули две слезинки.

— Не смей прощаться! — повторил Карл Карлович, топнув.— Они не уйдут. Это пустое!

— И меня не забудь, Христина Карловна! — сказал Василий.— Тяжело мне расстаться со всеми вами. Я тебя любил, как сестру, и всегда так буду любить, всегда буду тебя помнить, где бы я ни был!

Он взял Христину за обе руки и поцеловал ее в щеку, с братскою нежностью.

— Да зачем, куда вы уходите? — сказала девушка тихим, прерывистым голосом, в котором отзывалась грусть сердца.— Неужели в самом деле вы уже сюда никогда не вернетесь?

— Кто знает? Может быть, никогда! — отвечал Василий, вздохнув.

Христина быстро отвернулась, подошла к окошку и начала своими тоненькими, хорошенькими пальцами утирать слезы, которые катились по ее щекам. Окошко было ее всегдашнее место, к которому подходила она, когда ей было грустно и когда ей приходилось от чего-нибудь поплакать.

Илья Сергеевич и Василий пошли к двери. Карл Карлович, все еще хмурясь и ворча, смотрел им вслед в уверенности, что сосед и друг не захочет его так глубоко огорчить, что он его послушается и останется. Видя, однако ж, что сосед не слушается и вместе со своим сыном уходит, Карл Карлович вздохнул, покачал печально головой, дрожащею рукою отер слезу и сгорбился на своих креслах. Его печальный вид, казалось, говорил: «Ну, теперь я совсем осиротел! Был у меня, старика, один верный друг, да и тот меня оставляет!»

— Илья Сергеевич! Посмотри! — воскликнула в это время Христина, глядя в окошко.— Сюда плывет большая лодка. Кажется, русские! Мне страшно! Не уходи, сделай милость, останься!

Илья Сергеевич, взявшийся уже за ручку замка, чтобы отворить дверь, остановился. Василий быстро подошел к окну. Лодка приближалась.

Здесь нужно сделать замечание, что Карповка 1703 года была глубже и шире нынешней. Нынче она похожа на речку только тогда, как дует с моря ветер. Когда же ветер поднимается с противоположной стороны, то он превращает Карповку в реку гомеопатического размера, по которой курицы могут безопасно переправляться вброд. Этого явления не бывало в 1703 году. Карповка была тогда гораздо полноводнее. На старинном плане Петербурга ширина ее означена вдвое против нынешней. Отчего же она так обмелела? Некоторые геологи полагают, что это явление в непосредственной связи с понижением океана, замеченным в течение веков на западных берегах Европы. Другие, напротив, думают, что берега Карповки постепенно возвышаются, как берега Италии и Швеции. Третьи полагают, что это явление есть следствие общего закона, по которому все в природе становится постепенно мельче. В самом деле, все стало мельче, чем прежде: животные, деревья, океан, Карповка, и даже самые люди. Какая, например, нынче бездна мелких людей... Но довольно об этом. Извините за геологическое отступление.

Христина и Василий, стоя у окна, глядели пристально на приближающуюся издали лодку.

— Знаете ли, кто плывет в этой лодке? — воскликнул вдруг Василий, отскочив от окна и обратясь к отцу своему и Карлу Карловичу.

— Я уверен, что это опять подполковник, который так часто нас посещает, чтобы болтать с Христиной,— сказал Карл Карлович.

— Так! Я не ошибаюсь! — продолжал Василий с заметным волнением.— Это он! Точно он!

— Кто? — спросила Христина со страхом, видя необыкновенное волнение на лице Василья.

— Это русский царь! Да, да, Христина! Сам царь Петр Алексеевич!

Услышав это имя, Илья Сергеевич побледнел. Холодный пот крупными каплями выступил на лбу его. Он неподвижно стоял у двери как окаменелый. У Карла Карловича вытянулось необыкновенным образом лицо. Он встал, кряхтя, с кресел, подошел на цыпочках к окну, оперся руками о плеча своей дочери и из-за куд-

рявой головки начал выглядывать в окно. Глаза Христины, устремленные на лодку, выражая робость, удивление, любопытство, были в эту минуту еще прелестнее, чем всегда. Лицо Василья блистало радостью, восторгом. Все едва смели дохнуть.

— Смотри, смотри, Христина Карловна! — сказал шепотом Василий.— Лодка уж близко! Вглядись хорошенько в того, который сидит на корме и правит рулем. Это царь!.. Вот теперь с ним разговаривает губернатор Меншиков. Других генералов, которые в лодке, я не знаю. А на носу лодки подполковник Карпов. Видишь ли, он мерянет лотом глубину речки.

— Для чего это? Что они хотят делать? — спросила тихо Христина, не сводя глаз с катера, плывшего в это время мимо самых окон хижины.

— Молчи, болтушка! — сказал вполголоса Карл Карлович, слегка давнув костлявыми руками круглые прелестные плеча своей дочери, о которые он опирался.— Перед ней русский царь, а она вздумала разговаривать! Видишь ли, он оглянулся и, кажется, смотрит на нас. Отойдем от окошка.

— Да разве нельзя смотреть на русского царя? — спросила шепотом Христина.— Вот уж лодка проехала мимо нашего дома.

— Замолчишь ли ты, ветреница!

С этими словами Карл Карлович взял Христину за руку и пошел осторожно, на цыпочках, от окошка, таща за собою дочь.

Катер скрылся за опушкой леса. Карл Карлович сел в свои кресла и опустил руку Христины.

— Болтушка! Ветреница! — ворчал он.— Не может помолчать ни минуты! Русский царь, который воюет с нашим королем, который взял Нётебург и Ниеншанц, словно ты пальцами два ореха, плывет мимо, за двадцать шагов от нее и даже, можно сказать, за десять, а она болтает так же спокойно, как всегда. Она, изволите видеть, ничего не боится и смотрит, как будто я в лодке плыву!

— Да чего же бояться русского царя? Неужели он может нас чем-нибудь обидеть? — возразила Христина, потупив голову и надув хорошенькие свои губы.

— Вот еще! Обидеть! Конечно, он нас обижать не станет! Что мы против него! Червячки, мухи, букашки!

— Потому-то, батюшка, я и смотрела смело на царя.

— Ах, силы небесные! Что это за ветреница!

— Да Бог с вами! — сказала, надувшись, Христина.— Вы сердитесь на меня, батюшка! Ну простите, поцелуйте меня.

— Поцелуйте!.. Ты этого не стоишь.

— Ну так я начну плакать, если вы не перестанете сердиться.

Карл Карлович посмотрел на нее с нахмуренными бровями, погрозил пальцем, встал с кресел, взял обеими руками дочь за голову и поцеловал ее в лоб.

Илья Сергеевич во все время разговора стоял неподвижно близ двери, с поникшей головою, со сложенными накрест руками на груди. Василий все еще глядел в окно.

— Далеко ли он? — спросил наконец Илья Сергеевич сына трепетным голосом.

— Что с тобою, батюшка! Ты бледен, ужас как бледен! — воскликнул Василий, подходя к отцу.

— Далеко ли он?

— Кто?

— Царь Петр Алексеевич.

— Лодка давно уже скрылась из виду. Я с нее глаз не спускал и ждал у окошка, не воротится ли она.

— О! Как тяжко носить на совести преступление! Как горько быть изменником! Было время, когда и я мог смотреть на русского царя с любовью, преданностью в сердце, с таким же чувством радости, с каким ты смотришь на него теперь, любезный сын! Не воротится уже для меня это время! Вася! Вася! Останься здесь, будь верным подданным царя, служи ему, служи своей родине. Разлюби, забудь отца своего. Позволь мне уйти одному. Товарищ мой в дороге будет раскаяние, мой утешитель — молитва. Чувствую, что не долго проскитаюсь я между иноплеменниками. Скоро умру я, и в чужой земле будут лежать кости изменника до дня Страшного суда. Прощай, Вася!

— Я иду с тобою, батюшка! — сказал твердо Василий. Иду с тобою! Не послушаюсь тебя! Не ты один, все мы, все люди грешны перед Богом; но и милосердие Его бесконечно для всех. Никто не должен отчаиваться. Пойдем, батюшка, пустимся в путь-дорогу, туда, куда нас с тобою Бог приведет.

Глубоко тронутый старик с невообразимым чувством обнял безмолвно сына.

Еще раз простились они с Карлом Карловичем и Христиной и вышли из хижины.

— Ну вот мы с тобой, Христина, и одни остались! — сказал печально после некоторого молчания Карл Карлович.— Уж ни сосед, ни сын его никогда не придут к нам! Тебе скучно, Христина! Да вижу, что скучно: ты плачешь. И мне заплакать хочется, да не могу. Твой старик отец давно привык к горю.

Карл Карлович закинул голову на спинку кресел, на которых сидел, и зажмурил глаза.

VI

Катер, который проплыл мимо хижины Карла Карловича, объехал в тот день все главные острова невского устья. Наконец он пристал к тому островку, на котором нынче стоит Петропавловская крепость. Все бывшие в катере вышли на берег.

Этот островок назывался по-шведски Льюстэйланде, то есть Веселым островом, потому что офицеры ниеншанцской крепости часто ездили туда летом повеселиться. Там стояла хижина рыбаков, которые каждый раз закидывали на счастье офицеров по их заказу невод. Поймав двух-трех лососей или каких-нибудь других рыб, офицеры дополняли этою добычею привезенный из Ниеншанца обед и садились под навес прибрежных сосен в кружок около деревянного стола, обнесенного скамейками. Тут, на открытом воздухе, они обедали, пили рейнвейн, разговаривали, шутили, спорили, шумели.

К этому самому столу, которого доску поддерживали вместо ножек четыре пня срубленных сосен, подошли приехавшие в катере, кроме шести преображенских солдат, которые заменяли гребцов.

— Не рассудите ли, господин генерал-фельдмаршал,— сказал Петр Великий Шереметеву,— составить теперь военный совет. Сядем вокруг этого стола.

Граф Борис Петрович Шереметев, пятидесятилетний старик почтенной наружности, сел на первое место. Это был тот самый Шереметев, о котором Петр Великий написал в сентябре 1702 года в письме к Апраксину: «Борис Петрович в Лифляндах гостил изрядно; взял городов нарочитых два да малых шесть; полонил 12 000 душ, кроме служивых».

Подле него сел генерал-адмирал граф Федор Алексеевич Головин, возведенный в это звание после смерти Лефорта. Еще поместились около стола князь Аникита Иванович Репнин, высокий, красивый мужчина, дослужившийся из рядовых Потешной роты до генерала, постельничий Гавриил Иванович Головкин, сопровождавший государя во всех его походах, окольничий Петр Апраксин, предводитель отряда новгородских дворян, генерал-майор Чамберс, командир Преображенского и Семеновского полков, генерал-майор от артиллерии Яков Брюс, подполковник Преображенского полка Карпов, капитан бомбардирской роты царь Петр Алексеевич и поручик той же роты шлиссельбургский губернатор Меншиков.

Во всем этом военном совете по летам были старшие Головин, Шереметев и Головкин. Первые два считали за пятьдесят, последний за сорок. Петру Великому было тогда тридцать лет. Все прочие члены совета были ему ровесники или немногими годами его старше, кроме Меншикова, который не имел еще и тридцати лет.

— Разложи, Алексаша, здесь, на столе, план, на котором сняты все здешние острова и местонахождение от Ниеншанца до взморья,— сказал царь Меншикову.

Тот развернул свиток бумаги, который держал в руке, и положил его перед графом Шереметевым.

— Ну, подавай же голос, господин поручик,— продолжал Петр Великий.— Тебе первому, как младшему в этом совете, говорить.

— Бог помог исполнить давнишнее намерение его царского величества,— сказал Меншиков,— и завоевать у шведов в прошлом году ключ, отворивший ворота в неприятельскую землю,— крепость Шлиссельбург, а к нынешнему году русское оружие отняло у врага другой ключ, который отворяет нам, русским, дорогу к морю и в Европу. Возблагодарив Бога, должно теперь подумать, как укрепить это место. Капитан бомбардирской компании говорил мне, поручику, что он бы думал для достижения этого устроить в здешних местах *фортецию* и подкрепить ее флотом, который надобно тотчас же построить. И я, поручик, то же думаю.

— Так как поручик объявил уже мое мнение, хотя я о том его и не просил,— сказал Петр Великий,— то я прибавлю только, что нужно рассудить: Ниеншанц ли укрепить таким образом или же выбрать новое место и новую крепость построить?

— Я полагаю,— сказал Карпов,— что и скорее, и выгоднее будет укрепить Ниеншанц, потому что сами шведы начали его укреплять и обводить новым валом, который уже до половины кончен.

— Это основательно,— заметили Брюс и Чамберс.

— И мы то же думаем,— промолвили князь Репнин, Головкин и Апраксин.

— Место, где стоит Ниеншанц, не больно крепко от природы,— сказал генерал-фельдмаршал граф Шереметев.

— Да и от моря далековато,— прибавил генерал-адмирал граф Головин.

— Генерал-фельдмаршал и генерал-адмирал перехватили мысль у бомбардирского капитана,— сказал Петр Великий, улыбнувшись.— Я то же самое думал с самого начала. А ты, поручик, что скажешь? Что ты тут ищешь на плане?

— Удобнейшего и лучшего места для постройки новой крепости.

— Ну что, нашел ли?

— Нет еще.

— А вот оно! — продолжал Петр Великий, указав остров на плане.— Чем это место худо?

— Да где же этот остров? — спросил Карпов.

— А там, где мы теперь сидим,— отвечал Петр Великий.

Все встали с мест, начали рассматривать план и, не произнеся еще никакого суждения, сели опять по местам.

— Вот на этом островке построим крепость,— продолжал бомбардирский капитан,— а на большом острове, который тут подле, выстроим город (царь указал на нынешнюю Петербургскую сторону). Со временем и этот большой остров, который там, ближе к морю (Петр указал на Васильевский остров), застроится зданиями, и в этих местах будет приморский город, куда станут приходить иностранные корабли с товарами, откуда будут отправляться в иностранные государства корабли русские.

— Дай Бог, чтобы это все исполнилось,— сказал Шереметев,— но леса и болота не вдруг превратишь в домы и улицы. Прежде озаботимся, по крайней мере, об устройстве здесь крепости.

— Леса и болота! — повторил бомбардирский капитан.— А читал ли ты, Борис Петрович, в римской исто-

рии, как император Константин основал Константинополь, который прозван вторым Римом, царем городов. В 329 году по Рождестве Христа, в день основания города, Константин взял копье и, сопровождаемый своими вельможами, пошел вперед по берегу Босфора, чертя на земле копьем окружность будущей своей столицы. Один из его приближенных наконец заметил, что не слишком ли велика окружность, назначенная императором. Константин отвечал: «Я пойду вперед, пока Тот, Кто невидимо ведет меня теперь, не повелит мне остановиться».

— Сердце царя в руке Божьей! — сказал Шереметев.— Тот же, кто вел римского императора по берегу Босфора, привел к варяжскому морю царя русского. Верю, что и здесь будет город, подобный Константинополю.

— Поцелуй меня, Борис Петрович!

— И я тому же верю, да не совсем,— промолвил генерал-адмирал граф Головин.— Хоть бы крепость-то Бог помог построить.

— Не лучше ли в самом деле,— заметил постельничий Головкин,— хорошенько укрепить Ниеншанц. Это можно исполнить гораздо скорее, чем построить новую крепость, тем более что уж сами шведы сделали для нас половину работы. Они начали новый вал, новые бревенчатые палисады, а мы их кончим.

— Это сделать должно, но все-таки новая крепость необходима,— сказал бомбардирский капитан.— Без нее устье Невы и все эти острова не будут в нашей власти. А если поставить здесь, на этом острове, крепость, то она может обстреливать все три главные рукава, на которые Нева разделяется при впадении в море. Если эти рукава не наши, то и море не наше. Тогда сиди, пожалуй, в Ниеншанце, а шведы займут все три рукава Невы и все эти острова. Тогда и челнок русский до моря не доберется. А с новой крепостью, посмотрите! Можно стрелять сюда, сюда и сюда.

Он провел карандашом на плане от Веселого острова три черты: одну по Большой Неве, по направлению ко взморью, другую по Малой Неве, по тому же направлению, третью, обратно по Большой Неве, к истоку из нее Большой Невки.

— Что дело, то дело! — сказал Шереметев по кратком размышлении, рассматривая план.

— Ну, что же скажет военный совет: строить здесь крепость? — продолжал бомбардирский капитан.

— Строить, непременно строить! — воскликнул Меншиков.

— Строить! — повторили в один голос все молодые члены совета.

— Если уж так,— заметил граф Головин,— то надобно приняться за дело как можно скорее, пока шведы...

— Шведы! — воскликнул бомбардирский капитан, нахмурив брови.— Если пожалуют сюда, прежде чем крепость окончим, то прогоним их. А только клянусь, что я этого острова, где мы теперь сидим, и невского устья не отдам шведам ни за что! Лучше лягу в эту землю, но не отдам ее! Она моя, она русская!

Бомбардирский капитан топнул ногой по земле.

И он... лежит теперь в этой земле. Он не предвидел тогда, что на этом острове, в середине столицы русского царства, воздвигнется, окруженная славою и благословениями, гробница Отца отечества.

VII

Илья Сергеевич и Василий шли по узкой, единственной дороге, проложенной сквозь лес, по направлению к Выборгу. Глубокая печаль тяготила сердце Ильи Сергеевича. Лицо Василья было спокойно и весело. Он беззаботно нес на плече свое ружье и по временам ласкал свою собаку, которая бежала за ним. Солнце всходило. Весеннее утро разливало какую-то радость даже на дикие, пустынные места, по которым шли наши странники. Они добрались уже до речки Сестры, извивающейся между двумя высокими лесистыми берегами, и начали искать удобного места, чтобы перейти через нее вброд.

— Кто идет? — крикнул вдруг громкий голос.

Оба подняли глаза и увидели на высоком берегу Сестры русского часового с ружьем на плече.

— Назад! — продолжал часовой.— А не то убью.

Василий подошел к часовому, поклонился и сказал:

— Для чего, земляк, ты нас не пускаешь через реку?

— Для того, что не велено никого пропускать по этой дороге в шведскую сторону.

— А по другим дорогам?

— Да других-то дорог, любезный, нет.

— Что ты! Есть и другие дороги, я знаю.

— Ну так и ступай по тем дорогам, а по этой не пропущу. Здесь поставлен караул под командой офицера.

Василий пришел в большое замешательство. Хоть он и сказал, что есть другие дороги, однако ж это была одна выдумка, для убеждения непреклонного часового.

— Беда, батюшка! — сказал он вполголоса, подойдя к отцу.— Здесь русский караул, которому наказано не пропускать никого за реку. Не попытаться ли нам разве перейти ее вброд подальше отсюда и потом по лесу выбраться опять на дорогу?

Пока Василий объяснялся с часовым, Илья Сергеевич сел на берег, подпер голову обеими руками и смотрел на струи реки, которые, журча, неслись мимо него. «Грешник, грешник! — думал он.— За что увлекаешь ты в погибель сына? За то, что он так любит тебя? Прибавь еще это бремя на совесть! Виноват ли он, что ты преступник, что тебе грозит казнь за твое преступление! Тебе нужно бежать от русских, должно трепетать русского царя, а сын твой невинен перед ним. И ты хочешь лишить его навсегда родины, хочешь, чтобы он весь свой век скитался беглецом в земле вражеской!»

— Что ты, батюшка, задумался? — продолжал Василий.— Разве не слыхал, что я сказал тебе? Если думаешь, что через лес выбраться на дорогу невозможно, то решимся здесь перебежать речку вброд. Может быть, часовой и промахнется. Я пойду первый. Решайся скорее!

Илья Сергеевич встал, посмотрел с чувством на сына, вздохнул и сказал:

— Пойдем лучше к начальнику этого караула. Может быть, я упрошу его пропустить нас.

— Не пропустит, батюшка! Это невозможно.

— Попробуем.

Сказав это, Илья Сергеевич перекрестился. На мрачном лице его явилось какое-то спокойствие, какая-то решимость. Они подошли к часовому.

— А скажи, служивый, где начальник здешнего караула? — спросил Илья Сергеевич.

— На что тебе его?

— Нужно с ним переговорить.

— А вот он близко отсюда, в лесу, вон в том шалаше. Видишь ли?

— Вижу. Пойдем, Василий.

Илья Сергеевич с сыном приблизился к шалашу в то самое время, когда офицер выходил оттуда.

— Возьмите меня под стражу, господин офицер! — сказал старик твердым голосом.— Я преступник!

— Батюшка! Что ты делаешь? — вскрикнул с ужасом Василий.

— Да, господин офицер! Я преступник! Возьмите меня. А ты, сын, возвратись в наше жилище, живи счастливо под властию царя русского, вступи к нему в службу, служи ему верой и правдой, чтобы загладить преступление отца твоего. Иди, сын! Благословляю тебя! Оставь отца твоего на волю Божию, не сокрушай себя обо мне.

— Что ты сделал, батюшка! — воскликнул горестно Василий, ломая руки.

— В чем твое преступление и кто ты такой? — спросил удивленный офицер.

— Все скажу на допросе. Прикажите отправить меня куда надобно.

— Я должен буду взять вас обоих под караул и послать рапорт к начальству,— сказал офицер.

— За что обоих? Сын мой ни в чем не виноват.

— Нет, господин офицер, возьмите нас обоих! — воскликнул Василий.— Не разлучайте отца с сыном.

По приказанию офицера солдаты взяли их под стражу.

VIII

Май был на исходе. Прошли недели две после военного совета, который собирался на Веселом острове, и все деревья, все кустарники, которые покрывали его, исчезли. Вместо них на этом острове росли не по дням, а по часам земляные валы, являлись зубчатые бревенчатые частоколы, строилась деревянная церковь во имя апостолов Петра и Павла, готовились магазины для пороха, избы для солдат. На берегу соседственного большого острова (нынешней Петербургской стороны) лес также был вырублен. На этом берегу, неподалеку от воздвигаемой крепости, строился маленький голландский домик, первый домик будущего города. Бомбардир-

ский капитан и поручик Меншиков, с топорами в руках, распоряжались рабочими и сами работали с ними вместе. Другие молодые члены военного совета хлопотали на валах крепости кто с лопатой в руке, кто с тачкой, кто с каким-нибудь другим простонародным орудием. Одушевленные примером, солдаты делали чудеса. Новая крепость быстро являлась из небытия, как бы силою волшебства. Возникал Санкт-Петербург!..

Голландский домик, о котором сказано выше, совсем отстроили к концу мая. Бомбардирский капитан поселился в нем. И теперь еще на берегу Невы цел этот домик, этот крошечный дворец величайшего из государей. Двадцать девятого мая объявили солдатам, что на другой день назначается отдых и что надобно им всем собраться в парадной форме на площадь, которая вместо прежнего леса явилась около домика.

— Да-да! — говорил Карл Карлович Густаву и Христине, сидя в своих деревянных креслах.— Против силы делать нечего. Русские завоевали всю эту сторону. Пришлось, видно, нам, шведам, им покориться.

— Для чего покориться? — сказал Густав.— Некоторые из здешних рыбаков мне сказывали, что Меншиков, шлиссельбургский губернатор, приказал всем здешним жителям объявить указ царя, что они могут здесь жить спокойно, по-прежнему, и что никому никакой обиды сделано не будет.

— Слава Богу! — сказала Христина.— Я все еще не перестаю, однако ж, бояться русских.

— Ведь тебе говорил подполковник Карпов,— проворчал Карл Карлович,— что нам бояться русских не должно, и я тебе несколько раз повторял, что вообще бояться кого бы то ни было природной шведке неприлично и даже, можно сказать, непристойно.

— Да, батюшка! Непристойно! Я девушка, так если и трушу иногда, то это простительно. Илья Сергеевич мужчина, да испугался русских и ушел отсюда Бог знает куда.

— У Ильи Сергеевича были на то свои причины,— возразил горячо Карл Карлович,— и мне крайне неприятно, что ты говоришь с таким неуважением о моем отсутствующем друге, которого я до могилы буду любить и почитать, которого я всегда буду помнить, без которого я так скучаю, что истинно не знаю, куда деваться от скуки, и даже, можно сказать, без которого готов повеситься от тоски.

— Мне самой очень жаль Ильи Сергеевича.

— Где-то они теперь? — сказал Густав со вздохом.— Мне досадно, что не удалось и проститься с ними. Мы хоть и спорили иногда с Васильем, но я его очень любил и люблю.

— Ах, силы небесные, как мне скучно! — сказал Карл Карлович, встав с кресел.— Как подумаю, что я уж никогда с моим другом не увижусь, то чувствую в сердце страшную тоску и даже, можно сказать, необыкновенную печаль.

Старик начал качать головой с видом глубокого уныния. Густаву и Христине стало жаль его.

— А не хотите ли, батюшка,— сказал Густав,— поехать с нами в лодке и взглянуть, что делается на Льюстэйланде. Вы еще не видали новой русской крепости, которую там строят. Она словно гриб выросла. Вы удивитесь.

— Ну что мне гриб! — проворчал старик.— Будто я не видал грибов на своем веку.

— Я не о грибах говорю, а об новой крепости. Близ нее, на площади, слышал я, будет сегодня какое-то торжество,— продолжал Густав.

— Ну что мне торжество! И какое такое торжество? Разве сегодня праздник? Сегодня тридцатое мая, день простой, не праздничный по календарю.

— На площади, сказывали мне, будет что-то особенное.

— На какой площади? — воскликнул Карл Карлович.— Площади есть у нас в Стокгольме, а в здешних местах их нет. Ты, я вижу, говоришь вздор и даже, можно сказать, пустяки.

— Нет, не пустяки, батюшка. На берегу Ниена устроена площадь, и на ней уже есть несколько домиков. Некоторые готовы уже, кажется, а другие еще строятся.

— Ты, я вижу, хочешь меня выманить из дома на прогулку и для того выдумываешь какие-то басни, чудеса, глупости! Ведь я не ребенок! Я тебе не поверю и даже скажу, что над старым отцом смеяться неприлично.

— Поедете с нами, так сами увидите, смеюсь ли я над вами.

— Поедем! Хорошо! Поедем! Я увижу, что ты лжешь и что ты хотел только выманить меня на прогулку. Поедем!

Все трое сели в лодку. Когда они выехали на Большую Неву и пристали к берегу, где расчищена была площадь, то Карл Карлович начал от изумления протирать глаза и сильно жевать.

— Ну что, батюшка, лжец я или нет?

Карл Карлович молчал и глядел на все с прежним изумлением. Они вышли на берег. На нем в некоторых местах толпились или выглядывали, точно совы из лесу, финны и шведы, собравшиеся из Ниеншанца, из Калинкиной деревни и из рассеянных по островам невского устья рыбачьих хижин. На площади стояли в строю преображенские и семеновские солдаты, участвовавшие седьмого мая во взятии двух шведских кораблей. На валах строящейся крепости развевались флаги и знамена и стояли пушки.

— Что будет здесь такое? — спросил Густав одного шведа.

— Русский царь торжествует свою первую морскую победу.

Из голландского домика бомбардирского капитана вышел в это время генерал-фельдмаршал граф Шереметев, за ним генерал-адмирал граф Головин, потом сам бомбардирский капитан, поручик Меншиков и все члены военного совета, который был собран на Веселом острове.

Барабаны загремели. Раздалась команда офицеров, и блестящий частокол ружей, поднятых на плечо, сверкнул над шляпами солдат.

Генерал-фельдмаршал со всеми прочими встал против средины строя на устроенных подмостках и сказал громким голосом:

— Его царское величество (Шереметев проговорил весь титул),— приказал вам, храбрые солдаты, сказать свое милостивое слово и благодарить за первую морскую викторию, одержанную над свейскими кораблями. Я же, генерал-фельдмаршал, по данной мне власти, с моим советом, решил достойнейших из бывших в бое наградить знаками царской милости, дабы все прочие то же заслужить тщились. Господин капитан бомбардирской компании Преображенского полка жалуется кавалером ордена Святого Андрея Первозванного.

Петр Великий из толпы генералов выступил вперед. Первый кавалер Андреевского ордена, учрежденного 8 марта 1699 года, генерал-адмирал граф Головин возложил знаки на бомбардирского капитана. Он покло-

нился генерал-фельдмаршалу, потом генерал-адмиралу и, наконец, народу, на все четыре стороны. В тот же миг раздалась музыка, барабанный бой и загремела пальба из ружей. С недостроенной крепости послышались первые, до того неслыханные на Веселом острове, пушечные выстрелы.

С тою же церемониею возложен был Андреевский орден и на бомбардирского поручика Меншикова. На прочих генералов и офицеров, участвовавших в морской битве, в том числе и на подполковника Карпова, возложены были золотые медали на золотых цепях. Солдатам были розданы золотые же медали меньшего размера, без цепей.

Потом полки прошли мимо генерал-фельдмаршала церемониальным маршем, а после того началось на площади угощение солдат. Пир длился до поздней ночи и исполнен был такого веселья, какое могут чувствовать одни победители непобедимых дотоле врагов.

Карл Карлович с детьми долго пробыл на площади и поздно воротился домой. Он очень был доволен виденным им зрелищем. На другой день от вчерашней усталости и от сильных впечатлений он необыкновенно был скучен и так растосковался о своем друге Илье Сергеевиче, что Густав и Христина не знали, что с ним и делать. Он навел и на них тоску.

Вдруг распахнулась дверь его хижины. Вбегает с радостным, восторженным лицом Василий, за ним входит Илья Сергеевич.

Карл Карлович, несмотря на свою дряхлость, вскочил, словно молодой, с своих кресел, повис на шее друга и заплакал, как ребенок. Густав от удовольствия, от радости захлопал в ладоши. Христина в восторге прыгала. На расспросы их Илья Сергеевич рассказал, как он сам объявил русскому офицеру о своем преступлении и как они потом отправлены были с сыном к шлиссельбургскому губернатору Меншикову. Тот узнал Василья, вспомнил услуги, оказанные им при снятии островов невского устья на план, вспомнил его храбрость, когда он дрался волонтером при взятии шведских судов. Расспросив подробно Илью Сергеевича об его преступлении, он составил о деле его доклад, с жаром выставил в нем раскаяние Ильи Сергеевича и заслуги Василья. Илья Сергеевич и сын его содержались в Ниеншанце под стражей. Меншиков тридцатого мая, в день торжества первой морской победы, представил

свой доклад бомбардирскому капитану, который написал на нем, против имени Ильи Сергеевича: «В грехах юности и неведения искренно кающихся грешников Бог милует и царь прощает. Петр». А против имени Василья царь отметил: «За почтение к родителям Бог благословляет детей долголетием. За усердие и храбрость, в первой морской виктории оказанные, царь жалует золотую медаль».

Не беремся описать восторг Ильи Сергеевича и Василья, с каким они рассказывали о чувствах, наполнивших сердца их, когда Меншиков объявил им царское решение. Тронутый до глубины души, Карл Карлович сказал дрожащим от сильного волнения голосом:

— Великий, беспримерный, добрый государь и даже, можно сказать...— Карл Карлович в первый раз в жизни после своего «можно сказать» стал в тупик и не нашел довольно сильного слова.

А где же любовь в этом рассказе? — спросят нас теперь читательницы. Никто не любил, не страдал, не блаженствовал от любви, никто не погиб от нее, никто и не женился. Где же любовь? Где герой и героиня? Да ведь мы рассказали вам быль, прекрасные наши читательницы, так где же нам было взять любви, когда ее в были нашей не попалось под руку. Впрочем, можем несколько исправить этот недостаток нашего рассказа, доведя до сведения прекрасных читательниц, что через год после основания Петербурга подполковник Карпов сделался героем, а Христина — героиней, что они очень друг другу полюбились и наконец обвенчались. Карпову, по просьбе его, пожаловал царь участок земли подле хижины Карла Карловича. Он построил там домик и жил в нем очень долго с молодою женой припеваючи. От этого жителя безымянная речка впоследствии получила название Карповки.

Что сделалось с Ильей Сергеевичем, Карлом Карловичем, Василием и Густавом, мы сказать вам не можем. Вероятно, они давно уже умерли. Бумажные нимфы, вызванные из шкафа вместо дриад из десяти древних лип, ничего не говорят: женился ли Василий и влюбился ли в кого-нибудь Густав. К старинной были мы ничего выдуманного прибавлять не хотим.

1848

П. Р. Фурман

СААРДАМСКИЙ ПЛОТНИК

ГЛАВА I

НЕЗНАКОМЕЦ

То, о чем я намерен рассказать вам, друзья мои, происходило в Голландии в 1697 году в небольшом городке Саардаме, замечательном по своим корабельным верфям и имеющем для нас, русских, особый интерес.

Рассветало. Солнце, вынырнув, так сказать, из моря, величественно поднималось над горизонтом. Легкий утренний туман скользил еще по гладкой поверхности моря, широкие волны которого ровно набегали на берег и оставляли между каменьями желтоватую пену. Рыбачьи лодки с маленькими белыми парусами пересекали по всем направлениям зеленоватые струи, в которых отражалось уже утреннее солнце сквозь более и более редевший туман. Вдали, на горизонте, виднелись огромные корабли с распущенными парусами и издали походили на морских птиц, летающих над водою и поджидающих неосторожную рыбу. Берег начал оживляться.

Над островерхими кровлями Саардама поднимались в воздухе столбы серого дыма; по временам на порог дома выходил работник и, потягиваясь, зевая, смотрел на небо, на воду, на землю, почесывался и опять возвращался в дом. В верфях лежали, подобно морским чудовищам, корабли, более или менее оконченные; тут представлялся взору скелет корабля, не обшитый еще досками, далее черная масса полуоконченного, смоленого судна; наконец, красивые формы шхуны, украшиваемой живописью. Но ни одного живого существа не было еще видно на верфи. Зато ветряные мельницы подражали деятельности рыбаков и как бы приветствовали их своими неутомимыми крыльями.

К одной из мельниц приближались двое детей: мальчик лет двенадцати и девочка лет четырнадцати. Робко

отворили они дверь и стали подниматься вверх по узкой деревянной лестнице, выбеленной мукою. Едва ступени заскрипели под ногами их, как сверху послышался грубый голос, вскричавший:

— Кто там?

— Это мы,— робко отвечал мальчик.

— Кто вы? Отвечай толком.

— Дети Гаардена.

— Опять вы! Что вы, с голоду умираете, что ли? — сердито вскричал мельник, показавшись на мельнице.— Вчера вы три раза приходили, а сегодня чуть свет опять здесь.

Девочка опустила голову и в смущенье стала щипать конец своего передника. Мальчик же устремил свои светлые, голубые глаза на белый колпак сердитого мельника и отвечал:

— Простите нам, мейстер Фоэрбук, мы сами жали и сами молотили эту рожь, а потому нам хочется поскорее покушать собственного хлеба. Папенька говорит, что заработанный хлеб вкуснее.

— Твой отец — умный человек,— возразил мельник, смягчившись.— Ну, потерпите немножко: через четверть часа ваша мука будет готова.

С этими словами он позвонил, но никто ему не отвечал. Сердито топнув ногою, Фоэрбук наклонился, открыл люк в полу и закричал вниз:

— Эй, Польдерс, лентяй! Спишь ты, что ли, что не слышишь звонка? Подсыпь зерен живее, а не то я тебя самого посажу между жерновами.

Работник поспешно исполнил приказание хозяина, подсыпал зерен ненасытным жерновам, потом, просунув голову в отверстие люка, сказал, глупо усмехаясь:

— Хозяин, а хозяин!

— Что тебе?

— Посмотри, хозяин, в окно.

— Зачем?

— Посмотри только,— сказал работник и глупо засмеялся.— Там стоит какой-то человек и зевает на мельничные крылья, точно будто бы никогда не видал их. А платье-то на нем, платье! Не то что старое, а смешное! Широкие панталоны со складками, куртка со светлыми пуговицами, а шапка... шапка такая, какую я и в жизнь не видывал! Посмотри, хозяин, посмотри!

Мельник, радуясь случаю позевать, так поспешно просунул голову в маленькое окно, что чуть не уронил

свой колпак. Из окна мельницы представлялся приятный, привлекательный вид. Склон небольшой возвышенности, начинавшейся непосредственно за Саардамом, был покрыт множеством мельниц, крылья которых кружились быстрее и быстрее по мере того, как ветер разыгрывался. Вдали простиралась синяя полоса моря, берега которого начинали оживляться. При звуках колоколов со всех сторон сходились корабельные плотники. Но мельник не обратил внимания на вид: он уже привык к нему, а по странному устройству нашей натуры все то, к чему мы привыкаем, теряет для нас свою прелесть. Зато мейстер Фоэрбук с особенным любопытством вытаращил глаза на незнакомца, внимательно смотревшего на вертевшиеся крылья.

— Польдерс,— сказал мельник своему работнику,— это, должно быть, иностранец?

— Кажется.

— Это, может быть, китаец?

— Разве есть настоящие китайцы?

— Разумеется, дурачина!

— А я думал, что китайцы бывают только фарфоровые,— сказал Польдерс.

— Я заговорю с ним,— сказал мельник.

— Разве ты знаешь по-китайски? — спросил Польдерс.

— Нет, но он, может быть, знает по-голландски,— отвечал хозяин.

— Ну, попробуй.

И Польдерс просунул голову в другое окно, одним этажом ниже хозяина.

Детям также очень захотелось посмотреть, но других отверстий не было в стене.

Незнакомец, увидав две забавные головы в белых колпаках, высунувшиеся из окон, невольно улыбнулся.

— Польдерс! — сказал хозяин сверху,— он улыбнулся.

— Да-да; но поговори же с ним,— отвечал работник снизу.

Фоэрбук кашлянул, поднес руку к колпаку и сказал:

— Здорово, приятель!

Незнакомец кивнул головою.

— Откуда ты, любезнейший? — продолжал мельник.

Незнакомец не отвечал и опять обратил внимание на устройство мельницы.

— Ого! Да он важничает! — произнес мельник,—

Эй, дружище! Не подходи близко; ты слишком высоко поднял нос, как раз крылья отшибут.

Незнакомец не обратил внимания на грубую выходку мельника и спросил его отрывисто:

— Что стоит твоя мельница?

Лицо мельника вытянулось.

— Польдерс,— сказал он,— это, никак, покупатель. Я давно уже собираюсь сбыть свою мельницу. Разве ты хочешь купить ее? — спросил он, обратившись опять к незнакомцу.

— Я спрашиваю, что она стоит.

— Так зайдите, минхер, да посмотрите; после я объявлю цену.

Незнакомец немедленно взбежал по деревянной лестнице.

Тогда дети увидели стройного молодого человека прекрасной наружности. По топору, бывшему у него под мышкой, и по треугольнику, висевшему на плече, в нем можно было узнать плотника. Не обращая внимания на приветствия и расспросы хозяина, он стал рассматривать внутреннее устройство мельницы. Ни одно колесо, ни одно бревно не было оставлено им без внимания. Все ответы хозяина на отрывистые вопросы его записывал он в маленькую книжечку.

Наконец, осмотрев все подробности, он спросил опять:

— Дорого ли обходится постройка такой мельницы?

— Дорого ли? — повторил мельник.

— Да-да.

— Правду сказать?

— Разумеется.

— Ну, дружище, ты, кажись, малый добрый,— сказал мельник,— возьми же ее за 320 гульденов, да и дело с концом! По рукам, что ли?

— Нет,— возразил незнакомец,— я не думал покупать твоей мельницы.

— Как не думал? — и лицо Фоэрбука опять вытянулось.— Что же ты спрашивал о цене?

— Я хотел только знать, во сколько может обойтись постройка.

— Вот что! — и мельник презрительно отвернулся.— Больно любопытен, приятель!

В это время работник принес мешок муки.

— Вот вам, дети, ваша мука, тащите ее с Богом.

— Скажи мне, пожалуйста,— спросил незнако-

мец,— где здесь живет лучший корабельный мастер?

— Который? — спросил мельник.— У нас много лучших.

— Блундвик.

Дети спускались в это время вниз по лестнице.

— Постойте! — закричал мельник им вслед.— Эй, дети! Покажите этому молодцу дорогу к дому Блундвика.

— Спасибо,— сказал незнакомец, уходя.

Любопытство Фоэрбука не было еще удовлетворено, а потому он пошел за незнакомцем и спросил его:

— Ты, верно, хочешь просить работы у Блундвика?

— Да,— отвечал незнакомец отрывисто.

— Ты, верно, издалека? — продолжал любопытный.

— Да.

— Уж не из Швеции ли?

— Нет.

— А! Так, верно, из Польши?

— Нет.

— Откуда же у тебя такое странное платье?

— Мне так нравится.

— Гм! Скажи мне...

— Прощай! — и незнакомец, ускорив шаги, последовал за детьми.

— Да, нет, да, нет,— ворчал раздосадованный Фоэрбук.— Сам небось все выспросил да выведал, а потом онемел, словно рыба! Приди же ты в другой раз!

ГЛАВА II
МЕЙСТЕР БЛУНДВИК

Несмотря на тяжесть мешка, дети почти бегом спешили домой. Они мечтали уже о том, как маменька испечет им из муки хлеб и с каким аппетитом они будут есть его. Наконец, выбившись из сил, мальчик опустил мешок на скамью, стоявшую перед ближайшим домом, чтобы отдохнуть.

— Дай мне мешок,— сказала девочка,— теперь моя очередь нести.

— Нет, я сам донесу,— отвечал мальчик, запыхавшись.

Но в это самое время незнакомец сильною рукою схватил мешок и без малейшего усилия взбросил его себе на плечи.

— Вы замараетесь мукой,— сказал мальчик, который, может быть, боялся, чтобы незнакомец не ушел с мешком.— Вы замараетесь; оставьте, я сам снесу.

— Ничего, ничего, услуга за услугу: вы покажите мне, где живет корабельный мастер, а я донесу вам мешок; ну, вперед!

Дети пошли вперед, но мальчик не переставал искоса посматривать на мешок.

— Чьи вы дети? — спросил незнакомец, пройдя несколько шагов.

— Корабельного плотника Гаардена,— отвечал мальчик.— Он тоже работает у Блундвика.

— А тебя как зовут?

— Фридрихом.

— А сестру твою?

— Анной,— отвечала девочка.

— Ну, Бог даст, мы будем знакомы,— сказал незнакомец, погладив их по головке.

В это время они подошли к красивому домику из ярко-красного кирпича и с зелеными ставнями.

— Вот здесь живет мейстер Блундвик,— сказал Фридрих.

— А вы где живете? — спросил незнакомец.

Мальчик указал ему другой, простенький домик; незнакомец донес туда мешок, простился с детьми и потом вернулся к дому с зелеными ставнями. Минхер Блундвик, высокопочтенный корабельный мастер, объемистый, как сороковая бочка, сидел в своей рабочей комнате за столом, на котором лежали рисунки, чертежи, сметы и счеты.

По правую сторону, на особенно устроенной полке, стояла в симметрическом порядке полудюжина предлинных, но тоненьких трубок; возле них зажженная свеча в чистом серебряном подсвечнике и в глиняной кружке множество узеньких бумажек, фидибугов, для зажигания трубок. По левую сторону на столе находилась низенькая, почти круглая бутылка со светлым вином, стакан, вполовину опорожненный, селедка, приправленная луком, голландский сыр и белый хлеб. На невысокой скамеечке возле стула, на котором сидел хозяин, стояла фарфоровая чашка с ручками, служащая у голландцев плевательницей.

Несмотря на непозволительный объем своего живота, минхер Блундвик недаром заслужил звание искуснейшего корабельного мастера; он был чрезвычайно

деятелен. Даже теперь, как вы видите, он исполнял три дела вдруг: занимался, завтракал и курил; не говоря уже о том, что он еще беспрестанно плевал.

Молодой незнакомец вошел в комнату и осмотрелся.

Толстый хозяин исчезал в густом, непроницаемом облаке дыма; но наконец молодой человек увидел его, подошел поближе и, не снимая шапки, кивнул головою. Блундвик с изумлением вытаращил свои маленькие глаза, потом, вынув на секунду трубку изо рта, произнес с голландским хладнокровием:

— Шапку долой!

Незнакомец повиновался, и черные кудри его рассыпались по плечам.

— Что тебе? — спросил Блундвик отрывисто.

— Работы,— так же отрывисто отвечал молодой человек.

— Откуда?

— Из Амстердама.

— Паспорт.

Незнакомец вынул бумагу и подал мастеру.

— Петр Михайлов,— прочитал Блундвик не без труда,— от роду 26 лет. Ага, москвитянин?

— Русский.

— Каждая селедка рыба, но не каждая рыба селедка,— отвечал Блундвик.— Так ты просишь работы?

— Да.

— Изволь, почтеннейший! — и, взглянув на одну из бумаг, лежавших перед ним, мастер продолжал: — Завтра можешь начать на верфи под номером третьим. Жалованье назначу, когда увижу твою работу.

— Я за большим жалованьем не гонюсь; я хочу учиться,— с живостью возразил молодой человек.

— Неглупо, очень неглупо.

— А потому прошу тебя, мейстер, приставить меня к такой верфи, где ты начнешь строить новый корабль.

У Блундвика чуть не выпала трубка из рук от изумления.

— Что-о-о? —произнес он протяжно.— Тебя? Ты! Откуда такая фамильярность, приятель?

— У нас такой обычай.

— Мало ли что у вас! У нас же, почтеннейший, говорят хозяину «вы», слышишь! Ну да ладно, я на такие безделицы не сержусь. Ступай с Богом! Завтра мы примемся за киль шестидесятипушечного корабля. На нем ты наработаешься вволю!

— Спасибо, хозяин!— вскричал обрадованный Михайлов.— Позволь мне спросить тебя еще об одном.

— Спрашивай.

— Дорого ли обойдется новый корабль?

Блундвик захохотал.

— Много знать будешь, скоро состареешься,— отвечал он.— Твое дело не цена, а работа.

— Но я бы желал знать...

— Изволь, изволь! Возьми столько, приложи еще немножко да помножь на восемь, так все еще не будет доставать гульдена.

И весьма довольный шуткой, минхер Блундвик опять засмеялся и движением руки показал молодому человеку, что он может идти.

ГЛАВА III

ЗАЛОЖЕНИЕ КОРАБЛЯ

На башенных часах в Саардаме пробило три четверти пятого. На верфях колокола сзывали на работу, и со всех сторон стекались мастеровые и подмастерья. Иные отправлялись на разные верфи, другие сходились на открытую, довольно обширную площадку, посреди которой лежало огромное бревно.

В числе работников был и Михайлов, на которого новые товарищи смотрели с некоторым изумлением.

Но вот пробило пять часов, и вдали показался тучный Блундвик. На широком плече его покоился красивый топор, древко которого было украшено серебром; круглый живот был обтянут новым кожаным передником; он был одет по-праздничному, потому что заложение корабля всегда происходит с некоторым торжеством и церемониями.

При появлении его все плотники сняли шапки и произнесли в один голос:

— Доброе утро, мейстер!

Блундвик с важностью кивнул головою во все стороны и, подойдя к бревну, занял почетное место.

Тогда один из подмастерьев, высокий, худощавый и рыжий голландец, вышел из толпы и встал на бревно. Это был *краснобай*, на котором лежала обязанность говорить речь при заложении кораблей.

Рыжий голландец откашлянулся и, размахивая топором, стал говорить:

Братья и товарищи! хочу я вам сказать,
Что каждому из нас надлежит ведать да знать.
Выстроить дом нужно много затей,
Но выстроить корабль того еще трудней.
В доме человек родится и умирает,
А на корабле, словно птица, весь свет облетает.
Дом стоит на земле,
Корабль плывет по воде.
В корабль же — пробьется вода.
В воде же одни рыбы живут,
А люди мрут.
Когда над грозными волнами,
Над разъяренными водами,
Гонимый страшными ветрами,
Летит под всеми парусами
Корабль, нами сотворенный,
Верный, крепкий, неизменный,
Бережет множество людей,
Отцов, братьев и детей.
Опасность очень велика,
Но храброго моряка
Бережет Бог да наше судно!
Это справедливо, хоть и чудно.
Итак, на этом месте
Помолимся мы вместе,
Чтобы Господь наш труд благословил
И будущих обитателей его хранил.

С этими словами подмастерье снял шапку, все последовали его примеру, и, опустив голову, оратор стал говорить громким голосом молитву из молитв:

— Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь; и прости нам долги наши, яко же и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Твое бо есть царствование, и сила, и слава, во веки веков. Аминь.

— Аминь! — повторили все в один голос.

Оратор продолжал:

Теперь, братцы, еще одно слово.
Оно необходимо, хоть и не ново.
Да процветает наше милое отечество!

— Виват! — закричали все плотники.

— Да здравствует магистрат и все купечество!

— Виват!

Песня еще не вся пропета:
Нашему мейстеру многие лета!

— Виват! Виват!

А теперь каждый товарищ и брат
Да закричит другому: виват!

— Виват! Виват! Виват!

Последнее «виват» было громче и продолжительнее прежних, потому что каждый кричал для себя.

Вы знаете, что конец
Всему делу венец.
А коли я не умел договорить,
Так прошу меня извинить.

— Виват Видеманну! Виват! — закричали плотники.— Славную речь сказал! Виват!

Оратор Видеманн сошел с бревна и, когда крики унялись, сказал:

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, посвятим это бревно тремя ударами на заложение нового киля шестидесятипушечному кораблю. Минхер Блундвик, вам, как хозяину, принадлежит первый удар.

Мастер приблизился, снял шапку и, с усилием подняв свой красивый топор, сделал первую зарубку на бревне, но зарубка эта была едва заметна.

— Теперь моя очередь, как главного смотрителя за работами,— сказал оратор и, сняв шапку, сделал вторую зарубку.— Гаарден! — продолжал он.— Теперь тебе, старшему плотнику.

Гаарден хотел уже выступить, но кто-то схватил его сзади за руку. То был новичок, русский плотник.

— Товарищ,— произнес он умоляющим голосом,— уступи мне!

— Тебе? — угрюмо возразил старый плотник.— Молод больно! Заслужи сперва!

— Я уступлю тебе первый месяц своего жалованья,— продолжал молодой человек умоляющим голосом.

— Пошел! — сердито отвечал Гаарден и пошел к бревну.

Михайлов невольно последовал за ним.

Толстый Блундвик слышал просьбу молодого человека и, будучи в веселом расположении духа, хотел услужить ему.

— Пусти его! — сказал он старому плотнику.— Раз можно сделать исключение и пустить младшего вместо старшего.

— Ни за что не пущу! — вскричал Гаарден.

— Гаарден! — строго произнес мастер.— Я приказываю тебе, я, хозяин этой верфи!

Гаарден отступил, бросив грозный взгляд на молодого человека. На лице Михайлова выразилась радость, он бросил шапку наземь, засучил рукава и твердыми шагами подошел к бревну.

— Да узрит моя отчизна этот новый корабль на своих морях! — произнес он вполголоса по-русски.— И да будет ему прозвание «Царь Петр»! Господи, благослови!

Михайлов перекрестился, замахнулся и нанес такой удар, что чуть не перерубил бревно пополам, щепки так и брызнули во все стороны. Михайлов взял одну из них и спрятал ее в карман. Потом он поднял голову и выпрямился. Все с особенным удовольствием глядели на статного, прекрасного молодого человека, в черных, огненных глазах которого блистали ум и благородная гордость.

Сам Блундвик чуть не снял шапки, взглянув на величественную наружность своего младшего работника.

— Братцы! — сказал последний.— Сегодня вечером я угощаю вас всех. Принимаете приглашение?

— Принимаем! Принимаем! — отвечали все плотники, исключая Гаардена, который не мог простить Михайлову, что он лишил его принадлежащей ему чести.

— Странный парень! Настоящий москвич! — сказал Блундвик, у которого от смеха трясся живот.— Правду говорят, что русские тароваты; это, вероятно, какой-нибудь маменькин сынок, которому из дому посылают денежки.

— Видели ли,— спросил Видеманн,— как он топором владеет? Я думал, что он испортит бревно.

— Да-да, силач!

— А заметили ли вы, как он спрятал одну щепку в карман? Видно, хочет послать маменьке свою работу.

Блундвик продолжал смеяться, но, вспомнив, что не завтракал еще, сделался весьма серьезным, пожелал счастливого начинания плотникам и ушел домой. Михайлов с прочими работниками приступил к работе.

ГЛАВА IV
ПЕРВОЕ ЖАЛОВАНЬЕ

Прошла неделя.

Однажды вечером дети Гаардена вернулись домой с двумя корзинами, доверху набитыми щепками.

— Как вы сегодня много набрали! — сказала им мать.— Да и какие славные щепки!

— Да,— ответил Фриц.— Мы были у русского. Он так рубит, что успевай только подбирать. Мы к другим и не ходим; он такой добрый, ласковый! Он очень удивился, когда мы ему сказали, что должны платить за каждую корзину щепок. У нас, говорит он, столько лесу, что щепки годятся только на растопку, и бери их даром сколько хочешь.

— А какой он ловкий, маменька! — продолжала Анна.— Якову попала щепка в глаз, и он стал кричать от боли. Услышав крик, русский бросил работу и подбежал к Якову. Увидав, в чем дело, он вынул из кармана какие-то стальные щипцы и вытащил щепку; потом посоветовал еще Якову приложить к глазу хлеб, смоченный в молоке.

Мать с изумлением покачала головой.

— У него всегда в кармане маленькая плоская коробочка со щипчиками, ножницами и ножами, точно у доктора,— сказал Фриц.

— И как все любят его! — прибавила Анна.

— Да, все,— печально сказал Фриц,— все, кроме папеньки.

— Он сердится на русского за то,— сказала со вздохом мать,— что тот перебил у него...

Она не успела договорить, потому что в это самое время в отворенном окне показалась голова красивого молодого человека лет восемнадцати.

— Папенька не вернулся еще с верфи? — спросил он.

— Вильгельм, Вильгельм! — вскричали дети. Мать с беспокойством осмотрелась.

— Ступай сюда, Вильгельм! — сказала она.— Ступай сюда! Отца твоего нет еще дома.

Минуту спустя молодой человек вошел в комнату. Он поздоровался со всеми, потом спросил печальным голосом:

— Что, папенька все еще сердит на меня?

— Ах, Боже мой! — отвечала мать.— Ты ведь знаешь железную волю твоего отца. Только ты один не уступил ей!

— Я не могу, маменька, не могу!

— Подумай, Вильгельм!

— Я думал, маменька, думал долго и много и убедился совершенно, что с моей стороны это не одна при-

хоть, не одно упрямство, но истинное, глубокое призвание, которого я победить не могу.

В это время послышался громкий голос за дверьми.

— Папенька! — вскричали дети с испугом.

— Уйди, уйди! — сказала мать, испуганная не менее детей, потому что старый Гаарден был очень строг.

Вильгельм осмотрелся: уйти не было никакой возможности, а потому он, не теряя напрасно времени, подлез под высокую кровать, длинные занавесы которой доходили до полу. Едва он успел спрятаться, как в комнату вошел отец. Сложив топор, пилу и другие орудия, Гаарден сел на скамью.

— Марта! — сказал он жене.— Дай мне скорее рюмку водки.

Пока жена наливала водку, взор старого плотника упал на корзину со щепками.

— Ого! — сказал он, наклонившись, и взял одну щепку.— Сейчас видно, что топор, рубивший эти щепки, был в искусной, сильной руке. Где вы их набрали?— спросил он, обратившись к детям.

— Возле русского, папенька,— отвечал Фриц.

Гаарден насупил брови.

— Этот выскочка обидел меня,— сказал он, выпив рюмку водки,— несмотря на то, я первый готов отдать ему должную справедливость. Славный работник! Встает с рассветом, ложится спать последний, неутомим, понятлив, воздержан; словом, таких работников мало! Он нанял себе маленький домишко у мастера, сам готовит себе кушанье, сам убирает себе квартирку и не принимает никогда участия в пирушках наших гуляк. Да, часто, смотря на благородное, открытое лицо молодого человека, работающего так усердно, что с него градом льет пот, я вздыхаю и сожалею о том, что Бог не дал мне такого сына вместо моего негодяя Вильгельма!

— Напрасно ты бранишь бедного Вильгельма, любезный муж,— возразила жена.— Что делать, если...

— Молчи! — вскричал Гаарден.— Первый долг сына есть беспрекословное повиновение воле родителей.

— Но, друг мой, если он не чувствует ни малейшей охоты...

— Вздор! Я ему желаю добра; он еще слишком молод и не понимает своей пользы; что за жизнь ведет моряк? Ему беспрестанно угрожает опасность; море ненасытно и ежегодно поглощает тысячи людей.

— Любезный муж,— возразила жена,— на все воля Всевышнего, и коли кому суждено умереть, так смерть отыщет его, где бы он ни был, на корабле ли, на верфи или в мягкой постели. Притом же, если б не было моряков, так не нужно было б строить и корабли.

— Пустяки! Я своего слова не переменю. Вильгельм будет плотником, или я его знать не хочу! Впрочем, я заболтался; сегодня суббота, надобно идти получать недельное жалованье. До свидания, жена.

В дверях Гаарден встретился с Михайловым и невольно нахмурился.

— Товарищ! — сказал молодой человек.— Я сейчас получил жалованье и принес тебе обещанное.

— Какое обещанное?

— Ты забыл, что я обещал отдать тебе свое жалованье за целый месяц. Вот за первую неделю.

С этими словами Михайлов положил деньги на стол.

— Не нужно мне твоих денег, я их не заслужил,— угрюмо отвечал Гаарден.

— А я никогда не изменял и не изменю своему слову. Ты должен взять деньги!

— Не возьму, говорят тебе! — с упрямством возразил старик.— Что ты пристал ко мне!

Глаза Михайлова засверкали; краска выступила на щеках его.

— Я приказываю тебе взять эти деньги! — вскричал он громким гневным голосом так, что Гаарден с невольным изумлением вытаращил на него глаза.

— Ты мне приказываешь? — повторил он.

Но вспыльчивый молодой человек успел уже оправиться и прийти в себя.

— Гаарден,— сказал он более спокойным голосом,— не стыдно ли тебе? Ты вдвое старее меня, а между тем упрямишься, как школьник; у тебя жена и дети, а ты не хочешь принять денег, которые я предлагаю тебе с таким удовольствием и радушием...

— Если я приму у тебя деньги, то скажут, что ты заплатил мне за оскорбление. Ты, вероятно, забыл, как обидел меня?

— Э, полно, Гаарден! Не ты ли сам, вместе с прочими, говорил при заложении корабля: «И прости нам долги наши, яко же и мы прощаем нашим должникам»? Неужели ты произносил эти слова бессознательно, или считаешь себя таким безгрешным, что не нуждаешься в прощении?

Все присутствующие были невольно поражены словами, голосом и выражением лица Михайлова. Старый плотник был до того пристыжен, что не смел взглянуть в лицо своему молодому товарищу; но после минутного молчания он протянул ему руку.

— Товарищ,— сказал он,— ты прав. Я сознаюсь, что ты обидел меня не по злобе, а по весьма понятному в твои лета честолюбию. Итак, дай мне руку и будем друзьями, но денег твоих я все-таки не возьму... Но извини, мне надобно идти за жалованьем.

— Пойдем, я провожу тебя,— сказал Михайлов.

— Да, но возьми сперва свои деньги.

— Экой упрямый! — сказал с досадой молодой человек, собрал деньги и спрятал их в карман.

— Вот так,— сказал Гаарден,— теперь мы можем остаться друзьями.

Оба вышли.

ГЛАВА V

ВИЛЬГЕЛЬМ

Когда не стало больше слышно шагов удалявшегося с Михайловым Гаардена, Вильгельм высунул голову из-под кровати.

— Маменька,— сказал он,— слышали вы, как русский назвал папеньку упрямым!

— Слышала.

— Значит, я прав.

— Вылезай скорее, Вильгельм,— сказала мать,— покушай чего-нибудь да потом уйди; отец твой сейчас вернется.

Вильгельм стал вылезать на четвереньках из-под кровати, как вдруг дверь отворилась, и в комнату поспешно вошел русский плотник. Увидав молодого человека, выползающего из-под кровати, Михайлов невольно остановился и спросил с изумлением:

— Это что значит?

Никто не заметил входа Михайлова, а потому все вскрикнули от испуга, а Вильгельм хотел было опять спрятаться, но не успел, стукнувшись головою о край кровати.

— Ах! Это вы, Михайлов! — вскрикнула Марта.— Как вы перепугали нас!

— Но что это значит? — повторил русский, указав на Вильгельма, который был еще вполовину под кроватью.

— Это наш старший сын.

— Зачем же он прячется?

— Ах, герр Михайлов! Если бы вы знали, как часто я горюю и плачу о том, что мой муж так упрям.

— Да-да! — сказал Михайлов.— Муж ваш честный человек, но ужасно упрям.

— Представьте же себе, герр Михайлов, что Гаарден непременно хочет, чтобы старший сын его был плотником, а Вильгельм не чувствует ни малейшей охоты к этому ремеслу. Не хочу хвалить Вильгельма в глаза, но могу сказать, что он добрый малый.

— Кем же он хочет быть?

— Моряком! — с жаром вскричал Вильгельм, поднявшись наконец на ноги.— Море — вот моя стихия, моя отчизна! Со слезами умолял я отца не противиться моему призванию, но он не хотел меня слушать.

— И вследствие этого,— продолжала Марта,— раздор вкрался в нашу смиренную хижину. Каждый почти день Гаарден бранил Вильгельма так, что последний решился наконец покинуть родительский дом и, против воли отца, поступил на службу к одному из наших моряков. С тех пор отец знать его не хочет и даже нам запретил видеться с ним. Вот почему Вильгельм, услышав давеча голос отца и страшась гнева его, спрятался под кровать.

Михайлов серьезно смотрел в открытое, умное и смелое лицо молодого человека.

— Знаешь ли ты,— сказал он наконец строго,— что повиновение родителям есть первый священнейший долг детей?

— Знаю,—отвечал Вильгельм, смутившись и стараясь удержать слезы, выступившие на глазах его.— Знаю. Я долго молился и просил Господа, чтобы Он даровал мне силу исполнить волю моего отца... Потом я принимался за топор и работал прилежно, ревностно на верфи; но один случайный взгляд на море, на весело скользившие на нем суда внезапно разрушал все мои намерения, обращал мою решимость в ничто! Как полусонный, глядел я тогда на работу, лениво действовал топором или портил порученную мне работу. Что-то непреодолимое, необъяснимое влечет меня к морю, и не должен ли я думать после этого, что Господь Сам указывает мне путь, по которому мне должно идти?

Молодой человек замолчал и печально опустил голову на грудь.

Пока он говорил, Михайлов смотрел на него с участием, но, как бы желая скрыть это участие, он возразил прежним строгим голосом:

— Но разве ты не знаешь, что Господь даровал нам силу побеждать наклонности, препятствующие нам исполнять наш долг? Что такое добродетель, достигаемая без труда, без усилий?.. Я не говорю, что отец имеет право принуждать сына избрать род жизни, противный его призванию, нет! Я хочу только сказать, что часто одну прихоть мы принимаем за призвание или отвращение к чему-либо и что от многого можно отвыкнуть, ко многому привыкнуть, стоит только захотеть. Я, например, с самого детства чувствовал непобедимую боязнь при виде воды; ни за что в мире не сел бы я на лодку; но твердостью воли мне удалось победить эту слабость, и надеюсь, что вскоре я буду так же неустрашим на воде, как старый моряк. Попробуй, Вильгельм, может быть, и тебе удастся преодолеть свое отвращение к плотничному ремеслу.

— Ах, герр Михайлов! — отвечал Вильгельм.— Вам хорошо говорить, вы занимаетесь ремеслом, к которому чувствуете охоту... Я сам, пожалуй, готов выучиться плотничному мастерству, но с таким условием, чтобы отец позволил мне после вступить в морскую службу.

— Добрый герр Михайлов,— сказала Марта.— Теперь вы помирились с моим мужем; постарайтесь уговорить его, чтобы он не противился склонности моего бедного Вильгельма.

— Постараюсь,— возразил Михайлов,— когда представится удобный случай. Теперь пока прощайте, я не хочу, чтобы Гаарден застал меня здесь.

С этими словами он положил что-то на стол и пошел к двери.

— Ах, герр Михайлов! — вскричала ему вслед хозяйка.— Не оставляйте ваших денег, вы знаете, что муж мой не хотел брать их.

— Упрямство его не заставит меня изменить данному слову,— отвечал Михайлов.

— Но он рассердится, если узнает...

— Я дарю эти деньги тебе и твоим детям.

Марта с признательностью смотрела ему вслед.

— Если все русские таковы,— сказала она наконец,— то я охотно переехала бы жить к ним.

Она тщательно спрятала деньги.

ГЛАВА VI
ПОКУПЩИК

Время проходило. Петр Михайлов продолжал прилежно работать и все более заслуживал привязанность и уважение своих товарищей. Корабль, при заложении которого он находился, быстро приближался к окончанию. Палуба была готова, и с высоты ее плотники глядели на обширное море, на котором должно было очутиться новое судно.

Однажды мейстер Блундвик пришел на верфь осмотреть работы. В сопровождении подмастерьев и старших плотников обошел он все нижние части корабля, рассматривал все подробности с видом человека, знающего свое дело, и остался совершенно доволен. Но этим осмотр его не кончился. Оставалось труднейшее, особенно для толстого Блундвика,— а именно осмотр верхних частей корабля. Несмотря на опасность, угрожающую мейстеру, он решился взобраться наверх по узенькой лестнице, но так как тучность препятствовала ему всходить обыкновенным образом, то он должен был обернуться спиною к ступеням. Хотя один из здоровейших плотников поддерживал Блундвика, уже на пятой или шестой ступени тонкая перекладина переломилась под тяжестью широкой ноги корабельного мастера, который должен был удержаться на одной ноге, точно журавль.

— Помогите, помогите! — кричал Блундвик бычачьим голосом.— Снимите меня, а не то я сверну шею! Ай-ай-ай! Другая ступенька тоже трещит! Братцы! Неужели вам не жаль вашего мастера?

Двадцать сильных рук счастливо сняли толстяка с тоненькой жердочки и опустили его на твердую землю.

Блундвик вздохнул свободнее и отер крупный пот, выступивший на лбу его во время опасности.

— Мейстер,— сказал один из старшин,— вы, должно быть, еще более растолстели с тех пор, как мы кончили последний корабль. Тогда вы взбирались еще по этой лестнице.

— Или ваша лестница похудела,— сердито возразил Блундвик.— Вы, чего доброго, сами подпилили ее, чтобы я не мог видеть того, что вы там, наверху, наделали.

— Мейстер! — вскричал сверху звучный, громкий голос,— ты нас обидел, и мы требуем удовлетворения. Ты подозреваешь нас в бесчестной проделке, а потому

я от имени всех моих товарищей требую, чтобы ты поднялся наверх.

— Ах ты, московский выскочка! Ты больно громко заговорил! — отвечал Блундвик.

— Я говорю дело! — возразил Михайлов.— Как хочешь, мейстер, а ты должен прийти сюда.

— Благодари Бога, что ты наверху,— вскричал Блундвик,— а не то я заставил бы тебя раскаяться в своей дерзости!

— Братцы,— сказал Михайлов,— мы должны оправдаться во что бы то ни стало, а потому принесите живее широкое, прочное кресло; мы усадим в него хозяина и на веревке встащим его наверх!

— Ура! — весело закричали плотники.— Спасибо Михайлову! Он вечно выпутается из затруднительного положения.

Даже сам минхер Блундвик одобрил предложение, которое немедленно было приведено в исполнение.

Осмотрев все наверху, корабельный мастер остался совершенно доволен и изъявил всем работникам свое удовольствие.

— Хозяин,— сказал ему Михайлов,— сегодня 11-е июня.

— Знаю.

— А у нас, в России, 30-е мая.

— Так что же?

— Это день моего рождения,— отвечал молодой человек.

— Ага! Поздравляю, поздравляю! — сказал Блундвик и хотел уже идти далее, но Михайлов остановил его.

— Я хочу просить тебя, мейстер...— сказал он.

— А, понимаю! Ты хочешь, вероятно, погулять сегодня; ну, изволь, изволь.

— Этого мало, мейстер. Я хочу просить тебя, чтобы ты освободил сегодня всех нас от работы.

Блундвик с крайним изумлением посмотрел на смелого просителя.

— Мейстер,— продолжал последний,— все скажут, что ты мне обязан тем, что мы так скоро кончили корпус корабля. Я обещал всем работникам, что если они кончат сегодня, ко дню моего рождения, то я угощу их на палубе. Это обещание произвело, как ты видишь, чудеса!

— Вижу, вижу... но,— возразил мейстер, почесывая за ухом.

— Помилуй, хозяин, при благополучном окончании дела работникам позволено повеселиться.

— Конечно, конечно, но день-то сегодня рабочий.

— На один раз можно сделать исключение, в честь дня моего рождения. Слушай, хозяин, ты не откажешь мне, когда я сообщу тебе радостную весть.

— Радостную весть? — спросил Блундвик, устремив свои маленькие серые глаза на Михайлова.

— Да, весьма радостную для тебя.

— Ну, ну, говори.

— Я нашел покупщика,— сказал Михайлов, значительно улыбнувшись.

— Покупщика? Какого покупщика?

— Такого, который купит твой корабль, если ты запросишь не слишком дорого.

— А кто этот покупщик? — спросил хозяин, недоверчиво смотря на молодого человека.

— Мой добрый приятель.

— Пошел ты! — вскричал Блундвик, отвернувшись.— Я вижу, ты с утра уж подгулял на радости! Что же будет еще после обеда, если я дам тебе позволенье? Теперь ты торгуешь корабль, который стоит около полумиллиона гульденов, а после обеда, пожалуй, захочешь купить целый флот!

— Тебе же лучше будет,— отвечал Михайлов, улыбаясь,— ибо, уверяю тебя, мой покупщик верный плательщик. Итак, ты просишь около полумиллиона гульденов за этот корабль, когда он будет совершенно готов и освящен.

— Да, да, около полумиллиона! — насмешливо отвечал Блундвик.

— Хорошо, я подумаю, соображу, и, если требования твои благоразумны, то мы сделаемся.

— Экой шутник! — воскликнул хозяин, громко захохотав.— Уж ты, любезнейший, не переодетый ли принц какой?

— Нет! — отвечал молодой плотник.— Я твой послушный работник, просящий у тебя позволения угостить сегодня здесь, на палубе, моих товарищей.

— Ну ладно, ладно,— отвечал Блундвик, продолжая смеяться.— Да только смотрите, не слишком кутите, так чтобы завтра вы опять могли приняться за работу.

— Ура! — закричали все плотники.— Виват нашему мейстеру! Виват Михайлову!

В то самое время, как Блундвик, спокойно усевшись в кресло, опускался вниз, он встретился на полпути с бочкой пива, подымавшейся вверх и нимало не уступавшей в объеме почтенному корабельному мастеру.

ГЛАВА VII

ЗУБНОЙ ВРАЧ

В тот же день вечером дети Гаардена Фриц и Анна подошли к хижине, в которой жил русский плотник. Огонек светился в окне, но, против обыкновения, дверь была плотно заперта. Фриц, державший в руке блюдо, накрытое тарелкой, постучался сперва тихо, потом крепче, но так как Михайлов не отворял, то он подошел к окну и, поднявшись на цыпочки, заглянул в него.

Михайлов сидел у стола, на котором лежали разные бумаги, которые он рассматривал с большим вниманием. Возле него стоял мужчина высокого роста, закутанный в плаще и почтительно отвечавший на вопросы молодого плотника, который, прочитывая бумаги, делал заметки на полях.

Фриц постучал в окно и закричал:

— Отворите, герр Михайлов, отворите!

Михайлов поспешно вскочил, отворил дверь и спросил сердитым голосом:

— Что вам надо?

— Маменька приказала вам кланяться,— отвечал мальчик, оторопев,— и поздравить с днем рождения. Она вспомнила, что последний раз, когда вы у нас обедали, вам очень понравились блины, а потому напекла вам их сегодня.

С этими словами он подал Михайлову блюдо, накрытое тарелкой.

Лицо молодого плотника прояснилось.

— Войдите,— сказал он детям, взяв у Фрица блюдо.

Он показал незнакомцу горячие еще блины и сказал:

— Видишь ли, у меня и здесь есть друзья, заботящиеся обо мне. Отведай со мною: блины эти превкусные. Спасибо, дети,— продолжал он, обратившись опять к детям,— поблагодарите от меня вашу маменьку и ска-

жите, что я не забуду ее внимательности. Теперь идите с Богом, я занят.

— Ах, герр Михайлов! — сказал Фриц,— у меня есть еще до вас просьба... Извините, пожалуйста!

— Ну, говори, говори!

— Мы знаем, что вы искусны, не хуже самого амстердамского лекаря. Когда вы вынули Якову щепку из глаза, я видел, что у вас есть в кармане коробочка с разными щипчиками, клещами, ложечками, ножницами. Вот у моей бедной сестры Анны крепко ноет зуб, так что она ничего не может есть; посмотрите, пожалуйста, может быть, вы ей поможете.

— Слышишь, Лефорт! — сказал Михайлов незнакомцу, весело улыбнувшись.— Ты видишь, какие чудеса я здесь делаю.

Потом он придвинул лампу на край стола и посадил Анну на деревянный табурет.

— Ну, покажи мне твой больной зуб,— сказал он.

Рассмотрев его внимательно, он продолжал:

— Этот зуб надо вырвать. Ты не боишься?

— А очень больно будет? — спросила Анна дрожащим голосом.

— Будет больно, только недолго,— отвечал Михайлов.— Зато после боль совершенно уймется. Лефорт, подержи ей голову, а ты, Фриц, посвети мне.

Михайлов вынул из своей лекарской готовальни зубные клещи, осторожно захватил зуб и проворно выдернул его, так что Анна успела только вскрикнуть.

Вместе с нею вскрикнул Фриц и чуть не уронил подсвечника.

— Что с тобою? — спросил Михайлов.

— Ничего!.. Ничего!..— отвечал мальчик дрожащим голосом, устремив глаза на незнакомца, закутывающегося опять в плащ, по окончании операции.— Ничего... я испугался... я думал, что Аннушке очень больно...

— Нет,— отвечала девочка,— теперь мне гораздо легче.

Михайлов улыбнулся и, погладив Анну по голове, сказал:

— Ну, теперь ступайте, дети, поблагодарите маменьку.

Дети поблагодарили еще раз доброго и искусного врача-самоучку; потом Фриц поспешно вышел в сопровождении Анны.

Бегом вернулся он домой и, войдя в комнату, бросился к матери.

— Маменька, маменька! — вскричал он.— Что я видел...

— Что такое, дитя мое? — спросила Марта, встревоженная испуганным видом своего сына.

— У Михайлова был господин в мундире, со шпагой и с орденом на груди.

— Неужели? — вскричал в это время голос человека, которого Фриц и не заметил второпях.— Неужели? В мундире? Со шпагой? С орденом?

Человек этот был знакомый уже нам Польдерс, работник мельника Фоэрбука.

— Полно, Фриц! — сказала Марта, обеспокоенная неосторожностью сына.— Тебе показалось.

Фриц замолчал. При виде Польдерса, принесшего куль муки, он сам раскаялся в своей неосторожности.

— У русского был какой-то господин,— сказала Анна.— Я не заметила ни мундира, ни шпаги, ни ордена; он был закутан в плащ.

— Ага! — сказал Польдерс.— Закутан в плащ?

— Полно тебе слушать детей,— сказала Марта.— Как тебе не стыдно! Им померещилось, а ты и уши развесил!

— Да, да, им померещилось! — сказал Польдерс, исподлобья смотря на Марту.— Прощай, хозяйка, прощай! Остальной куль я принесу послезавтра.

— Спасибо, теперь не к спеху! — отвечала Марта, провожая работника. Потом она скоро вернулась в комнату и сказала сыну: — Как ты неосторожен, Фриц! Какой тебе господин в мундире примерещился?

— Право, маменька,— отвечал Фриц,— право, я видел господина в богатом мундире. Михайлов сидел, а он стоял перед ним почтительно.

Марта покачала головой.

— Странное дело! — сказала она.— Но все равно, не рассказывай никому того, что видел.

Польдерс между тем возвращался домой и твердил про себя:

— А! Герр русский плотник! К тебе ходят гости в мундире, со шпагами, в орденах! И гости твои кутаются в плащи! Ага, ага! Увидим!..

ГЛАВА VIII
ПРОГУЛКА ПО МОРЮ

Вы помните, милые друзья мои, что Михайлов обещал постараться уговорить старого Гаардена не противиться природному призванию Вильгельма. Несколько раз заговаривал он со стариком, но тот всегда прерывал разговор об этом предмете.

— Вильгельм — негодяй! — говорил он.— И только одно чудо в его пользу может заставить меня простить ему.

Видя упорство Гаардена, Михайлов не настаивал, хотя и не отказывался от надежды помирить отца с сыном.

Между тем время спуска корабля приближалось. Плотники разбирали мало-помалу огромные леса, служившие подпоркой колоссу, покоившемуся кормой на бревнах, а носом обращенному к морю, на котором он должен был вскоре начать свою деятельную жизнь. Большая часть строителей этого корабля решилась спуститься вместе с ним, собравшись на палубе. Разумеется, что и Михайлов не хотел отстать от других в этом отношении. Товарищи не скрыли от него, что не каждый корабль сходит благополучно со штапеля и что носовую часть, с быстротою погружающуюся в воду, часто покрывают волны.

Это обстоятельство заставило задуматься Михайлова. Несмотря на необыкновенную твердость воли, он не был еще вполне убежден в победе, одержанной над собою относительно врожденного отвращения его к воде.

Итак, не желая показать робость или смущение перед другими, привычными плотниками, он решился испытать себя и велел сказать Вильгельму, что намерен предпринять с ним маленькую поездку в открытое море. Михайлов желал воспользоваться этим же случаем, чтобы ближе познакомиться с молодым человеком и убедиться, достоин ли Вильгельм того участия, которое он принимал в нем.

В условный день у берега покачивалось маленькое судно. Пока Вильгельм приводил в порядок паруса и весла, в чем помогала ему жена моряка, за отсутствием своего мужа, Михайлов внимательно рассматривал судно.

— Не опасно ли пускаться в море на такой маленькой лодке? — спросил он жену моряка.

— Не бойся! У нас все в таком порядке, что опасности быть не может.

— А умеет ли править этот молодой парень?

— Кто, Вильгельм? Во всем Саардаме ты не найдешь более ловкого, проворного и искусного моряка; я готова ехать с ним хоть в Америку!

Похвала эта вызвала румянец удовольствия на щеках Вильгельма. Он не сказал ни слова, но решился на деле оправдать доброе о нем мнение. Приведя в порядок паруса и руль и взяв с собой на всякий случай весла, он указал Михайлову место и отчалил. Легкий ветер надул паруса, и бот быстро понесся в открытое море.

Михайлов слышал, как быстро рассекаемая вода плескала под килем, и он ощущал нечто подобное тому, что мы ощущаем, подымаясь слишком высоко на качелях или катаясь с горы. Быстрота, с которою неслась лодка, захватывала дух, вид необозримого пространства моря давил ему грудь; чтобы победить это ощущение и вместе с тем скрыть его от Вильгельма, он отвернулся и зажмурил глаза.

Но ощущение это было непродолжительно. Михайлов обладал такою твердою силою воли, что победил невольный и врожденный, так сказать, страх. Минуту спустя он открыл глаза и смело, безбоязненно устремил их на море. Помолчав несколько минут, как бы для того чтобы привыкнуть к величественному, но вместе с тем устрашительному зрелищу моря, он обратил все свое внимание на мачту, парус и руль, которыми Вильгельм управлял твердою, привычною рукою. Вильгельм должен был объяснить молодому русскому плотнику назначение и способ употребления всех принадлежностей маленького судна. Вильгельм рассказывал охотно и с знанием дела. Михайлов слушал внимательно, и каждое слово запечатлевалось в памяти его.

Они отплыли уже на такое расстояние, что могли обозреть весь Саардам, и им представился очаровательный вид. Голландское местечко было окружено возвышенностями, на которых высились сотни ветряных мельниц, длинные крылья которых были теперь в движении. Разительную противоположность с маленькими частными домиками голландцев представляли огромные, мрачные массы строившихся на верфях кораблей.

Небо было светло-голубое, и только кое-где по нем пробегали белые пушистые облака. Волны качали лодку, и Михайлов задумчиво устремил взор вдаль, где по

волнам, слившимся в одну синюю полосу, резко отделившуюся от неба, неслись белые паруса, освещенные солнцем.

— Не правда ли,— спросил Вильгельм,— весело и приятно кататься в лодке на парусе, при попутном ветре?

Михайлов улыбнулся.

— Неужели ты думаешь,— возразил он,— что меня забавляет одна прогулка? Неужели ты думаешь, что из одной ничтожной прихоти я вверяю жизнь свою этим сколоченным доскам? Ошибаешься, ребенок! И если тобою при выборе образа жизни не руководила благороднейшая, возвышеннейшая мысль, то я отказываюсь смягчить гнев твоего отца. Неужели ты не познаешь в беспредельном пространстве морей великую связь, сотворенную самим Господом для соединения всех стран в одно целое, общее? Не дав человеку физических средств переступать за эти моря, Всевышний, по неизмеримой премудрости Своей, даровал ему ум, и в этом уме заключаются тысячи сокровищ, которыми человеку предоставлено пользоваться. Таким образом он придумал подвижные жилища, в которых быстро переносишься из края в край, из одной части света в другую. Без мореплавания богатейшие страны походили бы на сокровища, зарытые в землю; без мореплавания свет просвещения не мог бы проникнуть в отдаленнейшие земли. Мореплавание придало торговле обширные размеры, и с помощью мореплавания произведения всего земного шара стекаются вместе на пользу государств и для увеличения благосостояния народов. Мореплавание сближает людей, и чрез это сближение быстро распространяется просвещение, потому что один сообщает свои познания и открытия другому. Чему обязана твоя цветущая отчизна своим богатством и блеском? Мореплаванию и торговле! Без этих двух великих двигателей здесь и поныне были бы одни пустынные, бесплодные болота, на которых вела бы печальную, нищенскую жизнь толпа бедных рыбаков.

Михайлов замолчал и подпер задумчиво голову ладонью. Вильгельм все еще слушал и изумлялся величественному выражению лица простого плотника.

— Да! — продолжал последний после краткого молчания.— Я убедился, что государству необходимо мореплавание, необходимы сношения с отдаленнейшими странами, если оно хочет выйти из китайского застоя.

Я убедился в этом, предначертал себе цель и неутомимо стремлюсь к ней! Я предчувствую и знаю, что мне предстоит тяжкий труд, сильная, продолжительная борьба с закоренелыми, вековыми предрассудками, но не унываю! Я сам себе создал людей,— продолжал Михайлов как бы про себя и забыв о присутствии Вильгельма,— я создал себе людей, которые будут в состоянии понимать мои благие намерения и которые будут содействовать приведению их в исполнение! Новый корабль, в постройке которого я сам участвовал, послужит мне ретивым конем, под копытами которого я задавлю змею грубого невежества! Новая эпоха наступает для России! На отдаленных, пустынных болотах, где-нибудь в глуши изберу я выгодное место для сооружения гнезда русскому орлу, положу твердое, непоколебимое основание будущему благосостоянию моей отчизны, и обширнейшая в целом мире держава сделается и могущественнейшею!

Михайлов произнес эти слова восторженным голосом, и самое море утихло, сгладило волны, как бы внимая пророчеству! Вильгельм так заслушался, что невольно опустил руль, и сидел неподвижно, вытаращив глаза на говорившего.

— Герр Михайлов,— спросил он наконец,— долго ли вы еще намерены остаться с нами?

Голос Вильгельма привел плотника в себя. Он поднял голову и пристально посмотрел на молодого человека, который должен был повторить свой вопрос.

— Нет, не долго,— отвечал тогда Михайлов.— Я скоро, быть может, на днях, расстанусь с вами.

Вильгельм задумался, устремив грустный взор в ту сторону, где был дом отца его, и спросил опять:

— Говорили вы с моим отцом?

Брови Михайлова насупились.

— Не спрашивай меня теперь об этом! — сказал он повелительно.— Я не хочу отравить высокого наслаждения, которым теперь полна душа моя, воспоминанием о людской жестокости.

Вильгельм печально опустил голову, не смея более спрашивать.

Михайлов молчал несколько минут, но, заметив печаль, выражавшуюся на лице молодого человека, сжалился над ним.

— Зачем ты спрашиваешь меня об этом теперь? — спросил он.

— То, что вы сейчас говорили о будущности, ожи-

дающей Россию, внушило мне охоту отправиться туда с вами,— отвечал Вильгельм.

— Так что же?

— Но я не хочу расставаться с родиной, не примирившись с отцом.

— Какой вздор! — возразил Михайлов, устремив проницательный и испытующий взгляд на молодого человека.— Отец твой упрям и несправедлив, следовательно, ты имеешь полное право бросить его.

— Нет, не говорите этого, герр Михайлов,— отвечал Вильгельм, печально покачав головой.— Без родительского благословения нет счастия на земле! Притом же отец мой стар, придет время, когда ему будет нужна моя помощь, а я знаю его: если я уйду, не примирившись с ним, то он не примет от меня ни малейшей помощи, хотя бы он умирал с голоду и хоть бы у меня были золотые горы! Поверьте, герр Михайлов, и теперь часто мною овладевает такая тоска, что я готов броситься в ноги отцу, просить у него прощения и повиноваться его воле! Я бы сделал это давно, если б тайная надежда, что отец сжалится надо мною, не удерживала меня.

Михайлов пристально смотрел на молодого человека, и по выражению лица его угадывал искренность того, что он говорил.

— Вильгельм,— сказал Михайлов, довольный тем, что молодой человек выдержал испытание.— Ты добрый сын и благородный молодой человек! Надейся на Бога. Он смягчит сердце твоего отца.

Вильгельм хотел отвечать, но глаза его внезапно становились на одной точке моря, где вода сильно волновалась.

— Держитесь крепче! — закричал он внезапно своему товарищу и, сам не теряя присутствия духа, скоро повернул руль в другую сторону.

Едва только Михайлов успел схватиться за борт лодки, как она получила такой сильный удар, что покачнулась набок. Вода хлынула в нее. Сильный удар выбросил Михайлова в другую сторону с такою быстротою, что он около минуты не мог опомниться. Наконец, придя в себя, увидал он Вильгельма, который твердо стоял на своем месте и с редким спокойствием духа управлял одною рукою парусом, а другою — рулем. Лодка приняла прежнее положение, но все еще сильно покачивалась, хотя была в довольно большом расстоянии от того места, где вода продолжала бушевать и волноваться.

— Что это! — вскричал Михайлов.— Подводный камень или водоворот? Плохой же ты моряк, коли не умел избегнуть этого места. Не слишком ли похвалила тебя твоя хозяйка?

— Нет, герр Михайлов,— спокойно отвечал Вильгельм,— самый опытный моряк не может избегнуть этого подводного камня, который тем опаснее, что произвольно переменяет место и может очутиться под лодкой совершенно неожиданно. Смотрите, видите ли, как он быстро удаляется? Мы наткнулись на морского великана, акулу или другую какую-нибудь большую рыбу, которая, вероятно, проголодалась и ищет себе добычи. Так как эти чудовища редко довольствуются одним толчком, особенно если он неудачен, то и мы должны ожидать возвращения нашего знакомца; во второй раз труднее будет отделаться от него, а потому я советую направить лодку к берегу и вернуться домой подобру-поздорову.

Так как прогулка продолжалась уже более двух часов, то Михайлов согласился с мнением молодого человека, и они поплыли к берегу, видневшемуся вдали черной полосой.

ГЛАВА IX
СПУСК КОРАБЛЯ

На другой день все плотники и толпа народа собрались на верфи. Пастор благословил судно, произнес речь, и все присутствующие запели псалмы. Потом Видеманн произнес опять речь вроде той, которую он говорил при заложении корабля.

По окончании речи толпа смельчаков и целый оркестр музыкантов взобрались на палубу нового корабля, готовившегося к спуску, и при звуках труб и литавр плотники стали убирать последние подпорки и мазать киль и лежавшие под ним бревна салом, чтобы облегчить спуск и чтобы дерево от сильного трения не воспламенилось. Наконец все было готово, и взоры всех присутствующих с выражением нетерпеливого ожидания обратились на мейстера Блундвика, который, нарядившись в самое лучшее свое праздничное платье, стоял на некотором отдалении.

Наконец Блундвик поднял маленький флаг, бывший у него в правой руке. В то же мгновение колосс застонал, приведенный в движение соединенными усилиями нескольких сот работников, которые с помощью машин

и канатов старались пустить корабль в ход. Мало-помалу он пошел шибче и шибче. С глухим шумом и с беспрестанно увеличивавшеюся быстротою скользил он по трещавшим и дымившимся бревнам и наконец с быстротою стрелы и оглушительным шумом врезался в воду.

На палубе раздалось громкое «ура», на которое ответствовали стоявшие на берегу. Музыка гремела громче прежнего, и смельчаки радостно размахивали шляпами. Высоко брызнула вода и на минуту скрыла от всех взоров корабль, нос которого погрузился в воду, так что вода нахлынула на палубу; но тотчас же он гордо поднялся, выпрямился и величественно, спокойно отплыл от берега по сильно взволнованной воде. Но вот с палубы спустили тяжелые якоря. Они погрузились в воду, канаты натянулись, и корабль остановился, как прикованный, тихо покачиваемый волнами. Опять воздух огласился радостными криками, и вскоре на берегу поднялась суматоха и беготня. Множество лодок причалили к спущенному кораблю; плотники и любопытные взбирались на корабль, обнимались и целовались; на всех лицах была написана искренняя радость. Даже сам толстый Блундвик взобрался, хоть и не без труда, на корабль.

Между тем Петр Михайлов осматривал подробности счастливо оконченного корабля от трюма до красиво убранной капитанской каюты. Он, разумеется, был во время спуска на палубе, и платье его промокло насквозь. Но он был так рад, так счастлив, что не обращал на это ни малейшего внимания. Он еще долго бы остался на корабле, если б последние из оставшихся на нем товарищей его не напомнили ему, что пора вернуться на берег. Там Блундвик угощал всех плотников.

Едва только Михайлов подошел к столу, за которым сидели товарищи, как услышал, что один плотник говорил другому:

— Что делать! Едва ли был когда-нибудь пример, чтобы постройка корабля обошлась без беды. Нынче дело обошлось еще счастливо, и бедняк не поплатился жизнью.

— Да-да,— сказал другой,— хорошо еще, что он успел посторониться. Несчастие случилось в то самое время, как музыканты заиграли и как вы наверху стали махать шляпами.

— Бедный! Он не может принять участия в нашей пирушке,— сказал опять первый.

— Ему вообще не посчастливилось при постройке этого корабля. При заложении его крепко рассердил русский, перебил у него ему принадлежащую честь, а теперь...

— Что случилось? — спросил Михайлов, пораженный последними словами.

— Одна из подпорок упала на Гаардена и крепко придавила его,— отвечал один из плотников.

— Так что когда мы снесли его домой, он был без памяти,— прибавил другой.

Лишь только Михайлов услышал эти слова, как вскочил с своего места и побежал к себе домой за хирургическими инструментами, а потом, не медля ни минуты, отправился к несчастному Гаардену.

Старый плотник был опасно ранен. Жена его рыдала, а дети, Фриц и Анна, стояли на коленях и целовали руки отца.

При виде Михайлова раздался крик радости, надежды.

Осмотрев раны больного и найдя их опасными, но не отчаянными, Михайлов успокоил Марту, опытною, привычною рукою смыл кровь с ран и, еще раз осмотрев их, смочил холодной водою и стал перевязывать. Потом он пробыл еще несколько времени у кровати больного, предупредил Марту, что, может быть, к ночи у него будет бред и чтобы она не пугалась, и наконец удалился.

В тот вечер Михайлов лег спать с особенно сладостным, приятным чувством человека, исполнившего долг, предписанный каждому в отношении к ближнему.

На другой день он отправился рано утром к больному и узнал, что несчастный провел беспокойную ночь и беспрестанно бредил. Теперь же он был в совершенном изнеможении, и Марта опасалась за жизнь его. Михайлов, точно опытный врач, пощупал пульс больного, переменил перевязки, приложил к ранам прохладительные, успокоительные примочки и опять утешил отчаявшуюся Марту. Фриц и Анна внимательно вслушивались в каждое слово утешителя и смотрели на него со слезами детской признательности на глазах.

Когда Михайлов удалился, Фриц вышел за ним на улицу.

— Герр Михайлов,— сказал он,— позвольте мне привести сюда Вильгельма. Он вчера целый вечер ходил около дома, но не смел войти.

— Пока твой отец еще без памяти, Вильгельм мо-

жет сидеть у кровати его,— отвечал Михайлов.— Когда он станет приходить в себя, то Вильгельм не должен показываться: вид его может раздражить больного и усилить болезнь. Скажи это своему брату.

— Вот он и сам! — сказал Фриц, увидев вдали поспешно приближавшегося молодого человека.— Итак, вы позволяете ему посидеть возле кровати папеньки?

— Да, да! Но ты знаешь, на каком условии?

— Знаю, знаю! — отвечал мальчик и поспешно побежал навстречу своему старшему брату.

ГЛАВА X
ГОЛЛАНДЕЦ И ФРАНЦУЗ

С некоторого времени к Михайлову часто стали ходить по вечерам незнакомые люди, закутанные в плащи, с которыми молодой плотник долго беседовал.

Некоторые из товарищей заметили этих людей, но не обратили на них особенного внимания, полагая, что они приходили к Михайлову как к посреднику между ними и корабельным мастером Блундвиком для покупки нового корабля.

Однажды вечером, когда Михайлов был у своего больного товарища, к дому русского плотника приближались с двух разных сторон два человека. Один из них был в плаще черного цвета и шел осторожно, как бы справляясь с местностью и отыскивая дом, указанный ему прежде. Другой шел скоро, и в нем, несмотря на наступившие сумерки, нетрудно было узнать нашего знакомца Польдерса.

Польдерс был не только глуп, но и зол. Слова, неосторожно сказанные Фрицем, возбудили в нем подозрение, и с тех пор он выжидал удобного случая, чтобы подкараулить русского плотника, к которому приходили в гости господа в мундирах и с орденами. Несколько вечеров сряду Польдерс долго просиживал возле хижины Михайлова, но никто не приходил.

Наконец в этот вечер в окнах не было даже огня. Польдерс подошел к хижине прежде незнакомца, приближавшегося с другой стороны, заглянул в окно и, не видя никого, подошел к двери. Едва только прикоснулся он к щеколде, как дверь отворилась. Сильно забилось сердце Польдерса, но любопытство было сильнее страха, а потому он решился войти в хижину и овладеть одною из тех бумаг, за которыми, как он видел, Михайлов

просиживал вечера. Глупец надеялся, что эта бумага откроет ему какую-нибудь важную тайну.

Польдерс тихо отворил дверь и вошел. Но вдруг у него подкосились ноги, потому что он услышал приближающиеся шаги. Он задрожал, отступил назад, захлопнул за собою дверь и хотел уже бежать, как встретился вдруг носом к носу с незнакомым ему человеком.

Это был тот самый, который приближался с другой стороны. Польдерс и незнакомец молча смотрели друг на друга. Наконец последний заговорил ломаным голландским языком:

— Если я не ошибаюсь,— сказал он,— то это должен быть дом русского корабельного плотника?

— Точно так,— отвечал Польдерс и хотел удалиться, но незнакомец удержал его.

— Извините,— сказал он таинственно,— но мне нужно поговорить с вами... по секрету...

Последнее слово возбудило внимание Польдерса, и он навострил уши.

— Вы, вероятно, хозяин этого дома?

Польдерс поколебался несколько секунд, но наконец надежда узнать секрет придала ему смелости, и он отвечал решительно:

— Да-да, я хозяин.

— А я путешественник,— сказал незнакомец,— позвольте же мне войти к вам в дом и отдохнуть.

Последняя просьба не очень понравилась Польдерсу, но злобное любопытство внушило ему хитрость.

— Извините,— сказал он,— но я назначил одному из своих товарищей свидание в корчме; не угодно ли вам пожаловать туда со мною? Там мы отдохнем.

— Извольте, я готов следовать за вами,— отвечал незнакомец, и оба отправились в корчму.

У входа в нее они простояли довольно долго, кланяясь друг другу. Польдерс уступал дорогу незнакомцу, а незнакомец ни за что не хотел идти вперед. Спор кончился тем, что оба вошли вместе и направились в отдаленный угол комнаты, где никто не мог слышать разговора их.

Незнакомец велел подать две кружки пива и потом, пристально посмотрев на Польдерса, сказал:

— Мосье Михайлов, в Голландии строят славные корабли.

— Отличные, особенно в Саардаме,— отвечал Польдерс, хлебнув порядочный глоток пива.

— Именно отличные, мосье Михайлов,— подтвердил незнакомец.— И если бы у вас в России были такие корабли, то при множестве вашего народонаселения вы могли бы совершить чудеса.

— Да,— отвечал Польдерс, несколько смутившись и опасаясь, чтобы незнакомец не заговорил с ним о предметах, о которых он не имел никакого понятия.

— У нас во Франции...— начал опять незнакомец.

— А! Вы француз! — перебил его Польдерс.

— Точно так, мосье Михайлов.

— Ага!

— Итак, я говорю, что у нас во Франции флот прекрасный, но народу гораздо менее, нежели у вас; притом же мы в таком же положении... Впрочем, мне незачем говорить вам о нашем положении, вы, вероятно, читаете газеты?

— Газеты? Как же, как же! То есть я не то что читаю, а так, знаете...

— Понимаю, понимаю! — отвечал француз, лукаво улыбнувшись.— Вы просматриваете только то, что достойно замечания.

— Именно! Я просматриваю только то, что достойно замечания.

— Скажите же мне, пожалуйста, какого вы мнения о Швеции?

— О Швеции?

— Да, о Швеции!

— Гм!.. То есть... Вы спрашиваете, какого мнения я о Швеции?

— Именно,— отвечал француз и подумал про себя: «Он не хочет высказать своего мнения».

— Извольте видеть... Швеция... то есть... знаете! — и Польдерс хлебнул опять пива, спрятав нос в кружку, чтобы скрыть свое смущение.

— Я угадываю вашу мысль! — вскричал собеседник его.

— Угадываете? — с изумлением спросил Польдерс, у которого никакой мысли не было.

— Совершенно! Вы хотите сказать, Швецию надобно щадить. Не так ли?

— Справедливо, справедливо! Швецию надобно щадить. Вы удивительно проницательны, мосье!

Француз улыбнулся со скромностью.

— Но скажите, пожалуйста, намерены ли вы так же

поступить с Англией? То есть я спрашиваю: такое же ли мнение вы имеете о гордом, кичливом Альбионе?

— Я с ним не знаком,— отвечал Польдерс.

Француз громко засмеялся.

— Ah parfait! charmant![1] — вскричал он.— Этот ответ исполнен остроумия, и я совершенно постигаю вашу мысль, мосье Камилов. Вы не знакомы с Альбионом, то есть вы не имеете и не хотите с ним ничего общего.

— И знать его не хочу! — вскричал Польдерс.

— Вы презираете гордость его?

— Презираю!

— И при случае вы дадите ему почувствовать вашу силу.

— Я ему переломаю все ребра! — вскричал Польдерс, более и более разгорячаемый пивом.

— Под ребрами вы, вероятно, понимаете министров и полководцев? — спросил, лукаво улыбаясь, француз.

— Вы совершенно постигаете мою мысль, мосье,— с важностью отвечал Польдерс.

— Какое счастие! — вскричал француз, радостно потирая руки.— Позвольте мне снять перед вами маску... уважая инкогнито вашего вел... то есть, уважая ваше инкогнито, мосье Лимаков, я не изменю ему; но позвольте мне объявить вам, что во всех мерах, которые вам угодно будет принять против Англии, вы найдете во Франции верную союзницу.

— Неужели!

— Точно так, ваше... мосье Макилов, я нарочно прислан сюда из Франции для того, чтобы предложить вам союз...

— Покорно вас благодарю! — отвечал Польдерс с глупым выражением лица и не приходя в себя от изумления.

— Надеюсь, что вы позволите мне сообщить Парижскому Кабинету весь наш разговор...

— Я не заслужил такой чести...

— Помилуйте! Вся честь с моей стороны!

— О!

— Нет, сделайте одолжение...

Минут пять продолжались комплименты с обеих сторон.

Наконец француз встал и раскланялся.

Польдерс проводил его до дверей, покачиваясь.

---

[1] О совершенство! прелесть! *(фр.)*

ГЛАВА XI

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТРУБУ

Расставшись с французом, работник мельника простоял несколько минут как ошеломленный. Он не понял ни слова из предшествовавшего разговора, кроме того, что русский плотник вместе с Францией был зол на какого-то Альбиона.

Но весь этот разговор еще более подстрекнул любопытство Польдерса, а выпитое вино придало ему смелость, и он решился еще раз забраться в хижину Михайлова и утащить у него бумаги.

В доме русского плотника по-прежнему было темно.

По мере приближения к нему Польдерс чувствовал, что смелость его уменьшалась и сердце начинало биться сильнее и сильнее. Долго не мог решиться отворить двери, но наконец собрался с духом и вошел в хижину. Глубокая тишина, царствовавшая в ней, была прерываема только ровным стуком маятника простых стенных часов. Ощупью пробрался Польдерс до стола, на котором лежали некоторые бумаги, слабо освещенные лунным светом, пробившимся в маленькие стекла квадратного окна.

При этом свете Польдерс увидел, что на этих бумагах были разные чертежи и рисунки; ему хотелось не это, из чертежа ничего нельзя было узнать, между тем как письмо или какая бы то ни было рукопись могли объяснить много. Не теряя надежды, работник мельника стал шарить по столу, по сторонам его, и нашел незамкнутый выдвижной ящик. Скоро запустил он в него руку и нашел довольно толстую тетрадь. Польдерс чрезвычайно обрадовался этой находке, поспешно вытащил тетрадь и увидал, что она вся исписана.

— Ага! Попался, голубчик! Теперь мы узнаем все твои проделки! — произнес он вполголоса, взял тетрадь под мышку и поспешил убраться вон, так как Михайлов мог каждую минуту вернуться.

Но он не успел еще дойти до двери, как услышал, что кто-то взялся за ручку.

Мурашки пробежали по всему телу Польдерса, и ему показалось, что из глаз его посыпались искры, точно будто бы кто-нибудь ударил его дубиной по голове. Он осмотрелся с невыразимым страхом, и в то самое время, как дверь отворилась, он забился под стол. При свете луны узнал он высокую, стройную фигуру Михайлова и прижал тетрадь к сердцу, чтобы заглушить бие-

ние его: ему казалось, что сердце его стучало громче часового маятника.

Между тем Михайлов подошел к камину, высек огня и засветил сальную свечу.

Польдерс съежился и прижался в самый темный уголок. Он надеялся, что Михайлов ляжет спать в другой комнатке и что тогда ему можно будет уйти, но ошибся.

Молодой человек запер дверь на ключ, взял ключ к себе, сел к столу и стал рассматривать лежащие на нем чертежи, напевая тихим голосом песню, слов которой Польдерс никак не мог разобрать. Потом Михайлов выдвинул ящик. У похитителя, сидевшего под столом, замер дух.

Молодой человек с изумлением смотрел в ящик, не находя того, чего искал, выдвинул другой ящик — тоже нет.

— Это что значит? — произнес он вполголоса.— Я очень хорошо помню, что положил ее именно в этот ящик. Куда же она девалась?

Если б Польдерсу в это время предстоял выбор, то он охотнее согласился бы просидеть всю ночь по горло в холодной воде, нежели несколько минут под этим столом. Надежда на минуту вкралась в сердце его, если у него было сердце, когда Михайлов взял со стола свечу, чтобы идти в другую комнату посмотреть, нет ли там того, что он тщетно искал в ящиках и на столе.

Михайлов встал, мимоходом заглянув под стол, увидел спрятавшегося там человека и невольно отступил.

— Кто там? — вскричал он громовым голосом.

Польдерс не отвечал — не потому чтобы не хотел, а потому что не мог.

— Вылезай! — вскричал Михайлов и, отодвинув табурет в сторону, схватил одной рукой Польдерса и дернул его так сильно, что тот вылетел на самую середину комнаты.

Страх Польдерса был так велик, что он оставался на полу, свернувшись в клубок, точно насекомое, притворяющееся мертвым. Но Михайлов увидел уже тетрадь. Скоро поставив свечу на стол, он бросился к похитителю и вырвал у него тетрадь.

— А, негодяй! — вскричал он громовым голосом.— Ты дерзнул вкрасться в мой дом.

Страшный гнев выразился на лице Михайлова; жилы на лбу его обозначились синими полосками, глаза

сверкали, и, схватив со стены топор, он замахнулся на Польдерса.

Это движение возвратило жизнь несчастному.

Он отскочил в сторону и, стоя на коленях, завопил плачевным голосом:

— Пощадите, минхер, пощадите!

Михайлов опустил топор.

— С какою целью хотел ты украсть тетрадь? — спросил он грозно.

— Не знаю, минхер... лукавый попутал.

— Лжешь!

— Право... ей-богу... не лгу.

— Тебя кто-нибудь подучил?

— Никто не подучил! — отвечал жалобным голосом Польдерс.— Вы, может быть, думаете, что меня подучил господин Альбион.

— Кто-кто? — с изумлением спросил Михайлов.

— Господин Альбион... Но клянусь вам, я его не знаю... и никогда в глаза не видал... Я даже сегодня только в первый раз слышал имя его от господина француза, который принял меня за вас.

— Что ты за чепуху городишь? Какой господин француз принял тебя за меня?

Тогда Польдерс рассказал Михайлову встречу и разговор его с французским тайным агентом.

Михайлов был чрезвычайно вспыльчив, но гнев его был непродолжителен. По мере того как Польдерс рассказывал, лицо его прояснялось и он с трудом удерживался от смеха.

— Теперь я требую,— сказал он, когда Польдерс кончил,— чтобы ты признался мне откровенно: что побудило тебя украсть у меня эту тетрадь?

— Любопытство, минхер, одно любопытство.

— Но знаешь ли ты, что за это любопытство ты можешь поплатиться тюрьмой?

— Пощадите, помилуйте!.. Я никогда больше не буду,— умолял Польдерс, все еще стоя на коленях.

— Негодяй и подлый трус! — сказал Михайлов с презрением.— Убирайся же скорее вон! Если через пять минут ты еще будешь здесь, то я созову соседей — и завтра тебя упрячут в тюрьму! Вон!

Польдерс вскочил и бросился к двери, но она была заперта.

— Пожалуйте ключ,— произнес он тихим голосом.

— Я тебя не впускал, а потому и не выпущу. Выхо-

ди сам, как знаешь,— хладнокровно отвечал Михайлов, садясь за стол и принимаясь записывать что-то в тетрадь.

Польдерс осмотрелся со страхом и бросился к окну.

— Не отворяй окна,— сказал Михайлов с прежним спокойствием.— Я боюсь ночной сырости.

— Как же мне выйти? — спросил Польдерс плаксивым голосом.

— Как знаешь. Смотри, две минуты прошли.

— Ах ты, Господи, Господи! Что же мне делать?

Польдерс осматривался с отчаянием: нигде не было ни малейшей щели, в которую бы он мог пролезть.

— Минхер! — продолжал он жалобным голосом.— Пощадите! Не губите меня!

— Я тебе дал пять минут времени.

— Да где же мне выйти? Дверь заперта, окна вы не велите открывать.

— Полезай в трубу! — отвечал Михайлов, не оглядываясь и продолжая писать.

В самом деле это был единственный путь, остававшийся Польдерсу. За границей трубы каминов и вообще печей устроены прямо, так что маленькие трубочисты, чистя их, спускаются сверху вниз или подымаются снизу вверх, упираясь спиною в одну стену трубы, а коленями — в другую. Но пролезть в трубу казалось Польдерсу более унизительным, нежели украсть чужое добро; притом же ему, мельнику, казалось неприличным выпачкаться сажей.

— Одна минута осталась! — сказал Михайлов, взглянув на часы и продолжая писать.

Эти слова заставили наконец Польдерса прибегнуть к последнему средству. Скорчившись, полез он в камин, но, посмотрев в длинную черную трубу, опять остановился в нерешимости.

— Пять минут! — произнес Михайлов и оглянулся.

Эти магические слова подействовали. С ловкостью кошки полез Польдерс в трубу и стал карабкаться вверх, цепляясь за кирпичи и глотая сажу.

Несколько минут спустя очутился он на крыше. Там ему представилось новое затруднение, о котором он прежде не подумал, а именно: как спуститься вниз? Хотя крыша была невысока, но все-таки расстояние ее от земли было довольно велико, для того чтобы сломить шею. По счастию, он нашел с одной стороны лестницу, приставленную к самой крыше, и благодаря этой лестнице

благополучно достиг до земли и пустился бежать со всех ног. Но отбежав на довольно далекое расстояние, он остановился, издали погрозил кулаком дому русского плотника и проворчал:

— Постой, приятель! Я тебе отплачу!

ГЛАВА XII

ТЩЕТНЫЕ УВЕЩАНИЯ

Гаарден находился несколько дней в величайшей опасности. Он никого не узнавал и беспрестанно бредил о Михайлове и о своем непослушном сыне, о заложении и о спуске корабля. Дни и ночи проводил бедный Вильгельм у больного своего отца и ухаживал за ним с примерною попечительностию, но невыразимая грусть овладевала им, когда Гаарден в бреду называл его непослушным, блудным сыном.

Наконец крепкая натура старого плотника победила болезнь. Гаарден сделался гораздо спокойнее, впал в глубокий благодетельный сон и проснулся в полном разуме, хотя был еще чрезвычайно слаб.

Когда Михайлов вошел к нему, он приветствовал его едва заметной улыбкой и протянул к нему здоровую руку.

Бедный Вильгельм вышел из дому, проливая горькие слезы, потому что, когда мать спросила больного, не хочет ли он видеть раскаивающегося сына, тогда Гаарден с неудовольствием отрицательно покачал головою. С каждым днем состояние больного улучшалось, и однажды Михайлов, войдя к нему, застал его прохаживающимся по комнате. В то же время навстречу русскому вышли Фриц и Анна с венками из цветов, которые они сами сплели.

— Герр Михайлов,— сказал Фриц,— после Всевышнего вы наш первый благодетель; вы часто делились с нами вашим жалованьем и вылечили нашего папеньку; примите же нашу искреннюю, сердечную признательность и эти два венка, которые мы сами сплели для вас. Мы не можем ничем отплатить вам за все оказанные нам благодеяния, но Господь вознаградит вас!

Михайлов ласково улыбнулся, погладил раскрасневшиеся от замешательства щечки детей и ответил растроганным голосом:

— Спасибо вам, деточки! Не меня должно благодарить, а Высшего Дателя всех благ,

Марта схватила руки Михайлова и крепко-крепко сжала их. Она хотела говорить, но слезы заглушали голос ее. Рыдая, подвела она его к креслу, в котором сидел муж ее, нарядившийся в праздничное платье.

Гаарден почтительно снял свой колпак и привстал.

— Брат Петр! — сказал он русскому плотнику дрожащим от внутреннего волнения голосом.— Я был крайне виноват перед тобою и считаю приключившееся со мною несчастие заслуженным наказанием. Твое великодушие заставляет меня искренно раскаиваться в том, что я мог сердиться на тебя, благороднейшего из людей!.. Простишь ли ты мне?

— Полно, Гаарден,— возразил Михайлов,— мы давно уже помирились с тобою.

— Нет, Петр, нет! Теперь, в этот торжественный час, когда я почти восстал из гроба, я должен признаться, что, несмотря на наше примирение, я сохранил в глубине сердца злую память о том, что казалось мне смертельной обидой. Я хочу покаяться и просил уже нашего почтенного пастора, чтобы он причастил меня, недостойного, Святых Тайн. Возвратившись к жизни, я хочу вступить в нее очищенным от старых прегрешений. Итак, прошу тебя, любезный товарищ, прости мне!

И в знак совершенного примирения он протянул Михайлову правую руку.

— Гаарден! — сказал русский плотник, пожав руку голландца.— Намерение твое честно, благородно! Но позволь мне напомнить тебе, что другое примирение гораздо важнее нашего. Господу, во имя которого ты хочешь причаститься Святых Тайн, ты должен принесть другую жертву твоего упорства.

Гаарден насупил брови.

— Гаарден! — продолжал Михайлов.— Неужели я должен напоминать тебе о твоем старшем сыне?

— Товарищ! — печально возразил старый голландец.— Не нарушай моего душевного спокойствия воспоминанием о сыне, от которого я отрекся! Подумал ли он обо мне, когда я лежал на смертном одре?

— Конечно! — с живостью вскричал Михайлов.— Бедный молодой человек не отходил от твоей постели до самой той минуты, когда ты, упорно покачав головой, отвечал, что не хочешь видеть его.

— Товарищ,— возразил больной,— я прошу у тебя прощения, потому что виноват пред тобою; между тем как Вильгельм предо мною.

— Но он готов просить прощения.

— Этого мало! Он должен повиноваться,— упрямо отвечал старик.

— Послушай,— сказал Михайлов.— Ты имеешь полное право требовать беспрекословного повиновения от своего сына, но ты не должен употреблять во зло этого права. Зачем ты требуешь, чтобы он вступил в звание, к которому он не чувствует ни малейшей склонности? Ты жертвуешь счастием своего детища упрямству. Твой сын добрый, умный юноша, он ведет себя прекрасно. Хозяин, у которого он служил, чрезвычайно доволен им.

— Я плотник,— возразил упрямый голландец,— и доволен своим ремеслом, следовательно, и сын мой может довольствоваться им. Морская служба сопряжена с великими опасностями.

— В каждом состоянии есть хорошая и худая сторона,— возразил Михайлов.— Доказательством тому служат твои раны, твоя опасная болезнь. Поверь мне, Гаарден, Господь Бог указывает каждому дорогу, по которой он должен идти, и цель, до которой он может достигнуть, означена уже при самом рождении его. Послушай, Гаарден, я не хочу хвалиться, но ты некоторым образом обязан мне своим выздоровлением. Коли ты хочешь вознаградить меня, то помирись с Вильгельмом!

Марта и дети присоединили свои просьбы к просьбам Михайлова, но старый голландец оставался непоколебим.

— Послушайте,— сказал он наконец,— не просите более. Я не сердит более на Вильгельма, но не могу еще видеть его. Может быть, со временем...

— Эх, Гаарден! — печально сказал Михайлов.— Твое раскаяние и примирение не искренни. Вряд ли оно будет угодно Господу!

ГЛАВА XIII
ОБВИНЕНИЕ ПО ПУНКТАМ

Несколько дней спустя Михайлов ездил в Амстердам, пробыл там два дня и вернулся домой около полудня.

Подходя к своему дому, он с удивлением увидел тощего, худощавого человека в огромном парике и в черном платье, стоявшего перед дверью. В то же время заметил он на двери шнурок, прикрепленный двумя огромными печатями. Не обращая особенного внимания

на это обстоятельство, Михайлов вынул из кармана ключ и пошел прямо к двери, но человек в черном платье преградил ему дорогу.

— Стой! — закричал он с важностью.— Кто ты?

Михайлов осмотрел молодого человека с ног до головы, улыбнулся и отвечал:

— Что ты горячишься, словно петух!

— Дерзкий! — вскричал человек, надувшись.— Знаешь ли ты, с кем говоришь?

— Не знаю, да и знать не хочу.

— Так я же тебе скажу...

— Незачем! Я вижу, что ты со своим париком похож на чернильницу, заткнутую пробкой,— отвечал Михайлов, засмеявшись.

Эта шутка взбесила важного человека.

— Как ты смеешь грубить писарю высокопочтенного господина синдика?!

— А мне какое дело до тебя? — возразил Михайлов.— Я хочу идти к себе, а ты преграждаешь мне дорогу.

— А! Так ты русский плотник... Дело, дело!

— Пусти же меня!

— Назад! Разве ты не видишь, что на дверях твоих наложена печать нашей высокой и могущественной республики, до которой ни один смертный не дерзнет прикасаться! Назад! Или рука правосудия отяготеет над тобою!

Последние слова писарь произнес напыщенным голосом.

— А! Ты мне надоел! — нетерпеливо возразил Михайлов, отодвинув в сторону писаря, и сорвал запечатанный шнурок.

— О ужас! О преступление! О святотатство! — завопил писарь и, опасаясь гнева человека, дерзнувшего наложить руку на печать высокопочтенной республики, подобрал полы своего черного камзола и пустился бежать со всех ног.

Михайлов же пошел к себе и, забыв о приключившемся, преспокойно сел к столу и принялся писать.

Полчаса спустя дверь растворилась, и на пороге явился сам высокопочтенный синдик с раскрасневшимся от гнева лицом. Синдик был также одет в черном; на голове у него был напудренный парик, под мышкой маленькая треугольная шляпа, а в руке огромная трость с костяным набалдашником.

— Где он, где дерзкий! — вскричал он, с важностью войдя в комнату.

В толпе, следовавшей за ним, показалось и полное, круглое лицо корабельного [illegible]ера Блундвика.

— Кого тебе надо? — спросил Михайлов, не вставая.

Один голос его заставил синдика отступить, но, оправившись, он спросил:

— Как ты осмелился сорвать печать высокой и могущественной голландской республики?

— А как ты осмелился запачкать мою дверь сургучом и запрещать мне войти в мою квартиру! Как ты осмелился войти сюда без позволения?

С этими словами Михайлов встал.

Синдик одним прыжком выскочил на улицу.

— Этот москвитянин,— сказал он окружавшим,— настоящий дикарь. Слышали ли вы, как он мне, высокопочтенному синдику, сказал «ты»! Какая дерзость!

— Минхер,— отвечал Блундвик,— он и мне никогда иначе не говорит как «ты»; я даже думаю, что он и господам властительным сенаторам скажет «ты», если...

— Да! — прибавил подмастерье Видеманн.— С ним шутить нечего. Коли он кого ударит, так тот не скоро опомнится.

В это время Михайлов показался у двери, оставшейся отворенною, и захлопнул ее. Одно его появление так перепугало синдика, что он закричал:

— Защитите меня! Защитите вашего синдика!

— Странное дело,— заметил один из плотников.— Михайлов обыкновенно добр и кроток, как ягненок, но не любит, чтобы с ним обходились грубо. О, тогда беда!

— Гм, гм! — произнес синдик.— Порядка и благочиния ради надобно будет немножко смириться перед этим дикарем. Господа,— продолжал он, обращаясь к присутствующим,— не отставайте!

Осторожно, боязливо подошел синдик к двери и, тихо постучавшись, произнес вежливым голосом:

— Минхер! Почтеннейший минхер Михайлов! Я пришел к вашей милости по делу.

— Что тебе надо? — послышался внутри голос русского плотника.

— Извольте видеть, минхер, вы хоть и русский, но, вероятно, вашей милости небезызвестно, что всякий человек подлежит закону, а закон в руках начальства. Не знаю, есть ли в вашей стороне законы, но поелику вы

изволите проживать у нас, то подлежите нашим законам, в силу которых и прошу вас выслушать меня.

— Давно бы так,— сказал Михайлов, выйдя на улицу.— Повиновение законам есть первый долг всякого гражданина, а потому я готов выслушать тебя.

— Ага, струсил! — проворчал синдик, потом продолжал: — В моей особе вы изволите видеть значительную часть голландского начальства, а потому я надеюсь, что вы не откажете мне в должном уважении.

— Говори, что тебе надобно, я готов отвечать,— возразил Михайлов с кротостью.

— Во-первых, я запечатал твою дверь для того, чтобы произвести обыск в твоих бумагах; во-вторых, я должен допросить тебя по пунктам, вследствие поданных на тебя жалоб...— сказал синдик, ободрявшийся по мере того, как русский смягчался.

— Обыскивать бумаг не позволю! На допрос отвечать готов,— отвечал Михайлов с твердостью.

Этот решительный ответ озадачил синдика, и он бросил значительный взгляд на окружавших его, но никто не понял этого взгляда.

Синдик прокашлялся и, развернув сверток, бывший у него в руке, стал читать:

— Петр Михайлов! Тебя по первому пункту обвиняют в том, что к тебе в позднюю пору ходят часто подозрительные люди, закутанные в плащи. Что ты на это скажешь?

— Зачем ты называешь моих гостей подозрительными? — спокойно спросил Михайлов.— Не потому ли, что их никто здесь не знает? На это я тебе отвечу, что так как я сам иностранец, то и принимаю у себя своих соотечественников. Вечером же я принимаю их потому, что, находясь целый день на работе, другого свободного времени не имею. Что же касается до плащей, то я не знаю закона, который бы запрещал кутаться в них.

— О! Он тертый калач,— шепнул синдик своему писарю и потом продолжал: — Петр Михайлов, по второму пункту тебя обвиняют в том, что ты часто угощаешь своих товарищей, отдаешь свое жалованье другим и помогаешь нуждающимся. Откуда достаешь ты деньги на все эти расходы?

— Это обвинение чрезвычайно ново! — возразил Михайлов, засмеявшись.— Я в жизнь свою не слыхивал, чтобы человека обвиняли за то, что он помогает ближним. Неужели тебе было бы приятнее, если бы я

приберег свои русские денежки? Полно! Минхер синдик, я уверен, что ты сам видишь и сознаешь безрассудство этого обвинения.

Пристыженный синдик закашлялся.

— Третий пункт состоит в том, что, заключив условие с почтенным корабельным мастером Блундвиком, ты не объявил имя покупателя, а оставил пробел в контракте. Сознайся, что это очень подозрительно.

Михайлов засмеялся.

— Мейстер Блундвик,— сказал он, обратившись к корабельному мастеру,— будь доволен тем, что ты получишь наличные денежки за свой корабль. Имя покупателя ты скоро узнаешь, но все-таки стыдно мужчине быть любопытным, точно женщина.

— Я не виноват,— сказал Блундвик,— минхер синдик потребовал от меня, чтобы я открыл ему, для кого ты купил корабль.

— Хорошо, хорошо! — перебил синдик.— После объяснитесь. Я же должен продолжать допрос. Мельник Фоэрбук донес, что ты, упомянутый Петр Михайлов, осмотрел мельницу его во всех подробностях, срисовал даже некоторые части ее, а потом заказал весь механизм у другого мастера.

— Ага! — возразил Михайлов.— Почтенный Фоэрбук донес на меня из зависти: если б устройство другой мельницы не показалось мне более удобным и выгодным, так я обратился бы к нему. Надеюсь, что в Голландии всякий имеет право покупать то, что ему нравится?

— Теперь следует последний, и самый важный пункт,— продолжал синдик,— в котором тебе не так легко будет оправдаться. Можешь ли ты отпереться в том, что приглашал многих рабочих как из Саардама, так и из окрестностей переселиться в Россию? Ты уговаривал корабельных мастеров, ткачей, канатчиков, мельников, матросов, кузнецов, слесарей и других, обещая им золотые горы. Это доказано, и если хочешь, я назову тебе людей, которых ты приглашал! Отопрешься ли ты в этом?

— Не отопрусь и не хочу отпираться,— спокойно возразил Михайлов.— Голландия хвалится своей свободой, следовательно, каждый из жителей ее имеет право делать то, что ему кажется выгоднейшим. Я никого не обманывал, никого не смущал, но приглашал в Россию, нуждающуюся в опытных и искусных ремесленниках, людей, которые казались мне таковыми. Пусть каждый

из этих людей передаст тебе условия, которые я им предлагал, и ты увидишь, что я поступал прямо, благородно. Весьма многие из голландцев переселяются во Францию и Англию, однако ж никто не находит в том чего-либо предосудительного.

Ответы Михайлова были так решительны и основательны, что синдик терялся все более и более.

— Ох! — сказал он после минутного молчания.— Простой плотник не может ни тратить столько денег, ни покупать кораблей, ни приглашать ремесленников в свою отчизну. Стало быть, ты либо тайный агент, либо шпион, либо другой какой опасный человек, и я нахожу необходимым учинить обыск в твоей хижине и завладеть всеми твоими бумагами, если ты сам не признаешься добровольно!

— Слушай, синдик! — сказал Михайлов.— Я останусь в Саардаме еще день или два, не более. Если ты хочешь знать, кто я, то обратись к русскому посланнику в Амстердаме, но я ни за что не позволю тебе обыскивать мое жилище!

— Не сопротивляйся! — сказал синдик, пятясь назад из осторожности.

— Я сказал и повторяю, что никто без моего позволения не войдет в мой дом. Затем прощайте.

— Так мы силою возьмем то, в чем ты нам отказываешь! — вскричал синдик, пятясь все более и более назад.— Вперед, господа! Вяжите непослушного!

Громкий ропот и шум, послышавшийся в толпе, заставил синдика оглянуться.

Когда собравшиеся работники услышали, что синдик приказывает вязать великодушного товарища их, то многие из них закричали, что никому не позволят обидеть Михайлова.

Несмотря на то, подоспевшие на помощь синдику солдаты, вероятно, напали бы на хижину Михайлова, если бы прибытие новых лиц не дало делу другой оборот.

ГЛАВА XIV
ЗАЩИТНИКИ

Маленький Фриц, тащивший за собою сестру, с шумом пробился сквозь толпу и, остановившись перед дверью, на пороге которой все еще стоял Михайлов, вскричал решительно:

— Не бойтесь, герр Михайлов! Увидав, что вас хотят обидеть, я известил папеньку, и он сейчас придет сюда с другими плотниками. Не бойтесь!

Михайлов улыбнулся при виде смелого, решительного мальчика, слова которого оправдались тотчас же на деле, потому что через толпу пробился Гаарден, который, несмотря на свою слабость, вышел из дому, лишь только узнал, что доброму русскому плотнику угрожает опасность.

За стариком следовала жена его и толпа плотников.

— Не дадим в обиду Михайлова! Не дадим! — закричали все.

— Он мне спас жизнь! — вскричал Гаарден, подняв тяжелый молоток, которым он вооружился.

— Он постоянно помогал нам! — прибавила Марта.

— Он вырвал мне больной зуб! — смело сказала Анна.

— Он вынул занозу, от которой я мог ослепнуть! — вскричал один плотник.

— Он одел моих шестерых детей! — прибавил другой.

— Он дал мне средства похоронить приличным образом мою старую мать! — сказал третий.

— Мы не выдадим товарища, который всегда обходился с нами ласково! — вскричали многие голоса.

— И который так часто угощал нас! — прибавил один плотник, который, судя по красному носу, был большой любитель угощений.

— Не выдадим! Не выдадим! — продолжали кричать плотники.— Михайлов честный человек! Мы все ручаемся за него! Коли его хотят судить, так пускай нас судят всех!

— Что это! — вскричал струсивший синдик.— Неповиновение начальству! Бунт! Возмущение!

— Нет,— спокойно отвечал благоразумный Гаарден.— Мы готовы повиноваться начальству, но пускай нас судят всех, а Михайлова мы не выдадим!

— Мейстер Блундвик! — продолжал кричать синдик.— Это обстоятельство может вам повредить! Я налагаю арест на всю вашу верфь! Уступаю большинству мятежников и удаляюсь, но не надолго, я вернусь сюда с целым баталионом милиции, которая усмирит бунтовщиков и овладеет зачинщиком, предводителем их, русским дикарем!

— Минхер синдик! — сказал ему Михайлов.— По-

дождите еще минуту,— потом, обратившись к плотникам, окружившим для защиты дом его, он сказал растроганным голосом: — Благодарю вас, друзья мои, за защиту, в которой я не нуждаюсь, по счастию. Уверяю вас, что маленькое недоразумение между мною и синдиком объяснится самым миролюбивым образом. Я не желаю, чтобы из-за меня вы возмущались против вашего начальства. Разойдитесь же по домам, а тебе, высокопочтенный минхер синдик, я готов открыть маленькую тайну, если тебе угодно будет войти ко мне в дом.

— Ага! Струсил теперь! — вскричал торжествующий синдик.— Или не хочешь ли ты завлечь меня в свою хижину, чтобы задушить меня? Не тут-то было! Меня не проведешь; я с тобой иначе разделаюсь, когда со мною будет баталион нашей милиции.

— Пожалуй,— возразил Михайлов, улыбаясь.

Видя спокойствие русского плотника, товарищи его отступили и с изумлением смотрели на него. Толпа расступилась, чтобы пропустить синдика, который, пройдя несколько шагов, остановился как вкопанный.

На конце улицы показался ряд великолепных экипажей, каких, может быть, не бывало в Саардаме с самого начала существования его. Экипажи остановились, и из них вышли люди в великолепных мундирах. В одно мгновение все сняли шапки и колпаки.

Четверо вельмож в богатых мундирах с золотым шитьем и со звездами на груди, сопровождаемые голландскими сенаторами в черных бархатных костюмах, направили шаги к дому Михайлова, который, облокотившись на косяк двери, с улыбкой смотрел на эту процессию и на изумление, выражавшееся на лицах присутствующих.

— Впереди идут английский, французский и русский посланники,— шепнул синдик на ухо своему писарю,— а четвертого я не знаю.

— Это русский князь, недавно прибывший в Амстердам,— отвечал писарь шепотом же.

Синдик счел обязанностью поспешить навстречу знатным посетителям и, остановившись посреди улицы, стал отвешивать низкие поклоны. Писарь последовал за своим начальником и, остановившись на два шага за ним, подражал ему, отвешивая поклон за поклоном. Когда процессия приближалась, синдик хотел угостить посетителей маленькою речью, которую он однажды сочинил на все случаи.

— Высокопочтенные, высокоуважаемые, высокоблагородные господа! Где найти слов, чтобы выразить наш восторг, наше благополучие, наше счастие, нашу радость в сей торжественный, радостный...

Синдик хотел перевести дух, но в это самое время заметил, что посланники и сенаторы, не обращая внимания, шли прямо к дому Михайлова.

Синдик вытаращил глаза и обиделся.

— Что это значит? — спросил он, обратившись к писарю.

Писарь пожал плечами.

— Высокопочтенные господа посланники и Генеральные Штаты, вероятно, не заметили меня...

И синдик хотел уже бежать вперед и снова начать речь свою, но не успел. Посланники и сенаторы остановились перед Михайловым и почтительно сняли шляпы.

ГЛАВА XV

ВЕЛИКИЙ ЦАРЬ

Русский посланник низко поклонился простому плотнику.

Все присутствующие разинули рты.

— Ваше величество, всемилостивейший царь наш! — произнес посланник.

Все присутствующие невольно схватились за головы, забыв, что они уже сняли шапки.

— Господа английский и французский посланники и Генеральные Штаты Голландии просят позволения представиться вашему царскому величеству.

«Царское величество!» — шепотом произнесли все присутствующие, и у всех подкосились ноги, как будто бы они готовы пасть на колени перед Великим!

Гаарден, жена его и дети были так поражены, что бессмысленно глядели на происходившее.

Блундвик пыхтел, а синдик дрожал всем телом.

Писарь, подражавший во всем своему начальнику, счел долгом также трястись, как осиновый лист.

Между тем посланники и сенаторы приветствовали царя и в высокопарных речах изъявляли свое изумление насчет того, что он, великий и могущественный государь России, добровольно взял в руки топор и несколько времени вел жизнь простого плотника.

— Господа! — возразил Петр.— Считаю долгом объ-

яснить вам причину моего поведения. Поверьте, господа, я действовал не из прихоти и не для приобретения суетной славы. У меня были другие, гораздо более благородные и возвышенные побудительные причины. Во все время здесь моего пребывания я ни разу не забывал священной обязанности, лежащей на мне, правителе обширного царства. В этой скромной хижине я так же неусыпно заботился о благе России, как и в своем великолепном Московском дворце. Мой народ от природы добр, трудолюбив, сметлив, неустрашим. Но, выехав из своего отечества в иностранные земли, я приметил великое различие в торговле и промышленности, я увидел, что многого еще недостает в моей отчизне. Тогда я начал промышлять о том, как бы искоренить загрубелые предрассудки моих праздных дворян, препятствующие распространению просвещения, главного источника благоденствия! Собственным примером хотел я доказать, что труд не только не унижает, но приносит честь и славу, облагораживает человека. Вот почему я сделался простым плотником и вот почему с гордостью и пред целым миром готов сказать, что башмаки, которые у меня на ногах, я заработал собственным трудом! Кроме того, сношения с трудящимся народом научили меня познавать их нужды и печали, и мне теперь легко будет заняться улучшением участи низшего класса моего народа. Я избрал преимущественно ремесло корабельного плотника потому, что, несмотря на изобилие и богатство произведений моего отечества, оно не так богато, как бы могло быть, ибо торговля его, по недостатку кораблей и мореплавания слишком незначительна. Для быстрейшего достижения своей цели я уговорил многих здешних ремесленников переселиться в Россию, где они будут приняты с удовольствием и где им будет оказана всякая помощь. Ручаюсь в том своим царским словом. Что, любезный синдик, веришь ли ты теперь, что я завлекал твоих соотечественников не одними пустыми обещаниями?

Синдик упал на колени.

— Ваше величество! — вскричал он жалобным голосом.— Всемилостивейший, всеавгустейший, самодержавнейший царь! Простите униженнейшему, покорнейшему рабу вашему!

— Простите все униженнейшему, всепокорнейшему, преподлейшему рабу вашему! — проговорил и писарь, который тоже упал на колени.

— Встаньте, встаньте! — сказал царь милостиво.— Вы исполняли ваш долг, и я не имею права гневаться на вас.

— О великий царь! — произнесли хором посланники и сенаторы.

— Нет, господа,— произнес Петр с величественным смирением.— Не хвалите меня за то, что я, владетель обширнейшего государства в мире, занимался ремеслом простого плотника, жил в этой бедной хижине и сам готовил себе пищу. Поступок мой есть слабое подражание целой жизни Того, Кто пострадал ради спасения всего человеческого рода и во всю земную жизнь Свою не имел верного места, где преклонить утомленную главу!

Великий царь и все присутствующие в благоговейном молчании опустили головы.

— Ну, мейстер Блундвик,— ласково продолжал русский царь,— теперь я готов удовлетворить твое любопытство. В пробеле ты можешь теперь вставить имя покупателя, и новый корабль будет называться его же именем: «ЦАРЬ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ». Надеюсь, что он будет первым образцовым кораблем моего нового флота. Друзья мои! — продолжал Петр, обращаясь к своим бывшим товарищам.— Я никогда не забуду счастливых дней, которые провел между вами и в этой хижинке!

— Ура! Ура! — закричали все в один голос.— Да здравствует великий русский царь Петр Алексеевич!

Гаарден, жена и дети бросились к ногам царя.

— Ваше величество! Могущественный, славный государь! — вскричал старый плотник.— Не гневайся на нас, недостойных рабов твоих!

— Встань, старый товарищ, встань! — сказал Петр с некоторым неудовольствием.— Одному Богу подобает поклоняться. Я не люблю этого и даже своим русским наистрожайше запрещаю падать предо мною на колени! Встань, Гаарден, встань! Я не забуду тебя, и если ты хочешь последовать за мною со своим семейством в Россию, то найдешь у меня верное пристанище.

— С радостию, ваше величество! — закричал Гаарден.— Я готов последовать за вами хоть на край света!

— Не торопись, Гаарден,— возразил Петр.— Я не хочу пользоваться первой минутой: подумай хорошенько и потом дай мне ответ. Еще одно слово, старый товарищ. Неужели ты не примиришься в этот радостный

для меня день со своим Вильгельмом? Будешь ли ты еще упорствовать, если сам русский царь попросит тебя простить молодому человеку и позволить ему следовать своей склонности?

— О! Всемилостивейший царь! — проговорил Гаарден.— Приказывайте: каждое ваше слово будет для меня законом.

— Гаарден, Гаарден! — сказал царь, погрозив старику пальцем.— Неужели просьба царя для тебя важнее заповеди Господней? Но все равно: благодарю тебя за согласие. Если я не ошибаюсь, то, кажется, твой Вильгельм прячется там в толпе, боясь показаться тебе на глаза. Сюда, Вильгельм! Обними своего отца.

Робко приближался юноша, боязливо взглянул на старика, но тот, проливая слезы, протянул к нему руки. Вильгельм бросился в его отверстые объятия.

— Благослови своего сына, Гаарден,— произнес Петр.— Я беру и его с собою в Россию. Он умный, благородный малый, а таким людям я рад, они всегда найдут во мне защитника и покровителя. Теперь вы все, мои добрые товарищи, вы, господа сенаторы и посланники, будьте сегодня мои гости. Мельник Фоэрбук, я приглашаю и тебя, чтобы доказать тебе, что я не злопамятен. Бестужев! Позаботься хорошенько угостить моих любезных гостей, с которыми мы выпьем стакан доброго вина за благоденствие Голландии и честных, добрых обитателей ее!

Сенаторы и народ замахали шляпами, а синдик и писарь его — париками, и все единодушно и с восторгом воскликнули:

— Честь и слава и многия лета русскому царю!

— Да здравствует Петр Алексеевич истинно Великий!

И все оживились, все дышало радостию и восторгом. В это самое время светлый золотой луч осветил Саардам и окрестности его, как бы приветствуя русского царя; легкий ветерок округлил паруса лодок, плывших по морю, и мельничные крылья закружились быстрее и быстрее, как бы принимая участие в общей радости.

Все веселилось, все ликовало, и долго-долго эхо вторило общему восклицанию:

— Да здравствует славный русский царь!.. Ура!.. Ура!..

1849

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МИФ

Излюбленный герой исторической беллетристики николаевской эпохи — Петр I. Писатели всех рангов, вплоть до самого высокого, отдали дань социальной моде, находившейся под персональным патронажем Николая Павловича.

Эта мода поддерживалась параллелью между двумя монархами («пращуром» и «потомком»), которая возникла сразу после 14 декабря 1825 года благодаря обоюдным усилиям власти и подданных. Аналогия с Петром, укрупнявшая масштаб личности нового императора, должна была бросаться в глаза: он круто разделался с заговорщиками, обозначил стремление к реформаторской деятельности, энергично повел внешнюю политику. Визиты в Москву, где свирепствовала холера, и Старую Русу, где начинали бунтовать военные поселяне, засвидетельствовали не только его незаурядное мужество; государь входил в роль вездесущего попечителя и блюстителя *порядка,* которая прославила первого русского императора.

Каждая его акция или даже жест в этом роде получали заметный резонанс в общественном сознании. Разочарованные итогами предшествующего царствования, непоследовательностью и расслабленностью Александра I (под конец жизни разуверившегося и в себе и в своих подданных), образованные и необразованные классы желали видеть на троне царя-*зиждителя,* «нового Петра» (Вяземский). Александр Бестужев, бывший враг самодержавия, пишет из крепости Николаю I: «Я уверен, что небо даровало в Вас другого Петра Великого». И если некогда молодой Пушкин фраппировал публику портретом Лувеля (убийцы герцога Беррийского) с надписью: «Урок царям», то сейчас младшему брату Александра I урок преподается в совершенно иной форме: «Семейным сходством будь же горд, // Во всем будь пращуру подобен...» («Стансы»). Небезынтересно и то обстоятельство, что известный наш пушкинист Б. В. Томашевский

датировал стихотворение «Пророк» 8 сентября 1826 года — днем, когда состоялась первая встреча царя и поэта.

Сочинители, избравшие петровскую тему, подключались тем самым к созданию государственного мифа, в основе которого лежало представление о Петре I как об Отце отечества, завещавшем и свои личные качества, и полномочия на дальнейшее преобразование страны Николаю I, который ровно через столетие занял русский престол. «Если рассудить,— говаривал николаевский министр финансов Е. Ф. Канкрин, человек сугубо практической складки,— то мы по справедливости, вместо того, чтоб называться *русскими*, должны прозываться *петровцами*. <...> Что сделали для нас варяго-руссы в сравнении с тем, что совершил Петр Великий?»

Включенные в данный сборник произведения — показательные образцы разработки петровской темы в беллетристике второй четверти XIX века. (Исключение, разумеется, составляет пушкинский «Арап».) Их авторы — популярные в свое время беллетристы, которые хорошо знали ремесло и правила игры. Кое-что современному читателю может показаться знакомым: так, рассказанная П. Р. Фурманом «святочная история» о саардамском плотнике, долго удерживавшаяся в культурной памяти, многажды поминается в «Белой гвардии» Булгакова; а любовная фабула «Кочубея» Е. В. Аладьина перекочевала в пушкинскую «Полтаву» (Пушкин позаимствовал даже переименование исторической и «прозаической» Матрены в Марию). Репертуар идеологических мотивов, которые встречаем во всех девяти произведениях, сравнительно небогат, но отражает основные черты петровского предания. Петр — мудрый правитель, но не деспот (ср. в письме декабриста А. О. Корниловича, одного из авторов сборника: Петр «истребил остатки деспотизма и утвердил нынешнее законное самодержавие»); Петр — строитель нации и ее объединитель; новое неизменно побеждает старину во всех ее обличиях; Закон торжествует, ограничивая как своекорыстие сановников, так и неумеренную, неуместную «милость к падшим».

Последний мотив звучал весьма актуально, ибо само понятие «государевой милости» связывалось с возможным прощением ссыльных декабристов. Но лишь на фоне таких коллизий, как в «Татьяне Болтовой» или в «Были 1703 года», где помпезно обставляется прощение Петром стариков, уже вытерпевших большее наказание, чем это полагалось им по закону, восстанавливается полемический смысл пушкинского призыва — *отпустить вину виноватому* («Пир Петра Первого», «Капитанская дочка»). Стремление литераторов николаевской эпохи не нарушать предписанные границы очень понятно; за риск причиталась плата. Едва только Н. В. Кукольник, пропагандируя самую что ни на

есть верноподданническую идею службы государю как высшей добродетели, позволил своему герою-крестьянину покуражиться над нерадивым и безнравственным дворянином,— немедленно последовал окрик Николая I, доселе благоволившего к этому автору. Императора решительно не устраивал созданный в рассказе образ Петра — царя *народного;* пращура, как и себя, он мыслил царем *общенациональным.*

Знали ли беллетристы 1820—1840-х годов об истинном облике Петра? Безусловно, знали. Иные из них (Кукольник, а в особенности Корнилович и Башуцкий) переработали множество материалов, в том числе и рукописных. Результатом явилась отделка фона: интерьер, детали быта, топографические реалии выписаны с тщанием и, как правило, восходят к первоисточникам. Но когда дело доходило до самого Петра, то историческая эрудиция не востребовалась. В коллективном парадном портрете первого русского императора, нарисованном в николаевскую эпоху, нет ни одного затемняющего мазка. Это — мудрый царь, справедливый благотворитель, добронравный муж, и у него нет ничего общего с тем, кто разорял подданных и грабил церкви; кто был столь злопамятен, что приказал вырыть — через годы — трупы казненных стрельцов и повесить их на площади наново; кто любовался и пытками собственного сына. Перед читателем представал не тот реальный Петр Великий, соединивший в себе шекспировских Просперо и Калибана, но его «культовая модель» — важнейший атрибут векового государственного мифа. За соблюдением культовых ритуалов ревниво надзирал Николай I; он, в частности, запретил трагедию М. П. Погодина «Петр Великий» из-за того, что в ней выведен заговор царевича Алексея. «Память Петра Великого должна быть для нас священна»,— таково высочайшее наставление автору трагедии и его собратьям.

«В отношении к внутреннему развитию России настоящее царствование без всякого сомнения есть самое замечательное после царствования Петра Великого. Только в наше время правительство проникло во все стороны многосложной машины своего огромного государства, во все убежища и изгибы ее, прежде ускользавшие от его внимания, и сделало ощутительным благотворное влияние свое во всех стихиях народной жизни. <...> Старые основы общественной жизни, которые уже заржавели от времени и могли бы только затормозить колеса великой государственной машины, мудро отстраняются мало-помалу без всякого сотрясения в общественном организме. Обращено особое внимание на положение и быт народа и сделаны попытки, обещающие прекрасные результаты на его, так сказать, воспитание. Вот истинное продолжение великого дела Петра».

Эти строки написаны Белинским в самом конце 1847 года. Шло уже третье десятилетие николаевского царствования, не принесшего ни существенных государственных реформ, ни освобождения крестьян. И тем не менее критик продолжает верить обещаниям «прекрасных результатов», верить в цивилизаторскую миссию Николая I, продолжателя великих петровских дел. Пройдет совсем немного времени (Белинскому, впрочем, этот срок не был отпущен судьбой), и раскаты европейской революции окончательно оглушат русского императора; страна вступит в «мрачное семилетие», закончившееся крымским позором и смертью Николая I. Только тогда потускнеет имя Петра I, чеканившееся на фасаде империи; однако ненадолго: роковой для России государственный миф, сотворенный при участии беллетристов николаевской эпохи, еще не раз будет праздновать свое торжество.

СПРАВКИ ОБ АВТОРАХ

Аладьин Егор Васильевич (1796—1860) — прозаик, поэт, переводчик, удачливый издатель самого долговечного альманаха пушкинской поры «Невского альманаха» (1825—1833), а также альманахов «Букет или карманная книжка для любителей и любительниц театра» (1829) и «Подснежник» (1930). Автор светских, нравоучительных и исторических повестей: «Кум Иван», «Тысяча вторая ночь», «Брак по смерти», «Владислав и Александра» и др. Среди переводов — «История Петра Великого» В. Бергмана (1840).

А. И. — Некоторые ученые приписывают авторство повести «Татьяна Болтова» А. О. Корниловичу, однако не исключена ее принадлежность перу Андрея Андреевича Ивановского (1791—1848), чиновника III отделения (1826—1829), делопроизводителя Следственного комитета по делу декабристов и одновременно — близкого знакомого многих декабристов, старавшегося напечатать их произведения в своем альманахе «Альбом северных муз» (1828), автора статей, рассказов, стихотворений.

Корнилович Александр Осипович (1800—1834) — писатель-декабрист; до 1825 г.— офицер Генерального штаба, член Северного общества; приговорен к восьми годам каторги, в 1828 г. возвращен в Петропавловскую крепость; в 1832 г. определен рядовым на Кавказ, где и умер. Был в свое время одним из лучших знатоков петровской эпохи, публиковал (в т. ч. в изданном им альманахе «Русская старина»; 1825) посвященные ей статьи, бытописательные очерки, художественные произведения.

Башуцкий Александр Павлович (1803—1876) — в 1824—1833 гг. адъютант при петербургских военных генерал-губернаторах (М. А. Милорадовиче, П. В. Голенищеве-Кутузове, П. К. Эссене), затем до 1849 г. в статской службе; в 1850—1854 гг.— в монастыре.

Автор многих физиологических очерков, в которых вывел галерею петербургских типов («Водовоз», «Гробовой мастер», «Дачники» и т. п.), исторического и статистического описания столицы, воспоминаний, романа «Мещанин» (1840); издатель «Журнала общеполезных сведений» (1834—1838), «Детского журнала» (1838), журнала «Иллюстрация» (1847—1848), альманаха «Наши, списанные с натуры русскими» (1841—1842).

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — романист, поэт, художественный критик. Один из популярнейших литераторов николаевского времени. Его перу принадлежат романтические исторические драмы (среди них «Рука всевышнего отечество спасла», «Генерал-поручик Паткуль», «Князь Даниил Дмитриевич Холмский», «Торквато Тассо»), исторические романы, повести, преимущественно из эпохи Петра Великого («Капустин», «Сказание о синем и зеленом сукне», «Позументы», «Прокурор» и др.). Издавал сборники «Сказка за сказкой» (1841—1844), «Художественную газету» (1836—1841), «Иллюстрацию» (1845—1847).

Масальский Константин Петрович (1802—1861) — прозаик и драматург, редактор журнала «Сын Отечества» (1842—1844). Автор исторических романов («Стрельцы», «Регентство Бирона», «Лейтенант и поручик» и др.), повестей («Черный ящик», «Границы 1616 года», «Осада Углича» и др.), исторических драматических сцен («Бородолюбие»), рассказов. Осуществил первый полный русский перевод с языка оригинала «Дон Кихота» (1838).

Фурман Петр Романович (1816—1856) — прозаик, журналист и живописец. Автор многих исторических повестей для юношества («Сын рыбака», «Александр Данилович Меншиков», «Дочь шута», «Наталья Борисовна Долгорукова» и др.).

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТОВ

Пушкин А. С. Арап Петра Великого. Впервые полностью: Современник, 1837, т. VI. Печатается по изд.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 6. Л., 1978.

Аладьин Е. В. Кочубей. Впервые: Невский альманах на

1828 год. Спб., 1827. Печатается по изд.: Аладьин Е. В. Сочинения и переводы в прозе. Спб., 1832, ч. I.

А. И. Татьяна Болтова. Впервые: Альбом северных муз. Альманах на 1828 год, изданный А. И[вановским]. Печатается по изд.: Корнилович А. О. Сочинения и письма. М.—Л., 1957.

Корнилович А. О. Андрей Безыменный. Впервые (без имени автора) вышло отдельным изданием — Спб., 1832. Печатается по изд.: Корнилович А. О. Сочинения и письма. М.— Л., 1957.

Башуцкий А. П. Петербургский день в 1723 году. Впервые: [Башуцкий А. П.] Панорама Санкт-Петербурга. Спб., 1834, ч. 3. Печатается по тексту первого издания.

Кукольник Н. В. Авдотья Петровна Лихончиха. Впервые: Библиотека для чтения, 1840, т. 41. Печатается по изд.: Кукольник Н. В. Повести и рассказы. Спб., 1852, т. 3. *Сержант Иван Иванович Иванов, или Все заодно.* Впервые: Сказка за сказкой. Спб., 1841. Печатается по тексту первого издания.

Масальский К. П. Быль 1703 года. Печатается по изд.: Масальский К. Пять повестей и другие сочинения. Спб., 1848.

Фурман П. Р. Саардамский плотник. Впервые вышло отдельным изданием — Спб., 1849. Печатается по тексту первого издания.

А. Л. Осповат, А. Б. Рогинский

ВСТУПЛЕНИЕ

С 77 **Старые годы.** Русские исторические повести и рассказы первой половины XIX века./Сост. и подгот. текста А. Рогинского; Послесл. А. Осповата и А. Рогинского. Худож. В. Голатенко. — М.: Худож. лит., 1989.—367 с. (Классики и современники. Русская классич. лит-ра).

ISBN 5-280-00756-0

На первую половину XIX века приходился расцвет русской исторической прозы, и в центре внимания сочинителей оказалась эпоха Петра I. В настоящем сборнике собраны произведения, воскрешающие величественный облик преобразователя России и наиболее увлекательные сюжеты отечественной истории начала XVIII века. Все эти сочинения пользовались большим успехом у современников и до сих пор сохранили свое художественное и познавательное значение.

С $\frac{4702010101-247}{028(01)-89}$ КБ7-30-89 ББК 84Р1

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

Русская классическая литература

СТАРЫЕ ГОДЫ

Русские исторические повести и рассказы первой половины XIX века

Редактор
И. Парина

Художественный редактор
А. Моисеев

Технический редактор
В. Нефедова

Корректоры
И. Калинина, И. Филатова

ИБ № 5425

Сдано в набор 31.10.88. Подписано в печать 10.04.89. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Об. новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 19,74. Уч.-изд. л. 20,38. Доп. тираж 1 350 000 экз. (1-й завод 1—300 000 экз.) Изд. № I-3129. Заказ № 331. Цена 1 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28. Отпечатано во Владимирской типографии Государственного комитета СССР по печати. 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, 7

1 р. 70 к.



Русская классическая литература

